

ЦЕНА 2 р. 75 к.

КОМУНИСТИЧЕСКАЯ
КАТАЛОГОВАЯ
ПЛАТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КНИГОБЫВЛА



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТНИК КОМУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

30 (6)

1928

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ
в Издательство КОМУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ИЗДАНИЕ КОМУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ИВАН ИВАНОВИЧ СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ

(Скончался 8 октября 1928 г.)

С Иваном Ивановичем,—что он Скворцов, я узнал только долго спустя, когда нам пришлось переписываться: долгие месяцы, если не годы, я знал его только как Степанова—с Иваном Ивановичем Степановым я познакомился впервые на одном из «учредительских» заседаний редакции «Правды». Не газеты «Правды»,—это было в 1903 году, когда издание «Правды»—газеты было еще далеким будущим—а журнала «Правды», по всей вероятности, первого «легального» большевистского издания, какое вообще существовало. Марксистские журналы и газеты бывали и раньше,—но большевистских как-будто раньше не было. Журнал имел очень странный внешний вид, такого формата я не встречал ни раньше, ни после. В нем печаталась не менее иногда странная, чем формат, беллетристика (но появлялись и рассказы Л. Андреева и т. п.). Для нас самое главное было в том, что на страницах этого журнала могли появляться статьи Степанова, Богданова, Луначарского, Базарова, которые все тогда были уже большевиками,—а также Рожкова, Лунца, пишущего эти строки и других, которые готовились большевиками сделаться в ближайшем будущем.

Внешней обстановки нашего первого с Иваном Ивановичем свидания я совершенно не помню. Но я хорошо помню чувства, которые этим свиданием были у меня вызваны. Степанов только-что вернулся из ссылки,—я был еще беспартийный; тогдашние отношения беспартийного к настоящему, испытанному революционеру очень походили на благоговение. Но Иван Иванович меньше всего годился для роли «иконы»—и меньше всего склонен был смотреть с высоты революционного величия на пижона, в «революционном стаже» которого пока-что числилось только запрещение публичных лекций, да изгнание из преподавательского состава нескольких учебных заведений. Он, повидимому, глубоко проникся тогда уже теми мыслями, которые полу-

тора годами позже высказывал Ленин в своей статье «Новые задачи и новые силы»: «Надо расширять кадры нашей армии. .. надо сильно расширить состав всевозможных партийных и примыкающих к партии организаций, чтобы хоть сколько-нибудь итти в ногу с возросшим во сто раз потоком народной революционной энергии». Иван Иванович, по-моему, нарочито ходил по таким местам, где собиралась тогдашняя радикальная интеллигенция (я его видал, например, на заседаниях педагогического общества) и выискивал, выщупывал подходящих людей. Если он видел здоровое тяготение к марксизму и к рабочему движению (о ленинизме говорить для тех лет, до 1905 года, было бы еще рано: ленинизм тогда только складывался), он сейчас же притягивал этого человека к работе, не стесняясь тем, откуда он его извлек. Лунц, например, был долговременным постоянным сотрудником «Русских Ведомостей», но И. И. угадал в нем возможности крупного большевистского литератора и перетянул его в нашу среду, несмотря на определенные протесты весьма авторитетных товарищей: «Лунц—не социал-демократ», повторяя не один раз В. Л. Шанцер. Но Лунц оказался одним из полезнейших наших работников, и дал бы еще во много раз больше, если бы застарелая болезнь сердца, обостренная революционными переживаниями, не подкосила его еще в начале 1907 года.

Иван Иванович явился таким образом настоящим, в подлинном смысле организатором будущей «литераторской группы при МК», для которой редакция журнала «Правда» была по существу зародышевой формой. Сама литературская группа возникла уже весной 1905 года. Но не всякий, кто хочет, может сделать то, чего он хочет. Чтобы быть организатором литературских большевистских сил Москвы, недостаточно было одного хотения. И тут необходимо вспомнить основную черту Степанова, черту, выдвигавшую его на одно из первых мест не только среди большевистских литераторов, но в партии вообще. Это был уже тогда на редкость идейно-твердый, идейно-выдержанный и самостоятельный человек. Сразу чувствовалось, что этот народнического вида большевик (И. И. носил тогда длинные волосы и роскошную бороду, что, в сочетании с его богатырским ростом и косовороткой, давало истинно-народническое впечатление; мы над этим нередко посмеивались, к чему Иван Иванович относился с величайшим благодушием)—твердейший марксист, которого можно себе вообразить, но отнюдь не начетчик от марксизма. Маркса и Энгельса он знал великолепно, самоучкой овладел немецким языком для того, чтобы читать их в подлиннике,—но делалось все это не за тем, чтобы повто-

рять их слова, а с тем, чтобы усвоить их метод и мышление, их манеру подходить к фактам. И раз что-нибудь охватив своим марксистским пониманием, Иван Иванович держался твердо, и никакие «авторитеты» с этого понимания сбить его не могли.

Для тех большевиков приготовительного класса, какими были тогда многие из нас, И. И. был незаменимым руководителем. Но и для людей гораздо крупнее и старше нас эта идейная четкость, идейная выдержанность, я бы сказал глубокая идейная честность, неспособность итти на какие бы то ни было компромиссы с тем, что Степанов считал теоретически неверным,—и людям гораздо крупнее и старше нас это качество И. И. внушало глубокое уважение. Когда в период 1910—11 года Степанов разошелся с ортодоксально-ленинским пониманием ближайшей революции, как ведущей к «диктатуре пролетариата и крестьянства» (Степанов переоценивал степень разврата, внесенного в крестьянскую среду столыпинщиной), Ленин вступил с ним в спор в порядке частной переписки, а не стал разоблачать его публично, как это он делал по отношению к Рожкову. К Рожкову у Ленина была некоторая неопределенная симпатия, он его считал сбившимся с пути, но неокончательно погибшим для большевизма: теорию же Рожкова Ленин расценивал очень низко. Если Степанова он начал разубеждать в порядке частной переписки, то потому, что теоретическое значение Степанова стояло очень высоко в глазах Ленина,—со Степановым стоило поспорить, чтобы постараться его переубедить. Письмо Ленина, повидимому, не дошло до И. И., никаких намеков на него я не мог найти в его письмах ко мне, и он долго держался взгляда, что от крестьянства ждать нам нечего; это проходит красной нитью через все его письма, вплоть до войны. Но такое своеобразное отклонение от большевизма меньше всего делало И. И. чем-нибудь похожим на «ликвидатора». Другого пути, кроме революционного, он для пролетариата не признавал,—но считал, что этот путь пролетариату придется делать или совсем одному, или совместно разве с одной деревенской беднотой. На зажиточном и даже середняцком крестьянстве он продолжал ставить крест, кажется, вплоть до 1917 года. С уверенностью сказать не могу, потому что наша переписка оборвалась в 1915 году.

Эту переписку стоило бы когда-нибудь напечатать хотя бы в написание тем нашим современникам, которые имеют к своим услугам ряд больших великолепно поставленных газет, несколько издательств и т. д., и т. д. Письма И. И. ко мне за границу—длиннейший мартиролог большевистской прессы в Москве. В попытках поставить в Мо-

скве большую нашу газету И. И. был неутомим. Он начал их с осени 1905 года, когда исключительно его энергии мы были обязаны тем, что нашли издателя, оказавшегося довольно прочным и стойким на ближайший период «попутчиком», привлекли к сотрудничеству такие величины, как Горький и т. д. Декабрьская неудача убила «Борьбу»,—но не энергию борьбы за большевистскую газету у Степанова. При его ближайшем участии возникает в Москве одно большевистское издание за другим, все в одном и том же порядке, начинающем напоминать сказку про белого бычка. То не находится издателя—это, обыкновенно, коренная причина, подкашивающая дело в самом начале. То, в пылу внезапно охватившего его энтузиазма, какой-нибудь «взбесившийся обыватель» решается дать свои деньги, иногда даже свое имя. Но на другой же день им овладевает трус великий, и он тоскливо ищет кустов, куда можно было бы спрятаться. То, наконец,—редкое торжество!—выходит первый номер газеты; но тут же цензура тюкает ее чем-нибудь тяжелым по голове—и через несколько месяцев сказка про белого бычка начинается сызнова... И. И. не оставлял этой работы ни на минуту—перерывы давали только «независящие обстоятельства». Между 1909 и 1912 годами ему пришлось провести два года в астраханской ссылке. Но, кажется, и оттуда он хлопотал о возможной будущей газете. «Я по натуре больше всего газетчик», писал он мне однажды. Когда его поставили во главе «Известий», то, применяя английскую поговорку, действительно поставили «надлежащего человека на надлежащее место».

Расставаясь—с его образом,—твердо надеюсь, только на время: книжку памяти И. И. Скворцова-Степанова мы должны написать и издать,—не могу не вспомнить еще одной его черты, лишней раз подчеркивающей глубину и солидность его марксизма. Он терпеть не мог этого самого «взбесившегося обывателя». От него никто никогда не слышал и не ожидал услышать ни оппортунистических речей, ни левого крика. С ним ушел в могилу один из тех людей, за кого можно было ручаться, что он никогда не свернет с марксистско-ленинского знамени. Глубочайшим образом и действительно честным человеком был скончавшийся Иван Иванович Скворцов-Степанов.

М. Покровский

x9

И. И. СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ

(1870—1928)

В лице скончавшегося 8 октября Ивана Ивановича Скворцова-Степанова Коммунистическая академия потеряла одного из своих основателей и руководителей. По самому своему происхождению (сын конторщика на одной подмосковной фабрике) покойный принадлежал к той классовой группе, из которой до развития массового рабочего движения выходило большинство революционеров. И путь, который проделал сын конторщика, был обычен для революционера тех дней; необычно было только то, что из первоначального опровергателя марксизма он превратился в одного из его лучших защитников.

С ранних лет пробудились в И. И. духовные запросы, но удовлетворять их было крайне трудно: достаточно указать на то, что даже сочинения Пушкина, Тургенева были в этой бедной среде недоступной роскошью. Блестяще окончив Богородское городское училище в 1885 г., он только в 1887 г. поступает в Московский учительский институт, который и кончает в 1890 г. с золотой медалью. После этого он поступает учителем в городскую московскую школу, что на М. Бронной в знаменитых студенческих домах—Гиршах.

Рано проснувшиеся духовные запросы властно требовали ответа на ряд проблем, и мы видим, как И. И. ищет его, ищет всюду и без всякого руководства. Вспомним, что дело происходит в 80-ые годы, почему не обошлось без влияния толстовства на И. И., но скоро оно уступает место типичным народническим настроениям. Живой учитель не замыкается в своей среде, он сходится со студенчеством и принимает деятельное участие в революционной жизни студенчества тех дней. Кружки самообразования сменяются революционной подпольной работой. От книг, как надо жить (толстовство), которые также были под запретом, которые также принадлежали к нелегальщине и которые переписывались, за неимением соответственной тех-

ники, от руки, в том числе и самим И. И., молодежь оторвал голод 1891 г., поставивший на место этической проблемы проблему экономическую. Если прежде на все вопросы политики, казалось, давал ответ Лавров и в особенности произведший громадное впечатление на И. И. Скворцова Бокль, то теперь они уже не удовлетворяли, и их сменили экономисты: Чупров, Милль, Ланге, В. В. Николай-он, Лассаль, Иванюков, Маркс, Исаев,—но в результате не могло не получиться хаоса и сумбура. Основного, руководящего стержня в этой смене книг не было. Что получилось в результате этого чтения? По словам самого И. И., в результате получился «у самого в голове невероятный либерально-народнический сумбур», что не помешало ему вначале выступать рьяно против марксистов (в том числе и М. Н. Мандельштама-Лядова) на нелегальных студенческих вечеринках.

С наступлением нового царствования И. И. принял участие в двух политических выступлениях. Известный историк В. Ключевский выступил после смерти Александра III с патриотически-хвалебной холмопской речью в его честь. Эта речь была выпущена отдельной дешевой брошюрой. Несколько сот экземпляров этой брошюры было скуплено И. И. с товарищами и затем перед текстом был вклеен гектографированный листок, на котором была отпечатана басня «Лисица кознодей» Фонвизина, в которой после хвалебной надгробной речи льву, произнесенной лисицей, крот указывает на зверства умершего царя зверей. На самом же издании было отмечено, что это 2-е исправленное и дополненное издание. На лекции Ключевскому было преподнесено это «второе издание» и была устроена демонстрация.

Вследствие своих народнических симпатий И. И. находился в сношениях (не входя в него лично) с террористическим кружком Распутина, замышлявшего покушение на Николая II. Спустя много лет, И. И. характеризовал это дело так: «бестолковый кружок много болтал о необходимости террора». Кружок был выдан провокатором, и после 6-месячной тюрьмы И. И. в 1895 г. был сослан на 3 года в Тулу.

Трехлетнее его пребывание в Туле оформило его сперва как марксиста, а затем и как социал-демократа. Первоначально в Москве из марксистской литературы И. И. ознакомился только с первым томом «Капитала», который ему как-то удалось заполучить на неделю, затем им была прочитана часть «Анти-Дюринга», «18 брюмера» и «Коммунистический манифест». Вместе с А. А. Богдановым И. И. стал в Туле вести занятия с рабочими, и из этих занятий вышли их совместные работы по политэкономии. Это общение с рабочими окончательно выветрило остатки народничества. Таким образом мы видим

своеобразное, нутряное, ежели можно так выразиться, оформление И. И. в марксиста, а позже в социал-демократа. Отсутствие марксистской литературы остро ставит перед пропагандистами вопрос о необходимости ее создания, и таким путем зарождается переводческая работа И. И. вместе с другим туляком—В. А. Базаровым.

Вернувшись после ссылки в Москву, И. И. в 1901 г. входит в состав МК., за что и получает 3 года Восточной Сибири.

Особенно развевывается работа И. И. в революцию 1905 г., когда он входит в состав лекторской группы МК большевиков и становится непременным членом всех редакций московских большевистских изданий тех дней. Тогда же развевывается громадная лекторская работа И. И. Несмотря на то, что он всегда «чувствовал себя не лектором», нужно сказать, что впечатление от его лекций и выступлений всегда получалось громадное. Чувствовалось, что выступает вполне сложившийся человек с громадным фактическим багажом, который он умеет великолепно использовать, чувствовалась беззаветная преданность делу освобождения пролетариата, подкрепленная несокрушимой научной базой. Это особенно сказывалось в полемических выступлениях И. И. против меньшевиков и кадетов.

Литературная работа И. И. тех дней, помимо переводческой, складывалась из двух моментов: с одной стороны, он давал марксистский анализ силам прошлого, против которых приходилось бороться пролетариату, с другой стороны, он вскрывал органические дефекты политической линии либералов и полулибералов, в роде меньшевиков. С этими статьями можно познакомиться по сборнику статей И. И. «От революции к революции».

Фигура И. И. надолго запомнилась московским избирателям тех дней, и, начиная с выборов во II Государственную думу, он становится непременным кандидатом в Думу от с.-д. г. Москвы. На почве работы И. И. в московской организации завязывается и его личное знакомство с В. И. Лениным, поручения которого он неоднократно уже с тех пор выполнял. В острый момент внутрифракционной борьбы в большевизме (группа Богданова) И. И. остался верен ленинской линии, несмотря на персональную близость к Богданову и его ближайшим соратникам. Все время до своей ссылки в Астраханскую губ. И. И. работает в московской большевистской организации, густо облепленной в те дни провокацией.

Война оформляет И. И. как левого циммервальдиста, последователя ленинской линии (недаром он участвует в двух большевистских сборниках тех дней: «Под старым знаменем» и «Прилив»), причем

линия эта и теоретически им обосновывается, так как еще до войны, редактируя Гильфердинга, он указал на грядущие бои за социализм в связи с эпохой империализма, которую переживала Европа и Америка тех дней.

С первых же дней революции мы видим снова И. И. за привычной ему работой редактора. А работа ему выпала нелегкая: при меньшевистско-эсеровском большинстве Московского совета с первых дней революции ему удалось придать большевистский характер «Известиям» Моссовета. Через некоторое время он этими временными господами политического положения был снят и стал вплотную работать в московском «Социал-демократе». Завоевание большинства в Моссовете большевиками снова возвращает И. И. на пост редактора, и он руководит «Известиями» перед Октябрем и в самые дни Октября. Эта ответственная работа заставляет его отказаться от обязанностей народного комиссара финансов, которым он был назначен победившей революцией, и остаться в Москве. Положение И. И. в партии уже таково, что именно ему поручаются партией выступления от имени большевиков в однодневной учредилке; в этих своих речах он ярко показывает, что пролетариат и крестьянство, с одной стороны, и все «социалистические» партии—с другой, вступают в гражданскую войну. После этого И. И. выполняет ряд ответственных поручений партии. Но главная его работа протекает в деле организации пропаганды идей и методов марксизма. По преимуществу он работает в качестве идейного руководителя наших издательств, начиная с «Волны» и «Коммуниста» и кончая Гизом, и редактирует то «Правду», то «Известия ЦИК СССР».

И. И. никогда не был «ученой» натурой, он был бойцом, и мы видим поэтому, что он по первому зову партии сменяет свое перо переводчика и ученого на перо боевого публициста, стоящего на передовых постах революционных боев. Мы видим его с Красной армией в 1920 г. в ее героическом походе на панскую Польшу. XIV съезд по личному предложению И. И. посылает его в Ленинград для завоевания организации, ослепленной фракционерами из новой оппозиции. Ему при невероятно трудных условиях удается создать идейный перелом в ленинградской организации и выправить ее линию. Против искажений партийной линии он выступал всегда, выступал непримиримо и всегда от обороны переходил в нападение. Оглушительны были удары И. И., и не легко было от них оправиться. Этой же борьбой против уклонов можно на наш взгляд объяснить и его страстность в философской борьбе, в споре диалектиков и механистов.

Мы выше указывали на то, как в личной практике пропагандиста И. И. почувствовал необходимость создания марксистской литературы. Его работа в этой области шла в двух направлениях: по линии истории и по линии политэкономии. Его громадная заслуга в том, что еще во времена дореволюционные русский марксист обладал переводом I тома «Предшественников новейшего социализма» Каутского и «Истории французского социализма» Гуго Линдемана. В предисловии к новому изданию этой книги после революции И. И. рассказал как ему удалось «обставить» старушку-цензуру и протащить под вымышленным названием «Общественные движения в середине века и в эпоху реформации, составлено по Лезерту, Келлеру, Циммерману, Каутскому и др. под ред. В. Базарова и И. Степанова» книгу Каутского, запрещенную даже в немецком оригинале. Переводческая работа в области истории продолжалась им (совместно с В. А. Базаровым) и после революции: так вышли книга Блоса по истории германской революции 1848 г., Баха по истории австрийской революции 1848 г., исторические работы Маркса и Энгельса. Уже во время нашей революции вышла книга Кунова «Борьба классов и партий в Великой французской революции». Отсюда же вышли и две оригинальные работы И. И. «Жан-Поль Марат»—человек, в котором И. И. совершенно справедливо видел прообраз Ленина, «друга народа» наших дней, и «Парижская коммуна и вопросы тактики пролетарской революции». Крайне показательна именно вторая часть заглавия этой последней книги, в которой И. И. рассматривает детально Парижскую коммуны как прообраз нашей революции. Этим восполнен тот пробел, который остался вследствие того, что 2-я часть «Государства и революции» осталось ненаписанной В. И. Лениным.

Но основной литературный памятник, который оставил нам И. И.,— это безусловно его (совместно с В. А. Базаровым) классический перевод всех трех томов «Капитала». К этому И. И. подошел не сразу. Мы выше видели, как достался ему марксизм. Сперва он вместе с А. А. Богдановым из лекций тульским рабочим создает «Краткий курс экономической науки», на 9 изданиях которого воспитались бесчисленные кадры марксистов-пропагандистов первой революции. Из него вырос двухтомный курс, второй «Курс политэкономии», написанный в 1908—1910 гг., первый том которого появился в 1910 г., а три части второго увидели свет только уже после революции 1917 г. Разделение труда между авторами шло по следующей линии: И. И. принадлежали главы технические и экономически-описательного ха-

рактера, причем первые два выпуска II тома, посвященные торговому и промышленному капитализму, принадлежат всецело И. И.

Уже во время первой революции И. И. начинает работать над новым, чисто марксистским переводом «Капитала», так как предшествовавшие издания—переводы Николая-она и Гурвич под ред. Струве—страдали многими недостатками, вследствие невыдержанности марксистской терминологии. Перевод И. И. был признан образцовым даже ренегатом марксизма—Изгоевым. Первоначально редактировал этот перевод В. И. Ленин, но затем сам же он редакцию этого ответственного марксистского литературного научного предприятия доверил А. Богданову.

Еще до перевода «Капитала» И. И., опять же совместно с В. А. Базаровым, перевел «Современный капитализм» Зомбарта, а в 1912 г. вышел его перевод «Финансового капитала» Гильфердинга. В предисловии к первому изд. И. И. не мог не отметить падения интереса русского читателя к экономическим вопросам, выразившегося в том, что книга Гильфердинга, несмотря на все свое теоретическое значение, появилась на русском языке только через два года после своего выхода в свет. Отметил И. И. эзоповским языком и те политические выводы, которые дает эта эпоха последней фазы капитализма. В своей статье об империализме, появившейся в 1913 г. в «Просвещении», И. И. остановился на следующих моментах империализма: картельный протекционизм, эмиграция капитала и колониальная политика. В предисловии к одному из последних изданий книги Гильфердинга И. И. с гордостью указал на сходство его оценки империализма с оценкой, данной В. И. Лениным в его книге об империализме.

Из оригинальных работ И. И. надо отметить его доклад в Ком-академии «Что такое политэкономия» и вызванную им дискуссию и его классическую работу об электрификации РСФСР. Как экономист-практик, И. И. работал много по кооперации и своими работами не мало способствовал разработке этой области экономической науки, совершенно незатронутой нашей теоретической последовательно-марксистской литературой.

Как революционный марксист, И. И. не мог не реагировать самым резким образом на все попытки пересмотра учения Маркса, и мы видим ряд статей И. И., направленных против Бернштейна, Туган-Барановского, Зомбарта и других. Особливо надо выделить его замечательную статью о Плеханове, написанную в 1906 г.—«Издадека», в которой он впервые в русской литературе показал оппортунистические тактические ошибки родоначальника русского марксизма, при-

чем как основную причину автор выдвигает то, что в течение двух десятилетий Г. В. Плеханов наблюдал русское рабочее движение издадека. Еще более резко выступил И. И. против Плеханова, когда тот перед выборами во II Государственную думу заменил лозунг «Учредительное собрание» лозунгом «полновластная» Дума и затем пытался доказать, что-де это было своеобразное уравнивание для улавливания кадетов (статья «О новом повороте Плеханова»). К 1914 г. относится статья об объединительных стараниях Плеханова «Об единстве» и «Единстве». Все эти интереснейшие статьи вошли в сборник «От революции к революции». Как большинство русских с.-д., даже большевиков, И. И. преувеличивал революционность германского рабочего движения (см. его предисловие к книге Кулемана, его статью «Экономика и политика в рабочем движении»), поэтому ему пришлось в дальнейшем на основе опыта тактики германской с.-д. со времени войны пересмотреть свои оценки, что он и сделал в предисловии к IV тому «Истории» Меринга, в предисловии к «Эрфуртской программе» Каутского, в статье о новейшей ревизии Маркса, сделанной Куновым, в предисловиях к послереволюционным изданиям Гильфердинга.

Здесь надо отметить одну громадную теоретическую заслугу т. Скворцова-Степанова. Именно ему принадлежит честь восстановления подлинных взглядов Маркса—Энгельса на государство еще во времена первой революции. Характеризуя тактику к.-д. во II Госуд. думе, И. И. указал на то, «что было бы легко показать, что всеобщее избирательное право в тенденции лучше всего обеспечивает преобладание чистой капиталистической буржуазии» (вышеназванный сб., статья «Классовые основы политических партий», 182), причем дальше, на следующей странице (183) делается указание на то, что «чисто капиталистический режим буржуазное государство сами из себя порождают полицию и бюрократию как орудия государственной власти, т. е. как орудия внехозяйственного воздействия, присоединяющегося к непосредственной власти экономических отношений». Эти указания вызвали протесты меньшевика Чернышева против принижения значения всеобщего избирательного права и указания на идейную близость большевизма к анархизму. На это последовало две ответных статьи («Анархисты, к.-д. и всеобщее избирательное право» и «Либеральный обыватель и всеобщее избирательное право»), причем И. И. в подтверждение своих взглядов на государство привел 5 цитат из Энгельса, 4 из «Происхождения семьи и т. д.» и одну из «Предисловия, 1895 г.» к Марксовой «Борьбе классов во Франции».

(Интересно и достойно специального исследования то, что из них две цитаты являются основными в Ленинской работе о государстве, а именно: «что в демократической республике богатство осуществляет свою власть косвенно, но тем вернее» (Степанов, с. 194 и Ленин т. XIV, ч. 1, с. 306) и «что всеобщее избирательное право—показатель зрелости рабочего класса» (Степанов, с. 204 и Ленин, там же, с. 307). Остальные три цитаты говорят следующее: «Современная республика есть форма господства братского союза правительства и биржи» (Степанов, с. 195). «Класс собственников господствует прямо посредством всеобщего избирательного права» (Степанов, с. 195); и наконец—«всеобщее избирательное право—средство подсчета сил» (Степанов, с. 204). Этот же правильный методологический подход помог И. И. вскрыть природу печати капиталистического общества: статья «Капитал и газета» («Утро России» и Рябушинский»), причем в этой статье автор вскрыл переход на службу капитала и ряда с.-д. как бывших, так и продолжавших считать себя таковыми.

Приняв все это в соображение (поневоле мы должны быть кратки), мы поймем и остроту критики Кунова по вопросу о государстве, которую дал И. И., и его идейную близость, сходство со взглядами В. И. Ленина на государство. Вот почему мы и сказали выше, что книга Степанова о Парижской коммуне есть продолжение книги В. И. Ленина «Государство и революция».

Это же стремление отстоять чистоту линии вызвало и страстность философской полемики И. И. Скворцова, когда он стал на сторону механистов в их неоконченном еще споре с диалектиками. Последняя его книга показывает, как он ставил главным образом политический акцент в своей полемике. Спор еще идет, он еще не решен, почему не место здесь давать оценку этого еще незавершившегося процесса, тем более, что каждый из нас принадлежит если не к той или иной фракции, то к тому или другому направлению.

Иван Иванович Скворцов-Степанов, как мы видели, считал себя не лектором, но если остановиться еще на одной стороне его многообразной научной работы, то мы не можем не отметить совершенно исключительного значения, которое он занял в нашей борьбе за атеизм, в нашей борьбе против богов и боженят всех мастей и рангов. Ему тут помогло безусловно то, что он еще после первой революции отверг попытки «левых» большевиков сочетать пролетариат с богом. Здесь его деятельность крайне разносторонняя: тут мы имеем и научные работы—перевод Кунова, самостоятельный «Очерк развития религиозных верований», полемику о происхождении религии, тут и

популярные брошюры, тут и блестящие массовые памфлеты. Здесь-то и пригодилась Ивану Ивановичу та полемическая «оглобля», о которой мы сказали выше.

Воинствующий материализм—вот было теоретическое кредо И. И., поэтому мы поймем и то горячее участие в организации и первоначальной работе Коммунистической академии, тогда еще Социалистической академии общественных наук, которое он принял с первых дней ее оформления, весной 1918 г. Поскольку САОН стала социалистическим университетом, Иван Иванович в нем не только читал основной курс политической экономии, пользовавшийся громадным успехом (лишнее опровержение его мнения—«я не лектор»), но и работал в качестве члена президиума, специально заведя студенческими делами. На этой почве ему пришлось много бороться против формализма, бюрократизма, о чем когда-нибудь расскажет будущий историк Комакадемии. Но когда к весне 1919 г. преподавательская деятельность Академии замерла, а сама она стала вести несколько анабиотическое существование, Иван Иванович отошел от работы Академии и только недавно вновь вернулся к органической работе в Академии в качестве члена президиума. И этот приход был не случаен: к этому вели два потока, органически слившиеся. С одной стороны, после долгих поисков Комакадемия нашла себя и стала органически расти и развиваться, недаром же на ее работу обратил внимание еще XII съезд нашей партии. С другой стороны, политическая жизнь все больше и больше выдвигала Ивана Ивановича на передовые посты. Бессменный член Центральной ревизионной комиссии, Иван Иванович на XIV съезде избирается членом ЦК и начинает вести борьбу за чистоту линии партии против всех и всяческих школьных и нешкольных уклонов. Это же приводит его на ответственный пост директора Института Ленина, и в процессе координации теоретической и партийной работы он и встречается снова с выросшей за эти годы Комакадемией, в которой, как мы видели выше, он иногда выступал с докладами.

Еще в 1917 г., когда И. И. от имени московского пролетариата в Городской думе громил кадетов и их подголосков из лагеря «социалистов», имя его стало одним из наиболее ненавистных для этих «врагов народа» (такowymi они были объявлены в эпоху гражданской войны). И в прессе капитала, природу которой он вскрыл еще до войны, имя его не сходило со столбцов и подвергалось издевкам. Но Иван Иванович, чувствуя за собою массы, шел напролом, не сгибаясь. И эта четкость, эта несгибаемость была одним из наиболее

характерных его свойств как личности. Из вышеизложенного мы видели, как разностороння была его работа. Мы могли только слегка очертить ее, не затрагивая, за исключением двух-трех случаев, те проблемы, которые он ставил. Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть, что в истории русского марксизма Ивану Ивановичу Скворцову-Степанову принадлежит почетное место и дело историков марксизма — показать всю эту жизнь в целом ее развитии. Тогда только мы сможем понять, какую теоретическую силу мы потеряли в лице И. И. Скворцова-Степанова.

Ст. Кривцов

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ¹.

Фигура Чернышевского необычайно многогранна. Философ, публицист, крупнейший экономист, популяризатор научных знаний, революционный вождь, автор гениальных прокламаций, — Чернышевский был вместе с тем крупнейшим литературным критиком и одним из замечательнейших в нашей великой литературе писателей-беллетристов. Моя задача сегодня — остановиться только на этих двух последних проявлениях гения Чернышевского — на Чернышевском как литературном критике и как беллетристе.

Русская литература отличалась всегда глубочайшей общественностью. Она свойственна почти всем без исключения писателям золотой поры русской литературы. Для вольного выражения мыслей в форме научной и публицистической русские порядки, русская цензура не оставляли почти никакой возможности. Приходилось прибегать к форме романа, повести, стихотворения не только из той нормальной потребности в изящной литературе, в литературе как искусстве, которая присуща всякому более или менее развитому обществу, но еще для того, чтобы удовлетворить этим способом жажду познания общественной истины и распространения ее в массах, жажду пропаганды общественного прогресса. Один класс за другим находил в своей борьбе с самодержавием это орудие наиболее приспособленным в рамках цензурного рабства. И литературная критика брала таким образом отражение явлений действительной жизни в зеркале литературы и под видом эстетического разбора этих произведений умела провести для всех, кто имел уши слышать, порой чрезвычайно радикальную проповедь революционного характера. Белинский был первым гигантом в области такого использования критики, и Чернышевский, величайший ученик этого великого учителя, также уделял много внимания литературной критике. Правда, он не считал самого себя мастером в этой области, и как только нашел в лице Добролюбова, которого он так любил и уважал, конгениальную личность, он сейчас же этому молодому, совершенно с ним солидарному ученику передал полностью литературно-критическую задачу.

Литературная критика не занимает у Чернышевского первого места в его деятельности. Тем не менее она играет видную роль в лите-

¹) В основу статьи положена речь на торжественном заседании по случаю 100 летия со дня рождения Чернышевского.

ратурном наследии Чернышевского и очень видную роль во всей истории нашей критики.

Для того, чтобы понять те основы, из которых исходил Чернышевский в своей литературной критике, конечно, необходимо сделать экскурсию в область его эстетических воззрений, в область его философии искусства, которую он развернул в своей знаменитой диссертации об эстетическом отношении искусства к действительности. Эта диссертация была одним из самых ярких актов классовой борьбы, направленных, однако, не против самодержавия, не против черносотенных зубров-помещиков, а как раз против того класса, той группы, которая до Чернышевского играла наиболее передовую роль. Вот почему как раз такие люди, как Тургенев, как молодой Толстой почти все представители тогдашнего дворянского либерализма и дворянского эстетства приняли эту книгу с ненавистью. Тургенев, который до того времени уважал Чернышевского за его острый ум, писал в одном из писем к Толстому: «Теперь я от него отрекся», и шутя заявляет: «Я готов истреблять таких людей, как Чернышевский, всеми дозволенными и недозволенными средствами. Во всяком случае, книга его есть отвратительная мертвечина». Между тем, это была работа, полная жизни; можно сказать, основным отличием этой книги от всего, что писали либеральные эстеты, была именно ее полнокровная жизненность. Автор ее—настоящий материалист, материалист не только потому, что он прошел ту же школу, которую прошел марксизм,—гениальную школу Шеллинга, Фейербаха, французского материализма и левых учеников Гегеля¹,—но и потому, что это сочная, творческая фигура, которая приносит с собой весть из недр начинающего расправлять свои плечи народа, представитель поднимающейся общественной группы, жаждущий «месить действительность», как потом скажет горьковский Нил, жаждущий, как сказал Маркс, не истолковывать мир, а изменять его, и поэтому горячо влюбленный в действительность.

В первой части своего трактата Чернышевский бросает ызов дворянскому эстетству, уже опустошенному, доведенному до изыщной призрачности. Эта барская, удаленная от труда, удаленная от живой действительности каста старалась окружить себя вымыслами и создать себе мягкую, изыщную псевдодействительность. В этом сказывалось уже известное умирание класса, неверие в свои силы. Дворяне в это время уже признавали себя лишними людьми, слишком хорошими для действительности. Этот процесс умирания жизненных сил, умирания нервной системы, атрофии здорового чувства действительности сказывался в противопоставлении искусства действительности и в возвеличении искусства путем сравнения его с действительностью. Чернышевский противопоставляет этому обратный тезис: дей-

¹ Всю эту школу Чернышевский прошел и ссылается на нее именно, как на те линии, по которым вырабатывалось его мировоззрение. Это, между прочим, показывает, до какой степени Чернышевский действительно был нашим предшественником.

ствительность выше всего, действительность прекраснее всего, искусство прекрасно постольку, поскольку оно отражает действительность и служит ей.

Вот что писал Чернышевский в первой части своей замечательной диссертации:

«Определяя прекрасное как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо приходим к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашей фантазией»; из этого будет следовать, что, «собственно говоря, прекрасное создается нашей фантазией, а в действительности (или, говоря языком спекулятивной философии: в природе) истинно прекрасного нет»; из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать то, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостатки прекрасного в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в объективной действительности»—все эти мысли составляют сущность господствующих ныне эстетических понятий и занимают столь важное место в системе их не случайно, а по строгому логическому развитию основного понятия о прекрасном.

Напротив, из определения: «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; произведение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объяснимо из совершенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете» (Чернышевский, Полн. собр. соч., т. X, ч. 2, с. 92—93).

В споре буржуазного эстетизма с демократическим, народным подходом к искусству Чернышевского иногда может показаться, что, наоборот, Чернышевский занимает какую-то призрачную позицию, а дворянская эстетика старается уловить реальность и зафиксировать ее. В самом деле, буржуазно-дворянскому эстету свойственно заявлять, что действительность мимолетна; она кажущаяся; когда я говорю это слово, оно уже уходит в прошлое, а будущего еще нет; таким образом, мы имеем, в сущности говоря, небытие. Прошлое—это то, чего уже нет; будущее—то, чего еще нет; настоящее абсолютно мимолетно, оно беспрестанно движется; а искусство вынимает из этого потока то или другое явление и делает его вечным.

Замечательно, как необычайная свежесть патуры революционного гения подсказала Чернышевскому ответ, в котором сказывается еще одна черта его. Чернышевский влюблен не просто в действительность: он влюблен в действительность, развивающуюся, в действительность, вечно новую, погруженную в этот поток времени. Там—метафизическая жажда вынуть явление из потока явлений и превратить его в нечто в роде мумии; а Чернышевский чувствует, что в этом стремлении к вечности есть мертвечина, и он, обвиняемый Тургеневым и Толстым в мертвенности по отношению к искусству, пишет такие строки:

«Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», говорят эстетики; правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает—оно исчезает, исполнив свое дело, оставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день с новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы красота действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она надоела бы, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; поэтому никогда не наглядится он на живую красоту и очень скоро пресыщает его «tableau vivant», которую предпочитают живым сценам исключительные поклонники искусства» (*Чернышевский*, Пол. собр. соч., т. X., ч. 2).

Вот вам классовая борьба, выраженная в двух различных строях жизни. Одни хотят призраков, возможно более отвлеченных от действительности, и считают их прекраснее, чем грубая действительность; эти хотят утвердить искусство вне движения времени. Другой—весь насыщен любовью к этой действительности, хочет видеть ее живой, изменяющейся, и себя рассматривает как одну из сил, которые направляют это изменение действительности в желательную для человеческих потребностей сторону.

Я только что привел фразу Чернышевского, где говорится, что, если станешь на реалистическую, материалистическую сторону по отношению к искусству, приходится иначе определить и самую задачу искусства. Действительно, Чернышевский определяет ее с утилитарной точки зрения и в самой резкой форме. Это вызвало даже отпор со стороны Плеханова.

Вот одно из инкриминируемых Плехановым Чернышевскому выражений, относительно задач искусства с этой новой, материалистической точки зрения:

«В новейшей науке критикой называется не только суждение о явлениях одной отрасли народной жизни—искусства, литературы или науки—но вообще суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями, при сличении их с требованиями разума».

«Критическое направление», при подобном изучении и воспроизведении явлений жизни, проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства».

Конечно, это звучит совершенно по-просветительски. Критика есть сравнение действительности, как она есть, с некоторыми нормами,

достигнутыми разумом и продиктованными нам той стадией развития нашего чувства, на которой мы стоим,—это звучит действительно идеалистически, нормативно. И когда Плеханов возражает Чернышевскому и говорит, что мы должны исследовать действительность в ее реальном движении, что дело не в том, чтобы исследовать какие-то мнимо вечные нормы, а в том, чтобы понять явления в их естественной взаимозависимости и изменяемости, то он, разумеется, совершенно прав. Вот что Плеханов говорит об эстетической теории Чернышевского:

«В статье о литературных взглядах Белинского мы сказали, что в своих спорах со сторонниками чистого искусства он покидал точку зрения диалектика для точки зрения просветителя. Но Белинский все-таки охотнее рассматривал вопрос исторически; Чернышевский окончательно перенес его в область отвлеченного рассуждения «о сущности искусства», т. е., вернее, о том, чем оно должно быть». «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее», говорит он в конце своей диссертации. «Искусство также не должно думать быть выше действительности. Пусть искусство довольствуется своим высоким прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности, быть некоторой заменой ее и быть для человека учебником жизни».

Плеханов прямо, можно сказать, руки воздевает к небу: «Это уже взгляд просветителя чистой воды. Быть учебником жизни—это значит содействовать умственному развитию общества, и просветитель видит в этом главное назначение искусства» (*Плеханов*, т. VI, с. 251). И тут Плеханов ставит восклицательный знак.

Я должен сказать, что Плеханов делает здесь маленькую ошибку прежде всего в области терминологии и потому уклоняется от того представления об искусстве, которое действительно имел Чернышевский. Он говорит: по Чернышевскому искусство должно способствовать умственному развитию общества. Но это неверно. Такого термина—«умственное развитие общества» Чернышевский не употребляет. Чернышевский говорит: искусство должно способствовать нравственному развитию общества. Если вы вдумаетесь в то, что такое нравственное развитие общества, то вы увидите, что это есть развитие тех сторон его общественной жизни, для перевоспитания которых не нужно обращаться непосредственно к уму. Вы можете доказывать сколько угодно, что такое добро и зло и почему добро выше зла, и от этого человек не делается лучше; нужно воспитать его чувства. Чернышевский прекрасно понял, что искусство отличается прежде всего тем, что действует непосредственно на чувства. Это будет подтверждено некоторыми цитатами, которые я ниже приведу.

Вопрос ставится так: имеет ли право революционер, выступающий с точки зрения известного класса, сказать: социальное задание моего класса требует от художника такого искусства, которое бы толкало общество в направлении его нравственного развития так, как понимает это мой класс, как понимает передовой слой моей эпохи. По Плеханову выходит так, что никто не имеет этого права.

Плеханову не пришлось быть выразителем воли властного класса, который переделывает жизнь соответственно своей программе. Плеханов дожил до Октября, но не признал его, Чернышевский же говорил с точки зрения активного воздействия на жизнь. Просветительство его коренится в том, что он высказывал стремление определенного класса. Он не столько заботился о том, чтобы понять естественное развитие искусства согласно объективным условиям, как о том, чтобы сказать своему классу, писателям, которые под его руководством работали, огромному обществу, которое прислушивалось к каждому его слову: вы должны писать так-то и так-то.

Можно ли осуждать Чернышевского, что он говорит «мы должны», а не «общий закон всей нашей эпохи приводит к тому, что писатель будет писать то-то и то-то». Сейчас, когда к нам приходят и говорят о том, как должно быть, когда мы стараемся через общественное мнение, через наши художественные организации, через наш общественный аппарат влиять на ход развития искусства, мы чувствуем, в какой мере это так называемое просветительство нам близко. Как марксисты, мы хорошо знаем, почему мы именно так, а не иначе приспосабливаемся к создавшемуся положению, мы знаем, какие социально-экономические причины вызывают определенные идеи, определенные тенденции в нашей общественности. Но, кроме того, мы — активная сила, мы — чрезвычайно властно планирующая активная сила. И когда мы планируем жизнь, когда мы вносим в нее сознательность, мы, не переставая быть марксистами, становимся просветителями в самом полном смысле слова. Вот почему это суждение Чернышевского об искусстве, конечно, для нас очень важно и понятно. А понятие внутренние силы этого суждения Чернышевского важно еще и потому, что он сам как беллетрист следовал этим именно правилам, и это бросает свет на значение беллетристических произведений Чернышевского для нашего времени и выдвигает вопрос: а не должны ли наши современные писатели кое-чему поучиться у Чернышевского и в том, как он выполнял свою миссию как беллетрист?

Главное литературно-критическое произведение Чернышевского — «Очерки гоголевского периода». Когда эта книга была написана, она вызвала протест со стороны даже самых крупных, можно сказать даже великих либеральных бар. Так, например, Толстой назвал фетишизмом и гробокопательством то, что Чернышевский пошел вновь восстанавливать забытого и запрещенного Белинского. В первой части этого произведения Чернышевский ведь даже не смел назвать Белинского; имя Белинского проникает только в последние главы его книги. Связать современное движение с передовыми традициями прошлого, показать, что революционная мысль не умерла и не убита, что дело, начатое Белинским, продолжается группой Чернышевского, было, конечно, чрезвычайно важно. Эта книга, разумеется, только барам могла показаться мертвенной; в каждой странице чувствуется громадное проникновение в жизнь эпохи, умение оценивать литературное значение каждого мыслителя, необыкновенно, я бы сказал, ласковое и снисходительное отношение к каждому явлению, которое

Чернышевский намечает. Почему? Потому ли, что действительно он обольщается относительно Брамбеуса, Надеждина и Полевого? Ничуть не бывало. Он прекрасно знает их недостатки, но он сознает историческую роль каждого из них и значение их в общем движении русской мысли, и с этой стороны все они находят слова хвалы, а иногда слова грустной нежности по отношению к людям, которых жизнь сломила, как это случилось в конце деятельности Полевого. Всюду с чрезвычайной яркостью в этой книге сказывается это основное положение Чернышевского: для нас особо велик тот писатель, у которого есть своя социальная позиция и который пользуется своим талантом для определенного нравственного воздействия на общество. Он говорит с этой точки зрения, что Пушкина, например, любить может почти всякий; любить Пушкина — это не значит примкнуть к одному какому-нибудь лагерю. Другой пример: мы благовоим перед поэтическим дарованием Гете, но он так умело обходит все острые углы! Никогда не занимал он решительной позиции, как бы стремился быть близким и милым для всех. Вследствие этого ценность Гете для нас чрезвычайно понижается. Но о Гоголе¹ Чернышевский говорит: нельзя быть равнодушным к Гоголю, нельзя только любить красоты, рассыпанные в произведениях Гоголя; Гоголь — борец, Гоголь — человек, имеющий определенную тенденцию. Каждая глава «Мертвых душ», каждая сцена из «Ревизора» — это борьба. Вот что Чернышевский ценил больше всего в Гоголе. И если мы сейчас поставим перед собой вопрос, какой писатель выше — тот ли, которому только важно создать известное количество красок, на которых каждый может отдыхать, которые так же может любить всякий, как хорошую пищу, или тот писатель, который является борцом и проводит в своих произведениях наши, пролетарские тенденции, то каждый из нас, активных участников революционной борьбы и революционного строительства, скажет, что безотносительно к сумме талантов — скажем, при равной талантливости — этот второй писатель безмерно выше предыдущего и отличается от него, как всякий зрелый и мудрый человек отличается от ребенка, играющего игрушками. Вот что скажем мы.

Но в известный период развития русского общества началось гонение на Чернышевского. Пытались доказать, что Чернышевский глубоко ошибся в Белинском, что он похоронил все тонкое в культуре, что у него не было никакого понимания подлинной значительности литературы и т. д. Это было опять-таки актом классово-борьбы или, вернее, актом отречения большого отряда русской интеллигенции от своих социальных заветов и истребления того, чему молились их отцы, а может быть, и они сами в своей молодости. Надо было теоретически истребить эти принципы для того, чтобы с более легкой совестью перейти на ту сторону баррикад и служить разбогатевшей буржуазии, которая посадила интеллигенцию за свой широкий стол.

¹ Здесь имеется в виду Гоголь в его расцвете, в тех его произведениях, которые создают действительный образ Гоголя. Таким образом, эта характеристика никак не относится к «Переписке с друзьями» и т. п.

Между тем, вы знаете чуткость и прозорливость Чернышевского как литературного критика хотя бы по отношению к первым произведениям еще неизвестного тогда молодого Толстого,—того самого, который называл Чернышевского «клоповоноющим» и т. д. и не находил слов, чтобы высказать свое высокобарское презрение к этому семинаристу. Вот что он писал:

«Талант Толстого развивается с каждым новым произведением, и при этом две черты,—глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства,—придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны не выказались в нем при дальнейшем его развитии».

И кончает свою статью словами:

«Мы предсказываем, что все, донныне данное графом Толстым нашей литературе,—только залогом того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залого!»

Таким образом, Чернышевский по этим первым строкам Толстого не только предсказал, что это будет великий писатель; мало того, он сразу указал центральную сторону таланта Толстого как беллетриста, показал, что прозорливость относительно внутренних состояний и сознания человеческого делает Толстого бесконечно ценным бытописателем. В то самое время как Писарев писал о «Цветах невинного юмора», Чернышевский посвятил «Губернским очеркам» глубокую и серьезную статью, в конце которой говорит:

«Нам казалось, что можно сочувствовать человеку, поставленному в фальшивое положение, даже не одобряя всех его привычек, всех его поступков. Удалось ли нам провести эту мысль с достаточной точностью, пусть судят другие».

Что же касается литературных достоинств в книге, изданной г. Салтыковым,—о них тоже пусть судят другие. «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением,—эта книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни».

Достаточно яркое доказательство литературно-критической проницательности.

Не менее замечательна данная им формула подлинного крупного писателя:

«Как ни важно участие бессознательной творческой силы в создании поэтических произведений, как ни достоверна всеми нами признаваемая истина, что без этого элемента непосредственности, составляющей существеннейшее качество таланта, невозможно быть не только великим, но и порядочным поэтом, но равно достоверно и то, что при самом сильном даре бессознательного творчества поэт не создаст ничего великого, если не одарен также замечательным умом, сильным здравым смыслом и тонким вкусом».

К этим данным относительно Чернышевского как критика я должен лишь прибавить одну замечательную цитату, которая взята из критического произведения Чернышевского, но характеризует его скорее как мыслителя по вопросам культуры и социологии. Это вы-

сказывание об одной из самых важных проблем—о роли личности в истории. Вот что пишет по этому поводу Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода литературы»:

«Гений—просто человек, который говорит и действует так, как должно на его месте говорить и действовать человеку с здравым смыслом; гений—ум, развившийся совершенно здоровым образом, как высочайшая красота—форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться. Скорее надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиваться, как бы ему всегда следовало развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому что они не естественны, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

При чтении этих величественных по своему проникновению во внутреннюю сущность социалистических идей строк, перед нами невольно возникает образ Владимира Ильича, который, будучи одним из гениальнейших людей, каких видывала земля, был необычайно здоров и естественен. Безобразная общественная жизнь, которая нас окружает, глубоко калечит почти всех исключенных участников этой общественной жизни. Нужны особые условия, дающиеся быстрым развитием протестующего, смотрящего дальше этих безобразных форм класса для того, чтобы отдельная личность могла выпасть из этого безобразия и обрести свою подлинную человечность. Именно благодаря тому, что в такой личности нет оригинальничанья, именно потому, что ее оригинальность заключается в том, что она просто, ясно и зорко видит то, что происходит, она естественным образом и наполняется сознанием этой эпохи. Потому, что нет ограничивающих сил, потому что нет калечащих сил,—именно поэтому такая личность оказывается на высоте своей эпохи, оказывается гениальной, оказывается ведущей. Другие не замечают своей эпохи потому, что им недостает объективности гения. Это прекрасно понимает Чернышевский.

Чернышевский, однако, нимало не преувеличивает роль личности, как мы это уже отметили. Чернышевский прекрасно понимает роль, которую личность выполняет в истории. По его мнению, она является только служительницей времени и исторической необходимости. Он поясняет эту мысль:

«Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать личность гоголевского периода, ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от исторического нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другой фамилией, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду».

«Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг».

Мы, марксисты, собственно говоря, становимся на эту же точку зрения. Гений—это настолько нормальный человек, что он без ограничений, полностью понимает движущие силы своей эпохи и поступает так, как эта эпоха требует.

Сокровищница литературно-критических произведений Чернышевского очень богата и, разумеется, в одной статье, нечего и думать ее охватить. Скажу только, что хотя мы с тех пор и имели в области литературной критики несколько крупных мыслителей, из которых крупнейшим является Плеханов, я смело утверждаю, что каждый нынешний критик-марксист должен с величайшим вниманием проштудировать литературно-критическое наследие Чернышевского. В области литературной критики очень многому можем мы поучиться у Чернышевского, хотя у нас и есть более передовой учитель в лице Плеханова. Пожалуй есть только два имени в этой области, про которые мы могли бы прямо сказать—учитель. Это не прозвучит, быть может, особым парадоксом для вас, которые пришли сюда чествовать Чернышевского, которые его знают и любят. Но, может быть, вам покажется парадоксальным, если я скажу, что Чернышевский—великий писатель-беллетрист и что не только его произведения глубоко захватывающи и художественно полноценны, но что они, быть может, являются наилучшими образцами того романа, который нам нужен. С этой стороны я смело вступаю на тот путь, на который вступил уже тов. Фриче в своей статье в «Правде», где он показывает литературно-беллетристическое значение Чернышевского. Я думаю, что вы на меня не посетуете, если я немного дольше остановлюсь на этом вопросе.

К Чернышевскому установилось такое отношение: художник он, конечно, слабенький; беллетристические его произведения—нечто в роде басни,—в них важна мораль, содержание; автор обернул эту пилюлю в золотую бумажку, чтобы приняли ее за вкусную конфетку, но, в сущности говоря, получается вовсе невкусно. Идеям, высказанным в романе «Что делать?», Чернышевский придал беллетристическую форму, потому что он хотел обмануть «черного медведя», хотел, чтобы цензура пропустила эти мысли в печати. Виновником того, что установилась такая, в корне неверная, точка зрения, нужно считать, в некоторой степени, самого Чернышевского. Он часто говорил о недостаточности своего литературного дара. Но прочтем ту замечательную главу из «Что делать?», которая называется «Предисловие» (хотя это третья глава романа). Она настолько интересна, что я позволю себе прочесть довольно длинные выдержки:

«Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание

повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффективность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант!), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкою эффективности. Не осуждай меня за то,—ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попала в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песней; не будет ни эффективности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди—это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? Да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что это за писатель, так нагло говорящий со мною?—я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика; прочтешь не без пользы. Истина—хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе; если я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет,—ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью».

Вот на такого рода обращение опирались те, кто утверждал, что Чернышевский был слабым писателем, в смысле художественности формы, и сам сознавал это. Но эти люди, несколько обиженные таким обращением, повидимому, не дочитали того, что говорит Чернышевский дальше:

«Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочине-

ниями твоих знаменитых писателей ты смело ставь на ряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их—не ошибешься! в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет.

Поблагодари же меня; ведь ты охотница кланяться тем, которые пренебрегают тобою,—поклонись же и мне).

Вот это проглядели. А тут Чернышевский так же правдив, как и в первой части цитированной главы. Конечно, Чернышевский не великий писатель,—если под великими разумеешь десять-двенадцать величайших гигантов мировой литературы, но лучшие его произведения выдерживают сравнение почти со всем, что имеется в литературе. И там, где он несколько, может быть, уступает в иррациональных достоинствах, в непосредственной интуиции, там это возмещается остроумием и блеском его ума, настолько исключительным, что это само по себе доставляет гигантское художественное наслаждение.

Чернышевский знал, что читатели его расслоены на классы, что в них есть разные группы, и он кончает это изумительное предисловие таким образом:

«Но есть в тебе, публика, некоторая доля людей,—теперь уже значительная доля—которых я уважаю. С тобой, с огромным большинством, я нагл,—но только с ним, и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнением я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало, и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою,—потому мне еще нужно и уже можно писать».

Это объяснение с публикой, это ясное понимание своего достоинства, своего места подкупает само по себе. Прекрасная беседа с проницательным читателем, который догадывается, возражает, сердится! Чернышевский играет, как кошка с мышкой, с этим обывателем, который, читая «Что делать?», старается о чем-то догадаться. Чернышевский заранее угадывает все чувства, все мысли, которые возникнут у него при чтении той или другой страницы, подтрунивает над ним,—и вдруг с размаху дает ему пощечину.

Это вышучивание проницательного читателя, которое выступает как рефрен,—прием, который Чернышевский мог позаимствовать у немецких романтиков. Но у них это просто каламбур, фиоритура, а у Чернышевского глубочайшие комментарии, умственный аккомпанемент тому, что он дает в образе.

Роман «Что делать?» великолепно построен.

Я не буду останавливаться на его структуре, скажу только, что на этом романе можно учиться тому, как заинтересовать читателя, как подготовить его к дальнейшему изложению. Чернышевский, во время заключения в Петропавловской крепости, проделал боль-

шую умственную архитектурную работу, чтобы построить это изумительное здание.

Но важно его внутреннее построение, которое идет по четырем поясам; пошлые люди, новые люди, высшие люди и сны.

Почему Чернышевский строит таким образом, разделяя на эти четыре пояса?

Пошлые люди—это действительность, с которой приходится бороться новым людям, которые пришли, к которым Чернышевский обращается, как к особой публике и на примере которых учит тому, как надо жить. Нельзя ставить перед большинством человечества необыкновенных задач. Он учит обыкновенных людей приемлемым, возможно легким путям, но все-таки путям мыслящего борющегося существа, путям настоящего прогресса. Но он этим не ограничивается, это не то, чего ему хочется. Прав М. Н. Покровский, характеризуя тогдашнее время, как бурное время, когда итти в революцию значило итти на величайшие жертвы, больше того—значило почти наверное обрекать себя на гибель. Это знал и молодой Чернышевский. Он так и говорит невесте: «Знай, я один из обреченных, я почти наверное погибну». Для таких людей, исключительных людей, которые могут быть концентраторами, агитаторами, вождями великой крестьянской революции, для них должен быть другой размах, другой подход. Поэтому за новыми идут высшие люди, которые в романе представлены ригористом Рахметовым.

Но не ограничивается и этим Чернышевский. Он настоящий революционный диалектик по самой натуре своей, он революционер, поэтому дорого будущее человечества. Владимир Ильич как-то бросил такую золотую фразу: «Плох тот большевик, который никогда не мечтает». Верно, товарищи, кто никогда не мечтает, у кого нет огромного горизонта великого будущего, которое оправдывает какие угодно жертвы,—тот крот и может только в силу какого-нибудь гетерогенного закона выполнять высокие обязанности. Действительно с любовью, с мужеством может итти только тот, кто видит все великие цели. А эти великие цели не заключены в действительности, их нет в действительности. Бухарин не так давно сказал: «Молодежь, которая сейчас выросла, слабо помнит городского; она видит перед собой то, чем мы сейчас живем; ей говорят, что это переходная к социализму эпоха, а они говорят: что-то не нравится нам» (смех). Только те, кто умеет вдуматься в текучесть событий, только те понимают, что это бурная река, которая движется вперед. Нужно знать, куда эта река течет. Часто говорят: мы построим социализм; но даже сколько-нибудь конкретное представление, что же это такое будет,—утрачено или вычитывается из плохих или устаревших по существу утопических романов. Нам нужны наши утопические романы. Наши беллетристы считают нужным возвращаться только в действительности. Чернышевский же как революционер не мог встать в рамки настоящего. Подлинный смысл его роман приобретает только в живой связи с будущим, отражающим настоящее, или, вернее, революционно из него вытекающим и освещающим своим блеском. Но к этим снам-

«утопиям» мы еще вернемся. Кроме того, сны играют в «Что делать?» роль свидетелей о том, что происходит в подсознательном. Возьмите третий сон, в котором рассказывается, как Вера догадывается, что она не любит больше Лопухова. Это почти фрейдовская тонкость работы, но без фрейдовских извращений. Это настоящий анализ того, как в человеке просыпается чувство, которое он не хочет осознать, которое он с ужасом в действительности отталкивает. Но там, где спит эта контролирующая воля, там, как сновидение, возникает то, что овладело чувством. Заниматься подробным анализом «снов» я сейчас, конечно, не могу. Я скажу только несколько слов о четвертом сне.

Но прежде позвольте вернуться несколько назад и охарактеризовать, хотя бы кратко, все эти категории людей.

Пошлые люди.

В своей последней записке (которая сейчас издана и которой ранее я не знал, где Чернышевский специально анализирует себя—беллетрист ли он) Чернышевский говорит, что художником нужно считать человека, который умеет быть объективным к создаваемым им образам. И он хвалит себя за то, что, создавая образы пошлых, ненавистных ему людей, он умеет понять, откуда они произошли, почему они даже не могут быть другими, и умеет брать их в настоящей жизненной среде, в их действительной округлости и емкости, а не односторонне.

Это—правда. Галлерея пошлых людей из «Что делать?» Чернышевского может занять по праву место рядом с лучшими объективно сатирическими образами в нашей литературе: мать и отец Веры Павловны, квартирная хозяйка, чванная барыня-дура, которая боится бунта своего остолопа-сына; остолоп-сын, который думает, что всякую женщину можно купить за деньги, чудесное описание его среды и кутежей офицеров, француженка-кокотка, которая советует сегодня: «Никогда не давай поцелуя, не любя», а на другой день дает мудрый совет, как можно выгодно продаться. Это все сухие очерки. Но посмотрите, как это сделано! Это не уступает мастерству ни одного из бытописателей нашего мещанства или же барской среды. Это только очерки, только маленькая часть романа, но она—трамплин, который позволяет сделать дальнейший прыжок.

Я приведу одну цитату, характерную для отношения Чернышевского к новым людям:

«Ну, что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их—черты не индивидуумов, а типа, типа, до того разнящегося от привычных тебе, проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные различия в нем. Эти люди среди других, будто среди китайцев несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайцы: во всех видят одно, что они «красноволосые варвары, не знающие церемоний». Каждый из них—человек отважный, неколеблющийся, неотступающий, умеющий взяться за дело и, если возьмется, то уже крепко хватящийся за него, так что оно не выскользнет из рук: это одна сторона их свойств; с другой стороны, каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в го-

лову вопрос: «можно ли положиться на этого человека во всем условно? Это ясно, как то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна,—смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть. Эти общие черты так резки, что за ними сглаживаются все личные особенности... Но как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер только по отношению к китайцам, а на самом деле между европейцами несравненно больше разнообразия, чем между китайцами, так и в этом, повидимому, одном типе разнообразие личностей развивается на разности более многочисленных и более отличающихся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разнятся между собой. Тут есть всякие люди: и сибариты, и аскеты, и суровые, и нежные, и всякие, всякие. Только самые аскетичные из них считают нужным для человека больше комфорта, чем восбражают люди не их типа; самые чувственные строже в нравственных правилах, чем морализаторы не их типа. Но все это они представляют себе как-то по-своему: и нравственность, и комфорт, и чувственность, и добро...

Недавно родился этот тип и быстро расплодится. Он рожден временем, он—знамение времени, и, сказать ли?—он исчезнет вместе с своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгой жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали; теперь... но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень много лет, к ним будут взывать: «спасите нас!» и что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканые, срамимые... И не останется их на сцене?—Нет. Как же будет без них?—Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: «После них стало лучше, но все-таки осталось плохо». И когда скажут это,—значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «Ну, теперь нам хорошо», тогда уже не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать: как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей?» («Что делать?», изд. 1909, с. 132—134.

Чернышевский описывает жизнь новых людей и то, как разрешают они разные жизненные проблемы. При этом он дает два основных урока—относительно новой морали и великого искусства любви, любви между мужчиной и женщиной, которую Чернышевский рассматривал не только как величайший показатель культуры, не только как источник наслаждения и жизненной бодрости, но, прежде всего, как ключ к раскрепощению женщины и как культурное равенство между всеми людьми.

Я не буду в сегодняшнем моем докладе касаться изумительных страниц, в которых Чернышевский раскрывает, что такое любовь

на начале равноправия. Тов. Рязанов недавно издал статью под названием «Маркс и Энгельс о браке», и эта статья заслуживает самого широкого распространения, ибо там сказано то, как великие учителя социализма относились к этому вопросу, и насколько их отношение выше того, что мы видим в нашей нынешней практике. Чернышевский очень близок к ним по взглядам на любовь и брак. Так как у нас дрогнуло представление о семье и половой вопрос часто чрезвычайно роковым образом портит жизнь людям, особенно молодым, я считаю, что читать Чернышевского в высокой степени полезно каждому, вступающему сейчас в жизнь. Остановлюсь на принципах морали Чернышевского.

Мне кажется, что эгоистическая мораль Чернышевского, которая так великолепно, так богато представлена в «Что делать?», не понята до сих пор.

Чернышевскому симпатичен и нужен такой тип, который ставит интересы общества и даже интересы другого человека выше своих собственных. Ему нужно как-раз обуздать мещанский эгоизм, который ищет непосредственно вульгарной пользы: у мещанина есть и заповеди господни, и разные выпренные слова, и благородство, но на практике он самый настоящий себялюб. А Чернышевскому нужны самоотверженные люди. Но во имя чего можно сделать людей самоотверженными? Во всех тех случаях, когда класс навязывает свою мораль другому классу или когда класс как целое навязывает отдельным адептам своим искусственно такие поступки, которые противны им,—во всех тех случаях надо установить гетерономию, какую-то высшую волю, которая к этому принудительно ведет. Это может быть государство с тюрьмой, палачами; это может быть господь-бог с бесконечным количеством всевидящих очей и оком внутри каждого человека, которое видит все его тайные помышления. Это все—реальная или ирреальная полиция. Кант пришел к категорическому императиву, к нормам автономной морали, и заявил, что автономная мораль есть нечто присущее каждому человеку. Известная формула Канта,—ты должен поступать в каждом случае так, как тебе велит долг. Но что это есть в сущности гетерономия, видно из дальнейших рассуждений Канта относительно того, что на живом, непосредственном чувстве нельзя строить настоящую мораль, над чем смеялся еще Шиллер, говоря, что по Канту выходит так, что нужно сначала возненавидеть своего друга, и тогда только услуга ему будет делом морального человека. Это вытекало из того недоверия, которое Кант питает к человеческой природе. Для Канта человек—это порочная обезьяна, и если можно что-нибудь с ней сделать, то только вложивши в нее эту идею долга. Он говорит, что два чуда есть в мире—это звездное небо над нами и совесть внутри человека—этой злой обезьяны. Совесть в нее вложил бог, ибо нельзя поверить, чтобы она сама собою возникла.

Чернышевский не хочет абсолютно автономной морали. Для него не может быть никакого государства и полиции, которая может принудить человека к тем или иным поступкам, для него нет и бога,

который может принудить к ним, и никакого метафизического долга. Для него мораль должна быть результатом веры в огромное человеческое счастье. Вчитайтесь в его произведения. Изображаемый им человек рассуждает так: для меня, как эгоиста, выгоднее в данном случае поступить альтруистически, так, как общественно выгоднее, потому что мое чувство человеческого достоинства меня за это вознаграждает. А что это за поступки, которых требует Чернышевский? Это есть поступки в духе общественности, понимаемой с точки зрения нового класса. Вот в чем ключ к пониманию этики Чернышевского...

Когда появляется новый класс и новые идеалы, новые цели, носителем которых он является, в каждом почти члене этого класса борются еще два существа. В каждом пролетарии, например, есть мещанин и шкурник—иногда в очень малой степени, иногда в большой, и в нем же есть классово-сознательный человек, и надо, чтобы этот классовый человек победил мещанина. И тут Чернышевский говорит: ты подлинный эгоист, если ты понимаешь, что настоящий «ты»—это тот человек в тебе, который стоит выше, который стоит на общественной точке зрения; а тот «ты», в котором сказывается мещанство, партикуляризм, должен быть обуздан; и если ты увлечешься низшим началом в тебе,—будешь несчастлив, переживешь разрушение в себе этого более высокого типа.

Каким же образом мы как марксисты подойдем именно к этому процессу при построении новой морали? Согласно принципу Ленина, морально все то, что ведет к победе пролетариата. Как же воспитать людей так, чтобы каждый готов был пожертвовать всем личным для борьбы и победы пролетариата? Какими путями? Приказами партии? Нет, конечно,—ведь это нужно выработать в самом себе. Что же, мы будем апеллировать к старым понятиям—совести, чести и долгу, как это делали метафизики? Нет, мы должны сказать: классовая мораль есть разумный эгоизм нового человека. До тех пор, пока этот человек борется со старыми понятиями, со старым Адамом, до тех пор будет действительна борьба между высшим и низшим началом. Подлинная линия каждого человека заключается в том, чтобы высшее начало победило, хотя бы даже ценою подлинных жертв, подлинного самоограничения, самопреодоления. В этом отношении мораль Чернышевского есть наша мораль. Волна крестьянской революции взметнула на большую высоту часть наиболее чуткой интеллигенции, и она ставила целый ряд проблем, которые остаются живыми для нас, и разрешала их путем, близким к тому, как и мы их разрешаем. Когда нам в порядке нашего рабочего плана не было времени подумать над этими вопросами, мы очень часто ограничивались обще-марксистским, в общих чертах правильным, но очень уж описательным подходом,—все делается закономерно, естественно, иначе это и не может быть, так надо понимать. Так еще позволительно было рассуждать, пока наша активность была только приглушенной борьбой снизу, когда мы были подпольной партией; но теперь, когда мы строим новый мир, когда нам надо перевоспитать старого человека в нового человека, тогда извольте заняться психологической дидактикой,—не

только методами, но и содержанием этого воспитания. И тут Чернышевский все еще является непревзойденным учителем.

К сожалению, опять-таки я вынужден пройти без особенного анализа мимо высших людей. Одного из них, Рахметова, называют ригористом. Рахметов отказывает себе во всем, кроме сигар. Рахметов говорит о себе: мы требуем таких условий комфорта для человека, о которых никаким барам и не снится, и мы хотим огромного счастья для человека, и только потому, что я сторонник человеческого счастья, я и пошел на эту борьбу. Если бы я хотел добиваться счастья и удобств для себя, это бы меня стеснило, это разбросало бы мои силы, расщепило бы меня. Мне нужно сжаться, чтобы целиком устремиться к цели. Я должен привести как можно ближе и скорее к тому времени, когда расцветет человеческое счастье. Если гедонистическое миро-созерцание утверждает, что великое счастье есть цветок человеческой истории, то Рахметов говорит, что он ствол, и ему как стволу нечего думать о собственном цветке,—это был бы маленький побочный бутон, который только, так сказать, взял бы часть энергии, которая должна быть отдана росту ствола, который должен расти вверх вопреки стихии тяготения. И Рахметов говорит в другом случае: «Но вы думаете, что действительно этого ничего не нужно—женской любви, комфорта, отдыха? Нет, я это говорю только потому, что если бы вы знали, что я этого хочу, но от всего этого отказываюсь, то это бы меня шокировало, а я хочу, чтобы все были веселы и радовались тому, что человек таким образом поступает в силу своих живых инстинктов,—потому что на самом деле этого ничего не нужно».

Какая духовная деликатность! С одной стороны, конечно, неправда, что я аскет, монах, что я особый человек, которому ничего не нужно,—нет, я—человек, но я человек, который участвует не в торжестве революции, а в подготовляемой, борющейся революции, и поэтому отдаю все силы и энергию на борьбу. А для того, чтобы никто не подумал, что я при этом несчастлив, я никому не скажу, что я от личного счастья сознательно отказываюсь.

Герцен возмущался, как это можно употреблять одно поколение в качестве навоза для другого. Но Рахметов не чувствует себя навозом; он знает, что будущие поколения не скажут о нем этого, а скажут, что он их старший брат и, может быть, более счастливый, чем они, потому что борьба—это громадное счастье.

Несколько слов о снах. Я скажу только о последнем сне, так как у нас нет возможности сегодня разобрать три предыдущих.

Четвертый сон рисует историю любви, историю отношений между мужчиной и женщиной от древнейших времен, от варварства до будущего человечества. Это серия совершенно блестящих по своей живописности и по верности изображения эпохи картин, которые показывают, как животная чувственность превращается в нечто благородное и более богатое, даже с точки зрения динамики счастья, просто в силу роста независимости женщины и в силу того, что это любовь двух равных существ.

О второй великой награде, которую история даст человеку, когда он победит в своем стремлении к социализму, говорит в этом сне старшая сестра:

«В моей сестре, царице, высшее счастье жизни, говорит старшая сестра: но ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому—полная воля, вольная воля».

«То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, немного поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, перенесите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, перенесите из него в настоящее все, что можете перенести».

Было бы ошибкой думать, что за это стремление приблизить будущее к настоящему мы считаем Чернышевского утопистом. Горячая любовь к будущему—это одна из тех черт, за которую Ленин так любил и ценил Чернышевского. Мы сегодня слышали об этом от Надежды Константиновны, мы слышали от нее об отношении Ленина к его любимому автору, которому он так многим обязан в молодые годы своей жизни. Владимир Ильич прекрасно знал «Что делать?», знал детально все это произведение. А мы не только деталей не знаем, но вовсе почти не знаем этой книги, редко, вероятно, кто ее сейчас читает. А между тем, это огромный грех. Нужно вернуться к этому роману. Он укажет многим из вас, что надо делать для того, чтобы построить ваше сознание, вашу внутреннюю жизнь.

Чернышевский написал, кроме того, изумительный роман—«Пролог». Я человек немолодой, читал на своем веку немало и должен прямо покаяться, что вторую часть «Пролога» я прочел только недавно—я эту книгу читал с неподдельным восхищением, я не мог от нее оторваться. Хотя я и обладаю известным опытом, должен сказать, что почерпнул из этой книги много поучительного не только в смысле знания эпохи, но и в смысле новых горизонтов,—по крайней мере, укрепления старых горизонтов. Будет преступлением с нашей стороны, если мы не ознакомим сейчас с Чернышевским нашу молодежь, я глубоко убежден в том, что молодежь проходит мимо него потому, что просто не знает его. Я уверен, что когда наша нынешняя комсомольская молодежь возьмет в руки «Пролог», она будет зачитывать его до дыр.

Первая часть этого романа замечательна тем, что Чернышевский в ней дает самохарактеристику. Писал он эту книгу в ссылке, влюбленный в свою жену, которая находилась далеко от него. В этой книге он поет ей настоящие панегирики, ей посвящена эта книга,

он всюду ставит ее на первый план, изображает, как умна, находчива, красива, и какой он сам грубоватый, придурковатый, этаким чудачком. Но, несмотря на это, вы прекрасно чувствуете, что все-таки мадам Волгина (его жена—Ольга Сократовна) довольно пустая женщина, сильно занятая нарядами, легко забывающая всякие жизненные потрясения, совершенно не интересующаяся общественностью, а этот рыжий Волгин, с его нелепым, грохочущим хохотом, с его неудержимым восхищением собственным остроумием, человек без единой героической черточки, постепенно рисуется перед вами настоящим титаном. В разговоре с Соколовским, в котором Чернышевский изобразил известного революционера—польского офицера Сероковского, вы чувствуете, что Волгин (Чернышевский) замечательный конспиратор, что он действительно связан с революцией, что он, презирая буржуазный либерализм всеми радужными цветами презрения, вместе с тем с величайшей осторожностью ведет свое революционное дело, с высоты необычайно мудрого анализа и огромного мужества смотрит на совершающееся, предвидит, что, может быть, его гибель будет, вульгарно говоря, бесплодной и что надо быть осторожным, он знает также, что несомненно идет к гибели, даже при всей своей осторожности.

Во второй части «Пролога» есть изумительный разговор Левицкого-Добролюбова с Чернышевским-Волгиным, который заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Очень интересна также заключительная сцена первой части романа, где Чернышевский, т. е. Волгин, приглашается на либеральный обед, причем радикалы рассчитывают, что он выступит там как радикал-революционер, защищая свою точку зрения перед всеми собравшимися на этом обеде с тем расчетом, как думали эти половинчатые радикалы, что его крайняя точка зрения выведет некоторую, так сказать, центральную. И вот Чернышевский присутствует на этом обеде. При этом описывается великолепно разговор его с зубрами-помещиками. Но вдруг он собирается уходить. Радикал Соколовский гонится за ним и кричит ему: «Вы изменяете нам?»—«Да,—говорит он,—я изменяю. Я не хочу заниматься всей этой бесплодной болтовней, в которой лучший чуть ли не хуже худших. Мне нет здесь места, а грозить революцией, когда сам не веришь, что это реальная угроза, это те же пустые слова». Это последний аккорд в этой в своем роде трагической части романа.

Белинский говорил, что он, увидев в каком ужасе живет все общество, почувствовал трагическое одиночество. Нужно сказать, что положение не так уж сильно изменилось ко времени Чернышевского. Правда, волновалось огромное взбудораженное крестьянское море, и во главе его движения становился вышедший из низов новый слой интеллигенции. Чернышевский понимал, что крестьянство разрыхлено, что крестьянские бунты могут быть подавлены поркой и всякого рода насилем. Чернышевский не думал, что вообще победы не будет. Но он чувствовал, что дело еще не созрело. И вот это понимание революционной ситуации, необходимости революции, страстная тоска по этой революции, готовность отдать по каплям всю кровь

своих жил для этой революции, и вместе с тем критический нюх, еще предмарксистский, но огромный по своей социологической силе, который подсказывает: еще не будет революции, еще нужны многие годы, пока она придет. Все это рисует в особенно трагическом виде тогдашнюю фигуру Чернышевского.

Вторая часть романа тоже весьма замечательна. Она является как бы дневником Добролюбова. Может быть, некоторые страницы ее писаны самим Добролюбовым или взяты из его признаний или писем. Здесь перед нами рисуется замечательный тип тогдашнего нигилиста, с совсем новой точки зрения, неизмеримо возвышающейся над беззубой насмешкой, которую Лев Толстой (как это мы недавно, к большому умалению нашего отношения к Толстому, читали в его наследии—в пьесе «Нигилист») бросил нигилистам. Во второй части «Пролога» во весь рост характеризуется прекрасная, чрезвычайно чуткая и необычайно мужественная фигура Левицкого.

Но не менее замечательна основная героиня второй части романа—Мери, крепостная горничная Маша, которая, с необыкновенной грацией и необыкновенным искусством, незаметно для всех прокладывает себе путь к барству и завладевает очень крупным либеральным помещиком. Эта фигура—единственная в своем роде, это наш русский Фигаро в юбке,—только гораздо более грациозный. Чернышевский любит эту мужичку, которая становится барыней, самой тонкой, самой умной, самой развитой из всех. В ней есть настоящая сила. Но тем не менее Левицкий оплакивает ее, Левицкий считает себя свидетелем ее огромного падения. Дело в том, что разошлись их пути: Левицкий пойдет развивать революцию в деревне, а эта героиня, из народа вышедшая, вместе со всякими Деруновыми пойдет по линии создания новой и сильной буржуазии. Пути расходятся. Но с какой осторожностью, с какой почти симпатией, при всем осуждении, Чернышевский описывает человека, который путем громадного ума и такта из последних низов пробивается на вершины общества.

Я думаю, многие и не подозревают, что существует такой роман, что рядом с дворянскими героинями Тургенева есть такая крепостная героиня. А между тем, «Пролог» в целом—литературный шедевр, к сожалению, незаконченный (правда, он прерывается, когда все основные линии и основные фигуры уже ясны).

Товарищи, я позволю себе в заключение немного вторгнуться в область, о которой здесь уже говорили другие ораторы,—в область политического значения Чернышевского,—для того, чтобы еще раз напомнить высоту позиции, которую он занимал, и сделать последние конкретные выводы о ценности Чернышевского как писателя.

Вы помните, Ленин, саркастически описывая позицию наших либералов, противопоставляет им Чернышевского:

«19 февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуазной России, выраставшей из крепостнической эпохи. Либералы 1860-х годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию.

Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков. Либералы ограничиваются поэтому «борьбой за реформы», «борьбой за права», т. е. дележом власти между крепостниками и буржуазией.

Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей: «Крестьянскую реформу» 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно видел ее крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал болтунами, хвастунами и дурачьем, ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холоство перед властью имущими.

Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, прошедшего после 19 февраля, и расходились все яснее, определеннее и решительнее.

К одной тенденции приходится отнести не только весь либерализм, но и меньшевизм и эсерство; а другая тенденция, которая для того времени, во всей возможной для той эпохи полноте была представлена Чернышевским, ведет к Ленину, ведет к Октябрю, ведет к построению социализма в нашей стране и во всем мире.

Мне хочется еще проиллюстрировать эту огромную высоту политической позиции Николая Гавриловича цитатой из его знаменитого письма к Герцену:

«Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии. Как ни чисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время, — вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите — Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания, безыменную гласность, но чуть дело коснется дела, — тут и прихлопнут... Надежда в деле политики — золотая цепь, которую легко обратит в кандалы подающий ее... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль

уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, — другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением

Русский человек».

Вот тон подлинного Чернышевского, когда он перестает посмеиваться, говорить эзоповским языком, когда он своему брату, заблуждающемуся, поскользнувшемуся, свернувшему с правильной дороги, говорит настоящую истину: кроме революционного, вооруженного восстания, искоренения самодержавия, никакого пути для нашего народа нет.

Чернышевский не был человеком, у которого мог быть разрыв между отдельными областями его творческой работы. Занимая такую необычайно высокую позицию в отношении революционной сознательности и революционной готовности, Чернышевский был таким же сильным и смелым мыслителем и в остальных областях. Мы должны относиться и к его литературно-критическому и беллетристическому наследию, как к живой силе, к которой нам нужно опять прибегнуть. Нельзя думать так, что Чернышевский воспитал Ленина в молодости, Ленин все, что нужно было, воспринял, перечеканил все это в свои более высокие истины, и нам уже после Ленина Чернышевский не нужен. Не так обстоит дело. Остались для нас чрезвычайно важными основные воззрения Чернышевского на литературу, основные воззрения его на мораль. Делаются поправки, которые естественны, поскольку изменилась общественная жизнь. Но основной, общий тон материализма Чернышевского, его житейская проповедь остается и сейчас для нас чрезвычайно важной. Я не хочу этим сказать, что мы можем некритически принимать Чернышевского. Но я утверждаю, что Чернышевский может нашему молодому поколению принести огромную пользу, дать толчок к правильному разрешению целого ряда моральных и бытовых проблем и вопросов, которые мы наметили, но не имели еще времени пока пристально заняться ими. И самому подходу к беллетристическому произведению, самому типу того романа, который нам нужен, мы можем у него учиться. Неправда, будто Чернышевский не воспитывает, будто у него все вытесняет. Чернышевский, конечно, рационалист, конечно, интеллектуальный писатель, конечно, умственные сокровища, которые лежат в его романах, имеют самое большое значение; но он имеет силу остановиться на такой границе, когда эти умственные сокровища одеваются плотью высокохудожественных образов. И такого рода интеллектуальный роман, может быть, для нас важнее всякого другого.

Читая о судьбе Чернышевского, всегда испытываешь глубочайшее потрясение. Ведь Чернышевский прервал свою деятельность молодым. Он дожил до старости, но весь период от времени его за-

ключения или, вернее, ссылки до конца его жизни был, в сущности говоря, периодом умирания. Выпустило его самодержавие только тогда, когда жандармы донесли, что умственные силы Чернышевского потрясены и он является инвалидом.

Конечно, одним из кульминационных пунктов мартиролога Чернышевского был момент гражданской казни, который нам теперь известен во всех подробностях. Герцен, который не любил Чернышевского и расходился с ним во многом, разразился гневной, огненной статьей против самодержавия за это издевательство над Чернышевским и закончил эту статью призывом к мести. И когда знакомишься с судьбой Чернышевского, в тебе действительно закипает такое чувство мести. Но оно сейчас же успокаивается, потому что мы уже отомстили.

Да, дорогой учитель, мы за тебя отомстили, отомстили достаточно сурово, а вместе с тобою и за десятки и сотни талантливейших людей и за тысячи людей, о талантливости которых мы не знаем, жизнь которых была сгублена так же, как сгублена была твоя жизнь. Но этого мало. Мы не мстители только,—мы творцы, лицо наше обращено не назад, а вперед. И для нашего будущего, для воспитания наших молодых поколений мы должны прервать то молчание, в которое был погружен Чернышевский в те десятилетия, когда нельзя было назвать его имени. Чернышевского мы должны воскресить, мы должны его поставить в наши ряды,—пусть с некоторыми необходимыми оговорками. И этот живой товарищ, наш товарищ, Николай Чернышевский будет еще долго маршировать в наших рядах как в высшей степени могучий, преданный нашему делу передовой боец за социалистические идеалы.

А. Луначарский.

МАТЕРИАЛИЗМ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Чернышевский был по своим философским воззрениям фейербахианцем. Конечно, он изучал и других корифеев философской мысли. Он хорошо знал Аристотеля, Спинозу, Гольбаха, Гегеля и т. д. Но влияние Фейербаха в умственной биографии Чернышевского было решающим. Оно определило теоретический уровень его мышления со всеми его достоинствами и недостатками, оно дало ему точку зрения для оценки других мыслителей.

Чернышевский полностью пережил то освободительное действие «Сущности христианства», о котором писал Энгельс. Или, вернее было бы сказать, на Чернышевского Фейербах оказал еще более сильное влияние, чем на его западных, несколько более старших, чем он, современников. Власть религии над умом Чернышевского была органичнее, крепче,—а потому и разрыв с ней был резче. Чтобы представить себе относительный размер поворота от предшествовавшего уровня умственного развития к Фейербаху у Энгельса и у Чернышевского, достаточно указать на различие передового европейского и русского общества на исходе первой половины XIX века. Не даром Чернышевский обрисовал первое знакомление Рахметова (из «Что делать») с новым мировоззрением, с Фейербахом, следующими высоко драматическими чертами: «Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить».—«С каких же книг мне начать читать?»—Кирсанов указал. Он на другой день уж с 8 часов утра ходил по Невскому, от Адмиралтейской до Полицейского моста, выжидая, какой—немецкий или французский книжный магазин первый откроется, взял, что нужно, и читал больше трех суток сряду,—с 11 часов утра четверга до 9 часов вечера воскресенья, 82 часа; первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи не хватало сил ни с каким кофе, он повалился и проспал на полу часов 15».

Надо было самому уж очень сильный толчок получить от чтения Фейербаха, чтобы так обрисовать впечатление от него.

Переворот в воззрениях Рахметова Чернышевский называет «перерождением». В картине перерождения Рахметова Чернышевский уловил, между прочим, любопытную черту, весьма характерную для передовых русских людей вплоть до начала шестидесятых годов.

Идейная спячка Руси под гнетом николаевской реакции была так глубока, ее изоляция от умственной жизни Запада так основательна, что соприкосновение передового русского ума с новой и вольной мыслью было в теоретическом отношении мало чем подготовлено. Поэтому переход многих русских людей того времени от полной почти индифферентности к теоретическому и политическому вольномыслию совершался как бы прыжком, в короткий срок, иногда на протяжении всего лишь нескольких месяцев. Такова умственная биография Добролюбова и Писарева, как и многих других шестидесятников.

Вслед за Фейербахом Чернышевский называет свой материализм антропологическим. В антропологии, в учении о человеке, Чернышевский видел ключ к материалистическому объяснению всего сущего.

Чернышевский устанавливает разницу, существующую по качеству, достоверности и точности сведений между науками естественными и науками о человеке, науками «нравственными». Из первых уже, в общем и целом, устранены неосновательные предубеждения, ссылки на вмешательство сверхъестественных сил и т. д. При всех пробелах, существующих в естествознании, оно уже приобрело характер науки, верной и основательной. Между тем в науках «нравственных» — указывает Чернышевский — до сих пор господствуют разноголосица убеждений, несогласуемых выводов, применение приемов вовсе ненаучных, ссылки на причины вовсе неестественные и т. д. Из этого жалкого состояния общественные науки могут выйти, лишь опираясь на достижения новейшего естествознания. «Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных вопросов» (Чернышевский, т. VI, стр. 209). Замечаемые нами в человеке два ряда явлений — материального и нравственного порядка не дают никакого повода для фантастических трансцендентных выводов. Естественные науки показывают, что нет предмета, который бы не имел различных качеств; дерево растет и горит; лед тверд и блестящ; логическое расстояние между ростом и горением, твердостью и блеском чрезвычайно велико, но из этого следует только, что «соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей» (там же, стр. 195). Естественные науки видят в существовании органических тел химический процесс, а «во время химического процесса тела обнаруживают такие качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного соединения» (там же, стр. 198). Мало того, «находясь... в быстром и многосложном химическом процессе, тела обнаруживают такие качества, которых не проявляют при процессах менее быстрых и сложных» (там же, стр. 200). Следовательно, ничего сверхъестественного нет и в том, что некоторые органические существа обнаруживают, сверх прочих качеств, еще и качество сознания. То обстоятельство, что наука еще не может объяснить всех явлений сознания, совершенно не отражается на только что сделанном выводе. В любой естественной науке имеются пробелы такого порядка. Но по характеру известного мы можем судить, какой характер может иметь и какого характера не может иметь

неизвестное. «Эти отрицательные выводы имеют совершенно научную достоверность» (стр. 203). «Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами в химии, в географии, в геологии, уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми и каждым сколько-нибудь образованным человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать, что под полюсами не найдется обезьян, в центральной Африке не найдется безголовых людей, в центральной Австралии — рек, текущих снизу вверх, в недрах земли — сказочных садов и циклопов, кующих оружие Ахиллосу под надзором Вулкана. Но человек с логическим умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других науках: он также видит, что все это бредни, несовместимые с нынешним состоянием знаний» (стр. 204), т. е., что супранатуралистическое решение проблемы сознания есть такая же дребедень, как и африканские люди без головы.

Свое положение о значении отрицательных выводов Чернышевский выразил в следующей логической формуле: «А тесно связано с X; А есть В; из этого же следует, что X не может быть ни С, ни D, ни E» (стр. 219).

Юркевич, а в след за ним и недавно умерший критик Волынский, оспаривали правомочность этой формулы, даже посмеивались над ней, указывая, что ни у Аристотеля, ни у Канта, ни у Гегеля, ни у какого-бы то ни было другого философа или логика нет этой формулы. По их мнению, из того, что X связано с А, которое есть В, вовсе не следует, что X не может быть С, D, E и т. д. Наоборот, значение X может варьироваться до бесконечности. Юркевич и Волынский не вдумались или не хотели вдуматься в аргументацию Чернышевского. Он поясняет свою формулу следующим примером: «Например, найдена лопатка какого-то допотопного животного; к какому именно разряду млекопитающих оно принадлежало, этого, может быть, мы не сумеем определить безошибочно, быть может, ошибемся, если причислим его к породе кошек или лошадей; но уже по одной найденной лопатке мы безошибочно знаем, что оно не было ни птицею, ни рыбою, ни чернокожим» (там же, стр. 219). Если конкретное явление А относится к принципиально особому разряду В, то и связанное с ним X должно тоже относиться к разряду В, а не к совершенно в иной плоскости протекающим явлениям разряда С, D, E. В контексте статьи Чернышевского эта формула выражала, что явление сознания X, тесно связанное с явлением А, принадлежащим к естественно-объяснимому разряду явлений В, не может принадлежать к супранатуральным, к трансцендентным разрядам явлений С, D, и т. д.

При этом самый факт сознания, указывает Чернышевский, отнюдь не является исключительной принадлежностью человеческого организма. Он существует всюду, где есть соответственно организованная нервная система. По природе своей психической жизни человек не отличается от животных, разница между ними состоит лишь в размерах и интенсивности психических процессов. Природа человека едина, она не заключает в себе ничего сверхъестественного, ничего

выходящего за пределы действия законов природы. В то время как кантиански истолкованный антропологический принцип у Лаврова приводил его к идеализму, антропологический принцип Чернышевского, заимствованный им у Фейербаха, был для него ключом к материалистическому истолкованию всего сущего: «принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека, как деятельность или всего его организма от головы до ног включительно, или, если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом».

Для Чернышевского, как и для Фейербаха, материализм и атеизм были теснейшим образом связаны с политикой. Идейная революция была для него преддверием революции политической. Критика божества и критика идеализма были лишь одной из форм критики самодержавия и реакции. Как и для Фейербаха, для Чернышевского раскрепощение человека и человечества возможно было лишь на основе материализма, который был для него синонимом прогресса, науки, технического совершенствования в промышленности и в земледелии, равноправия и самоутверждения личности, попираемой крепостническими порядками. Теоретическая неправда была равносильна для Чернышевского практической, политической неправде, как, наоборот, теоретическая истина рассматривалась им как орудие осуществления политической и экономической правды.

Поэтому материализм Чернышевского был материализмом воинствующим. Чернышевский в своих философских статьях всегда наступал и никогда не защищался. Он относился с жестокой враждой не только к откровенному идеализму, но и к стыдливой его форме — к агностицизму, к позитивизму, к эклектизму. Чернышевский доказывал, что идеализм по самой природе своей связан с реакцией. Не потому, что тот или иной философ-идеалист, как частный человек, придерживается реакционных политических убеждений. Это было бы с полбеды. А потому, что философия партийная, что строй философских идей вытекает из определенных социальных условий и служит обоснованием определенному кругу политических убеждений.

Чернышевский вел войну не только с идеализмом, но и с агностицизмом. Агностицизм, справедливо полагал Чернышевский, является лазейкой для откровенного идеализма, ибо он приводит к величайшей нелепости — к отрицанию существования собственного тела агностика. Чернышевский был материалистом последовательным, он относился недружелюбно к компромиссам в области теории. В «Антропологическом принципе в философии» Чернышевский вскрыл зависимость между нерешительностью и непоследовательностью социально-политических взглядов Лаврова и его эклектизмом в области философии.

В последовательности материализма Чернышевского заключается сильнейшая сторона его как мыслителя. «Чернышевский,—писал Ле-

нин,—единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников». Ленин считал, что Чернышевский в критике Канта приближается к Энгельсу, «поскольку он упрекает Канта не за реализм, а за агностицизм и субъективизм, не за допущение «вещи в себе», а за неумение вывести наше знание из этого объективного источника».

Последовательность философских воззрений Чернышевского вовсе не сводилась к тому, что он слепо следовал за Фейербахом. Чернышевский обладал умом самостоятельным, он умел пролагать и новые пути, на которых он не имел предшественников. Фейербах дал Чернышевскому лишь основы его мировоззрения. «Специальным образом,—писал Чернышевский о Фейербахе,—он успел разработать лишь одну часть своего мирозерцания, ту часть философии, которая относится к религии. Обо всем остальном у него попадаются лишь сделанные мимоходом краткие заметки» (Чернышевский в Сибири, вып. II, стр. 126). Чернышевский же был энциклопедистом. Нет такой области общественных наук, которой бы он так или иначе не коснулся в своей публицистической деятельности. При нужде Чернышевский писал и по вопросам военно-стратегическим. И писал очень недурно. По крайней мере, целый ряд его прогнозов, относящихся, например, к кампании 1859 года в Италии, блестяще подтвердился последующим ходом событий. Философская последовательность Чернышевского выражалась блестящим образом в том, что все отрасли человеческого знания, какими бы он ни занимался, он подвергал переработке с точки зрения феербахианского материализма.

Всем известно, что Чернышевский построил феербахианскую антропологическую эстетику. Но и в своих политико-экономических изысканиях Чернышевский прибегал к антропологическому принципу, как к верховному критерию истины. О справедливости или ложности тех или иных политико-экономических суждений Чернышевский заключал на основе того, соответствуют ли они природе человека, как материальной физико-физиологической особи. Классическая политическая экономия неправильно оперирует термином «богатство». Она употребляет его в относительном смысле, внешним образом, судя о нем на основании сравнения больших богатств одних с меньшими богатствами других. Между тем существует, по мнению Чернышевского, безотносительный естественно-научный критерий богатства. Критерий этот — антропология, натура, природа человека. «Человек терпит или не терпит нужду, благосостоятелен или не благосостоятелен не по сравнению с другими, а сам по себе. Масштаб тут дается природою человека, как дается он для понятий здоровья, правды, ума и других положительных качеств и положений» (Чернышевский, т. VII, стр. 124). Богатство есть совокупность вещей, измеряемых не по какому-либо количественному признаку, а по способности их удовлетворять той или иной потребности человеческой природы.

Богатство—понятие качественное, оно состоит из потребительских стоимостей. «Наука понимает под богатством,—продолжает Чернышевский,—сумму вещей, полезных или приятных, имеющих меновую ценность. Тут, как мы видим, дело состоит в качествах вещей, а не в их количестве: когда их много, богатство велико; когда их очень мало, богатство очень мало, но все-таки богатство, как золото все-таки золото, хотя бы его была одна блеска, не стоящая гроша» (там же). Качественное представление о богатстве как о способах удовлетворения потребностей человека, правильное представление о природе человека и ее потребностях и являются, по мнению Чернышевского, тем камнем, на котором только и может быть построено здание действительно научной политической экономии. Только при антропологической точке зрения на труд и на продукты труда «наука сохраняет свою зависимость только от истины, не подчиняется каким-нибудь наперед составленным гипотезам». И, наоборот, относительное, количественное представление о богатстве приводит политическую экономию к столкновению с истиной—с человеческими потребностями большинства. «Формы распределения, требуемые понятием о богатстве, как о превосходстве одних над другими, несовместны с формами производства, проистекающими из понятия о богатстве, как о состоянии положительном, измеряемом потребностями человека, а не превосходством его по имуществу над другими» (там же, стр. 26).

Распределительский, потребительский, антропологический характер политико-экономических воззрений Чернышевского составляет их слабость по сравнению с марксистской политической экономией. Но в то же время характер политико-экономического учения Чернышевского свидетельствует о его философской последовательности. Точка зрения потребностей есть точка зрения природы человека. Точка зрения удовлетворения потребностей человеческой природы соответствующими качествами материальных благ свидетельствует о подходе к человеку как к физико-физиологической особи. Чернышевский не принадлежал к числу тех людей, у которых знания о разных областях мира и жизни являлись разрозненными, различными, ничем не связанными друг с другом знаниями. Все его познания складывались в монистическую и достаточно совершенную по тогдашним русским условиям систему. Единство этой системы достигалось единством метода, единством философской точки зрения. Переноса центр внимания своей работы на новую отрасль познания, в которой его учителем Фейербахом не было оставлено никаких следов, Чернышевский самостоятельно реформировал ее совершенно в духе Фейербаха. Он настолько усвоил смысл системы последнего, что умел совершенно адекватным образом мыслить в духе феербахианского материализма в очень трудных сферах науки, очень туго поддающихся обработке с антропологической точки зрения, на которые сам Фейербах не смог распространенным образом перенести свою точку зрения.

По своим философским воззрениям Чернышевский был последовательным материалистом-фейербахианцем, самостоятельно мыслящим в духе своего учителя. Это обстоятельство определяло сильные

стороны его воззрений, но оно же определяло и слабые стороны его материализма.

Чернышевский не был последовательным диалектиком. Он применял иногда с большим успехом отдельные элементы диалектики в своих исследованиях, но диалектики как цельного метода для него не существовало. Развитие он представлял себе лишь в самых общих чертах, он не понимал ведущего значения противоречия в развитии—как в природе, так и в обществе. Поэтому-то Чернышевский был только *предшественником* научного социализма в России, а не его основоположником. Давая свою высокую оценку Чернышевскому, Ленин не забывал добавлять, что «Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

Однако, несмотря на свой метафизический характер, материализм Чернышевского чрезвычайно любопытен, как попытка обоснования социализма научным объективным методом. Чернышевский уделял столько внимания обоснованию последовательного всеохватывающего материалистического миросозерцания потому, что только в материализме он видел гарантию объективной значимости и объективной неизбежности осуществления социально-политических идеалов. Он хотел сделать политику и социализм наукой. Для этого ему нужно было доказать, что наука о человеке и человеческой общественной жизни (нравственные науки, как он выражался) строятся на тех же основаниях, что и науки естественные. Шестидесятие годы были годами первого расцвета естественных наук в России, опирающегося на успехи наук о природе в Европе. Господство причинности и естественной закономерности в явлениях неорганической и органической жизни добилось всеобщего почти признания в кругах образованного общества. Превращение «нравственных наук» в точное и обязательное для всех знание, не позволяющее произвольных толкований, могло совершиться, по мнению Чернышевского, только посредством распространения на них методов математики и естествознания. Математика и естествознание—науки-богачки, которые должны помочь подняться своим бедным родственникам—наукам о человеке, находящимся в самом жалком состоянии. Преобразование «нравственных» наук под воздействием естествознания уже началось. «Союз точных наук под управлением математики, т. е. счета, меры и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми приращениями. После химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии, *теперь входят в него нравственные науки*. С ними делается ныне то самое, что мы видим над людьми тщеславными, но погрязшими в нищете и невежестве, когда какой-нибудь дальний родственник, не гордящийся, как они, высоким происхождением и неслыханными добродетелями, а просто человек простой и честный, приобретает богатство: кичливые гидальго долго усиливаются смотреть на него свысока, но бедность заставляет их пользоваться его подачками; долго они живут этой милостыней,

считая низким для себя обратиться при его помощи к честному труду, которым он вышел в люди; но с улучшением их пищи и одежды пробуждаются в них мало-по-малу рассудительные мысли, слабеет прежнее пустое хвастовство, они понемногу становятся людьми порядочными, понимают, наконец, что стыд не в труде, а в хвастовстве и напоследок принимают нравы, которыми вышел в люди их родственник; тогда, опираясь на его помощь, они быстро приобретают хорошее положение и начинают пользоваться уважением рассудительных людей не за фантастические достоинства, которыми прежде хвастались, не имея их, а за свои новые действительные качества, полезные для общества—за свою трудовую деятельность» (Чернышевский, т. VI, стр. 209).

Для того, чтобы избавить общественные науки от фантастики, от телеологии, от вмешательства божества—для этого нужно распространить и на человека закон причинности, царствующий в области явлений природы и безоговорочно признаваемый научным естествознанием. Воля человека детерминирована. «То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью» (там же, стр. 211). Устранение провиденциальных целей, материалистическое объяснение психики и критика свободы воли превращают человека в естественно-научную особь, поступки которой можно предвидеть, характер влияния среды на которую можно рассчитать. Для Чернышевского центр тяжести в обосновании об'ективного характера «нравственных» наук лежит в подведении человека под действие законов природы, поэтому и ключ для об'ективно-научного построения общественного идеала он находит в изучении человека как биологической единицы. «Ближайшим предметом наших статей служит теперь человек как *отдельная личность*»—пишет Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии», материалистически обосновывая свою общественно-политическую программу. Но человека он рассматривает не как существо общественное, а как существо, имеющее *желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы*, так, как человек рассматривается и изучается *«физиологией и медициной»*.

Из изучения физиологической природы человека, думает Чернышевский, можно вывести об'ективное, обладающее естественно-научной необходимостью представление о характере общественного идеала. Осуществление идеала, вырастающего из реальной действительности, понимаемой, как неистребимые физиологические качества человека, и опирающегося на законы этой действительности, должно наступить с такою же неизбежностью, как времена года следуют друг за другом.

Собственно говоря, Чернышевский считал, что нужно еще одно условие для об'ективной возможности преобразования общественного строя. Это условие заключалось в объеме власти человека над природой, в возможности производить материальные блага в таком количестве, которое позволило бы удовлетворить в достаточной мере потребности всего человечества. Об'ективно-значимый идеал должен

иметь опору не только в материальной природе человека, но и в материальных средствах для его осуществления. Но с этой стороны дела Чернышевский не видел затруднений. Прежде, при неразвитости естественных наук, могли в самом деле встретиться затруднения при попытке осуществления целей, диктуемых природой человека. Теперь же, при современном ему состоянии естествознания, при современном ему уровне развития механики, химии и агрономии, Чернышевский полагал, что производство жизненных благ может быть доведено до уровня, превышающего в 10—20 раз, потребности населения земного шара.

Затруднения при осуществлении социализма идут не по этой линии, не по линии взаимоотношений человека с внешней природой, настоящие затруднения при осуществлении нового общественного строя—полагает Чернышевский—кроются в собственной природе человека, в его *неумении* опереться в своей деятельности на законы своей собственной природы.

Природа человека материальна и едина. Следовательно, и все мотивы к деятельности человека можно свести к одному материальному источнику. «В побуждениях человека, как и во всех сторонах его жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, а все разнообразие явлений в сфере человеческих побуждений к действию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же природы, по одному и тому же закону» (Чернышевский, т. VI, стр. 229). Во всех своих действиях человек стремится к приятному и избегает неприятного, причиняющего страдание. Человек считает добром то, что приносит ему пользу. Добро—это польза. Стремления к улучшению общественного быта, опирающиеся не на предписания религии или долга, а на неискоренимое стремление человека к пользе, обоснованы реально, имеют всеобщее значение и рано или поздно должны осуществиться с неизбежностью законов природы, ибо они и есть проявления законов природы в натуре человека.

В стремлении человеческой личности к самосохранению, к пользе, в эгоизме личности, казалось Чернышевскому, и кроются об'ективные основы осуществимости социализма. Социализм полезен *всем*, он опирается на стремление к удовлетворению самых основных, самых неистребимых потребностей человека—потребностей в пище, в одежде, в жилище, в мире, в потребности к постоянному, но неизнуряющему труду. Рано или поздно, но он должен наступить, ибо он не зависит ни от филантропии, ни от чьей-нибудь произвольной единичной воли. Суб'ективная уверенность в об'ективной обоснованности его социалистической (и политической) программы придавала убеждениям Чернышевского чрезвычайную силу и прочность. Он чувствовал, что история работает на него; он думал, что он и доказал это. Отсюда оптимизм Чернышевского, твердая вера в свое дело, в его успех, в лучшее будущее. Чернышевскому не раз становилось горько от того, что история работает слишком медленно, что так робки, так несоизмерны с его желаниями продвижения вперед, что реакция

постоянно грозит уничтожить не только новые приобретения, но и старые, давнишние завоевания. Не раз разочаровывался Чернышевский в людях, в их способности понимать исторические события, в их способности действовать твердо и успешно. Но все же вся его деятельность была окрашена в бодрые оптимистические тона, ибо желаемое будущее определялось самой природой человеческой. Пусть будет, что будет,—писал он,—а будет и на нашей улице праздник. Сопротивление и неразумие могут лишь отодвинуть *срок* осуществления идеала, но никак не могут отразиться на его конечном торжестве. Мало того, наука может преодолеть действие предрассудков и невежества и, опираясь на знание законов природы человека, ускорить установление лучших политических и социальных порядков. Истина, имеющая своим объектом потребности всеобщей человеческой природы, оказывается так проста, она так соответствует потребностям массы, что легко становится всеобщим достоянием. Результаты умственной деятельности передовых людей легко усваиваются простолюдными. Но когда действие коренных законов человеческой природы осмысливается наукой, становящейся достоянием того самого большинства, которое заинтересовано в скорейшем получении результатов этого действия—тогда победа истины, притом не в слишком отдаленном будущем, становится уже совершенно очевидной.

Той же бодростью и жизнерадостностью, как и вся деятельность Чернышевского, были окрашены и его моральные воззрения. Он был суров и ригористичен в осуждении тунеядства, излишества и неравенства. Но он трудился и боролся в первых рядах русского народа не под гнетом извне возложенного на себя морального долга, а в силу своего положения, стремясь к счастью и благоденствию и для своего народа, и для человечества—и для себя, в том числе. В силу своего социального положения,—в силу свойств своих как человека вообще, как он думал,—он не мог не чувствовать остро социального зла, не мог не стремиться к его устранению.

Ему казалось, что в принципе материальности человеческой природы и в материалистически обоснованной утилитарной морали он нашел ключ к объективному обоснованию своей социально-политической программы—на основе действия от человеческой воли независящих законов природы.

Чернышевский заблуждался. Он не смог обосновать объективно своего социализма. Ссылка на человеческую природу сама по себе еще ничего не решала. Она ставила мыслителя лишь перед новыми вопросами: что же представляет собой эта человеческая природа? каковы те законы, на основании которых она действует в сфере социальной жизни?

Чернышевский же эти вопросы обошел. Он удовлетворился решением вопросов о природе духа, о свободе воли и об эгоизме, как коренной причине человеческих действий. Ответы Чернышевского, устанавливая материальный характер человеческой природы, были все же слишком общи. Они давали не конкретно-исторический ответ о сущности человеческой природы, а абстрактно физиологический.

Природа человека, определяя характер исторического развития, сама была, по воззрениям Чернышевского, категорией вечной, неизменной. Тем самым развитие исторической жизни превращалось в приспособление исторических общественных форм к природе человека, как к своему абсолютному мерилу. Исследование исторической жизни народов шло у Чернышевского не по линии разыскания ее внутренних движущих сил, а по линии *расчетов*, насколько тот или иной общественный порядок, то или иное мероприятие соответствует абстрактной человеческой природе. Отсюда и любовь Чернышевского к гипотетическому методу в политической экономии, всегда сводящемуся к арифметическим выкладкам, доказывающим, что такой порядок приносит человечеству *больше* вреда, чем пользы, и что, наоборот, другой порядок несет, с собой вреда *меньше*, а пользы несравненно *больше*. Чернышевский пользовался гипотетическим методом в политической экономии для того, чтобы *оценивать* экономические явления с точки зрения пользы и вреда большинства, с точки зрения масс. В этом преимущество политико-экономических воззрений Чернышевского по сравнению с буржуазной политической экономией. Но в то же время точка зрения оценки, точка зрения расчетов вреда и пользы экономических явлений ведет к сползанию в обществознании с материалистической концепции на идеалистическую, ибо она отводит решающее значение в развитии общественных форм здравому смыслу, уму. Расчет пользы и вреда зовет общественные явления к суду разума и с точки зрения *разума* произносит им приговор. Разум оказывается и судьей и демиургом действительности.

Иначе и не может быть, ибо и самая способность человека действовать по законам своей природы зависит, в конечном счете, от ума, от его расчетов. «Итак,—писал Чернышевский,—действительным источником совершенно прочной пользы для людей от действий других людей остаются только те полезные качества, которые лежат в самом человеческом организме; поэтому, собственно этим качествам и усвоено название добрых, потому и слово «добрый» настоящим образом прилагается только к человеку. В его действиях основанием бывает чувство или сердце, а непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности, которая называется волею, потому, говоря о добре, надобно специальным образом разобрать законы, по которым действует сердце и воля. *Но способы к исполнению чувств сердца даются воле представлениями ума...*» (т. VI, стр. 237).

Материалистичность теоретических побуждений Чернышевского обнаруживается в его попытке обосновать все действия человека влиянием сердца, т. е., стремлением к эгоизму, к пользе, к наслаждению, в том, что волю человека он ставит в зависимость от его сердца, от материальной природы человека. Но успешность действий воли определяется в зависимости от характера представлений ума, в зависимости от науки. Правильное знание ведет к прогрессу, к демократии, к социализму, неправильное—увечивает строй гнета, неравенства и нищеты.

Чернышевскому не удалась задача научного обоснования социализма. В итоге его изысканий, в его руках оказывался только видоизмененный старый идеалистический рецепт объяснения истории и обоснования нового идеала. Но идеализм, с точки зрения самого Чернышевского, не мог претендовать на научное значение.

Материализм Чернышевского, как попытка научно-объективного обоснования социально-политической программы, потерпел, однако, не только теоретическое крушение. Социально-политический идеал Чернышевского не выиграл исторической тяжбы. За ним не оказалось реальных сил, опираясь на которые он мог бы осилить своих врагов и завоевать свою победу. В объективной действительности, на законы которой как-то хотел опереться Чернышевский, дело не дошло даже до реального боя за низвержение старого строя и за попытку осуществления новых начал. За очень шумным столкновением идей в шестидесятые годы не последовало непосредственного столкновения классов. Революции, которой ждали одни с надеждой, другие с трепетом,—не произошло. Разрозненные крестьянские волнения весны и лета 1861 года не нашли тогда своего дальнейшего продолжения, не развились в новую—сокрушительную и победоносную—пугачевщину.

Разочарование в кругах, симпатизировавших «Современнику», оказалось очень велико. Реакция, с одной стороны, и ревизия взглядов, с другой стороны, оказались неизбежными. Так как основной тон идейной жизни шестидесятых годов задавали воззрения Чернышевского, то и новые явления в русской общественной мысли и в русском социализме так или иначе были связаны с кругом идей, завещанных Чернышевским.

Для современников Чернышевского его, казалось, самым научным, самым объективным образом обоснованная программа не выдержала исторического экзамена. Между целью деятельности и объективной закономерностью самой исторической действительности оказалась пропасть. Надо было эту пропасть чем-то заполнить или как-то ее обойти. Сам «Современник» эпохи ареста и ссылки Чернышевского, поставивший целью своей деятельности верность своему старому знамени, не смог удержаться на своей старой позиции. Он стал резко оппортунистичней, по сравнению со старым «Современником», и в воззрениях значительной части своих сотрудников стал сползать к народничеству. Народничество придерживалось субъективного метода в обосновании своих социально-политических идеалов. Одним из главных представителей субъективной школы в социологии был, как известно, Михайловский. Обоснование субъективного социологического метода у Михайловского теснейшим образом связано с крушением надежд шестидесятых годов. Попытка опереться в борьбе за общественный идеал на объективную закономерность, управляющую движением общества—не удалась. Михайловский делал из этой неудачи вывод, что самая задача поставлена неправильно. По мнению Михайловского, на объективную закономерность в борьбе за осуществление человеческих целей нельзя рассчитывать по самой сути

вещей, ибо объективная закономерность враждебна идеалу, в том числе и социалистическому идеалу. Лишь в субъективных нравственных побуждениях личности кроется опора социального идеала. Постановка целей в действовании зависит от свободы личности. С точки зрения объективной закономерности еще можно судить о прошлом, но по отношению к настоящему и к будущему с ней нечего делать. «В момент деятельности,—пишет Михайловский,—я сознаю, что ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий, пусть это обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно, на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души» (т. III, стр. 437).

Чернышевский выработал монистическое и материалистическое учение о природе, с одной стороны, и об обществе и человеке, с другой. Оба звена строго подчинены у него закону причинности. Социальные действия причинно обусловлены, борьба человечества за улучшение своей жизни, за правду и справедливость только тогда может рассчитывать на успех, если она опирается на объективную закономерность природы и человеческой природы. Михайловский же, в результате крушения движения шестидесятых годов, пришел к выводу, что закон причинности царит в мире внешней природы и в антагонистических обществах, развившихся на основе действия слепых, независимых от человека, сил. Объективная закономерность враждебна нравственности, правде, справедливости и целям нравственной и образованной личности. Социальный идеал может быть осуществлен лишь вопреки объективной закономерности. Между свободой и необходимостью нет других взаимоотношений, кроме непримиримой вражды. «Значение исторических условий, как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненно право и возможность для личности судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, в сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. *Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо...*» (т. III, стр. 440).

Со времени Белинского передовое направление русской общественной мысли билось над разрешением этого противоречия между действительностью и разумностью, необходимостью и свободой, объективной закономерностью и субъективным желанием. Проблема научного обоснования социализма в самом деле упирается в это противоречие. Чернышевскому казалось, что он разрешил это противоречие, установив материальное единство мира и общества, природы и человека. Решение это и теоретически и исторически оказалось неудовлетворительным. Последующему поколению показалось, что противоречие неразрешимо по самой природе вещей. Оно попыталось устранить его, противопоставив антагонистически мир субъективных целей слепой силе объективной закономерности. Поэтому марксизму, пришедшему на смену народничеству, пришлось уделить чрезвычайно много

внимания вопросу о соотношении свободы и необходимости, субъективных целей и объективной закономерности. Научное диалектическое разрешение этой важной проблемы лежало на том пути, на который вступил было Чернышевский, но по которому он не дошел до конца. Материальный монизм природы и общества, отношение к законам общественным, как к роду законов природы, материальная причинная обусловленность волевой деятельности человека в самом деле являются обязательными моментами в деле научного обоснования цели общественной борьбы. Но этого мало. Надо еще показать, в чем заключается специфичность законов общественного развития, надо подробней раскрыть сущность природы человека. Михайловский, ставя судьбы общественного идеала в зависимость от произвола человека, в то же время самый идеал конструировал на основе биологического анализа сущности природы человека. Свою формулу прогресса он позаимствовал у Бера. По закону Бера «организм тем развитее, тем выше, чем он сложнее, чем физиологическое разделение труда между его органами обозначено резче и яснее. Организм прогрессирует, когда он усложняется, т. е. переходит от однородности к разнородности, и регрессирует, когда упрощается, т. е. переходит от разнородности к однородности» (т. I, стр. 59). Поэтому формула прогресса Михайловского и гласит: «Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми...» (т. I, стр. 150). Но эта формула биологического совершенства отдельной человеческой особи, если даже толковать ее как формулу социалистического строя, ничего не говорит, какими силами и какими отношениями в сфере социальной можно добиться ее осуществления. Субъективный метод в социологии был не решением, а отказом от решения этого вопроса.

Биологические изыскания о сущности природы человека ничего не могли дать для преодоления противоречия между миром объективной закономерности и социализмом, как общественной программой действий и борьбы. Лишь анализ социальной сущности природы человека мог привести к удовлетворительным результатам.

Когда Плеханов—первый в России—пришел к выводу, что не общественные отношения надо приспособлять к природе человека, а что, наоборот, сама природа человека является производной от общественного развития, что, поэтому, человеку, в его стремлении к лучшему общественным порядкам, надо опираться не на свойства его природы, а на законы развития общества—только тогда в России была разрешена задача объективно-научного обоснования социализма.

Задача эта была поставлена еще Белинским, огромный шаг вперед к ее разрешению был сделан Чернышевским; народники, видя недостаточность решения Чернышевского, думали преодолеть эту недостаточность *salto mortale* субъективного метода, и лишь Плеханов пошел дальше Чернышевского, поставив человека в зависимость от общества, во внутренней закономерности развития которого были найдены Марксом и Энгельсом объективные основы осуществления социализма.

В. Кирпотин

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В сороковых годах прошлого столетия утопический социализм доканчивал свой жизненный путь. В 1847 г. «Коммунистический Манифест» соткал ему саван, в 1848 г. революция бросила последнюю горсть на свежую могилу. Всякая позднейшая социалистическая утопия могла быть лишь одиноко затерявшейся тенью, бесцветной и холодной, как всякая тень, или бессильным воспоминанием, резонирующим и романтическим, как всякое воспоминание, и неизбежно переходящим в реакционность, как только оно хочет обосновать программу действий... После 1847 г. начинается двадцатилетний инкубационный, по выражению Энгельса, период научного социализма, ибо лишь «Капитал» и «Международное Товарищество рабочих» знаменуют его зрелость.

Пока нараставшие и универсализировавшиеся социальные и политические бои в недрах буржуазного общества с одной стороны; и универсальная диалектико-материалистическая критика Марксом и Энгельсом основ буржуазных представлений об обществе и, в первую голову об экономике,—с другой стороны, вскармливали новое социалистическое учение и выводили его на широкую историческую арену; пока происходил процесс становления марксизма, т. е. его переход от состояния скрытой в себе системы, проявляющейся во вне в виде разрозненных частных и недоделанных обобщений, в состояние полностью раскрытой системы знаний и борьбы; пока длились эти двадцать лет—нетерпеливая историческая потребность вызвала к жизни две немарксистские попытки разрешить задачу эпохи, две обреченные попытки, два капризных зигзага нового социализма, два смелых порыва, наивных в свете Маркса и вредных после Маркса, но исторически неизбежных, как необузданное и неформленное устремление юности всякого социального движения. Это относится к обеим попыткам: немецкой и русской, Лассалю и Чернышевскому, правда, в разной форме и в различной степени¹. Истории требовалось безащелляционно доказать, что суще-

¹ Собственно, немецкая попытка оказалась поделенной между двоими—Лассалем и Родбертусом. Ни один из них не обладал цедностью Чернышевского, и, следовательно, не был подготовлен к тому, чтобы осуществить веление истории собственными силами. Родбертус, правда, писал еще в первом своем сочинении: «Главной целью моих исследований будет увеличение доли рабочего класса в национальном продукте», но он изолировал себя от движения рабочего класса и тем

стует только один действительный путь развития социализма в науку—марксистский. И она показала, как иные пути уводят в сторону, в туман, в край научных иллюзий и теоретической беспомощности даже таких людей, как Чернышевский и Лассаль.

Лассаль находился в неизмеримо лучших условиях, нежели Чернышевский. Лассаль ковал оружие для строящегося в колонны пролетариата, прошедшего огонь буржуазной революции; Чернышевский мастерил дубину для ворочающегося крестьянства, задавленного тисками крепостного рабства. Лассалю были практически доступны вершины современных ему социальных боев, открывавшие широчайший исторический горизонт; Чернышевский пробирался в диком, заснеженном лесу огромной равнины, куда долетали лишь приглушенные отзвуки далекой борьбы и где ответ достигнутых на Западе горизонтов принимал местные, несуразные, мужицкие тона. Лассаль рос в непосредственной близости Маркса и в постоянном общении с ним; Чернышевский, когда строил свою систему, не знал Маркса совершенно и шел по своему пути без чьей-либо помощи. И при всем этом Чернышевский как мыслитель значительно богаче Лассалья и его искания много поучительнее.

Экономические взгляды Чернышевского, которые нам предстоит изучить в настоящей статье, интересны не просто как часть мировоззрения этого замечательного человека: они представляют самостоятельный интерес в истории политической экономии. Перед нами попытка через преодоление буржуазной политической экономии не тем путем, каким она была преодолена Марксом, обосновать социализм. Может ли быть тема более поучительная, более образовательная, чем исследование неудачи этой попытки, *неизбежности неудачи*? Чернышевский вышел из того же пункта, что и Маркс. «Критика политической экономии»—таков подзаголовок «Капитала». А Чернышевский считал необходимой «поверку основных принципов» буржуазной политэкономии и в этом видел свою задачу. Но, пустившись в путь из одного места, Маркс и Чернышевский разошлись дорогами. Почему? Пусть на это отвечает во всей подробности история социализма, дающая биографии того и другого. В настоящей статье мы будем изучать лишь самый путь Чернышевского-экономиста. Это путь исканий и творческих сомнений большого ума, пробирающегося через препятствия ошибочной методологии, инстинктивно вырывающегося из ее искусственной сети, и все же сдвинутого и теоретически обессиленного ею. И в то же время это целеустремленный путь неукротимого революционера в мысли и в действии, «писателя, любящего колебать старые и надменные предрассудки»¹, путь, окаймленный великой гуманностью и столь же великой скромностью.

обрек свои глубокие политико-экономические искания на безжизненность. Лассаль не мог дать социализму больше, чем он дал, в качестве гениального организатора рабочего класса, ибо непреодоленное идеалистическое мировоззрение закрывало ему доступ к социалистическому преобразованию науки; он сам признавал влияние Родбертуса на свои экономические взгляды.

¹ Выражение Чернышевского о самом себе (IV—306).

Кое-кто пробовал изобразить труд жизни Чернышевского в таком смысле, который был прямо противоположен его истинному содержанию¹. Другие пытались извратить, обесценить, опустошить это богатство исканий, изображая его в виде плоского и ограниченного народничества. Третьи, будучи поставлены в полемическую обстановку, превратили критику Чернышевского в выявление ошибочности это научных достижений и, положив эту ошибочность в основу оценки Чернышевского, отнесли его просто к числу социалистов-утопистов. Четвертые, сознавая, что Чернышевский не исчерпывается утопическим характером его достижений, склонны подвести его вплотную к основателям научного социализма. Ни слова не говоря о первом и втором толковании Чернышевского, следует указать, что последние два толкования, даваемые марксистами, во многом неверны. Чернышевского нельзя отнести к группе Фурье, Сен-Симона, Оуэна, от этой чистой формы утопического социализма он ушел с критическими боями. Но Чернышевского нельзя также считать идейным предшественником Маркса, их экономические системы принципиально различны и одна ничего существенного не может взять у другой. Для Чернышевского-экономиста характерно понимание необходимости научного обоснования социализма, характерны искания этого обоснования на почве теоретической экономии, характерна неудовлетворенность утопическим социализмом—и при этом инстинктивная неудовлетворенность целым рядом своих собственных счетов, жизненный порыв к высвобождению из-под власти своей схемы, и немало определений и обобщений, носящих печать научного предвидения, поскольку они вводятся со стороны в ошибочную схему.

Говорить в наши дни о Чернышевском меньше всего значит полемизировать с ним. Время дало исчерпывающую критику его построениям—уже одним тем, что разрешило занимавшую его проблему—научное обоснование социализма—иным совсем способом, на ином совсем пути. Мы не станем поэтому уделять внимание деталям экономических построений Чернышевского. Нас будет занимать *система его взглядов как целое*. Мы увидим у Чернышевского большое число противоречий. Но, не говоря уже о внешних условиях, в которых приходилось Чернышевскому выработать свое экономическое мировоззрение, само оно есть *искание мировоззрения*,—но искание на одном, вполне определенном пути, помощью одного, вполне определенного метода. Изучая Чернышевского, мы будем иметь дело с противоречиями в развитии большого ума, сознающего себя и ищущего самостоятельности. Эти противоречия не нарушают своеобразной стройности экономического мировоззрения Чернышевского, а, напротив, входят в него образующим моментом, выражающим его переходный характер, его внутреннюю тенденцию и внутренние границы.

Все теоретико-экономические работы Чернышевского облечены в полемическую форму. Это вполне соответствует положению новой

¹ См. П. Маслова, ст. «Идеализация натурального хозяйства» в «Научн. Обзор.», 1899, № 1.

точки зрения и новых идей, стремящихся в критических боях со старой школой сформироваться в новую теорию. В подобном положении борьба новой теории во вне есть одновременно ее борьба со своими собственными внутренними противоречиями, ищущими себе разрешения. Но это значит, что новая теория еще не нашла адекватной системы изложения, еще не имела возможности отстояться в виде такой последовательности развития категорий, которая соответствовала бы ее новому содержанию. Вот важнейшие теоретико-экономические работы Чернышевского в хронологическом порядке: 1) «*Stufen Gakstgauzena*» (1857), 2) «О поземельной собственности» (1857), 3) «Тюрго, его ученая и административная деятельность, соч. С. Муравьева» (1858), 4) «Критика философских предубеждений против общественного владения» (1858), 5) «Экономическая деятельность и законодательство» (1859), 6) «Капитал и труд» (1860), 7) «Основания политической экономии Д. С. Милля—перевод и примечания» и «Очерки из политической экономии по Миллю» (1860—61), 8) «Начала народного хозяйства, В. Рошера» (1861). Во всех этих работах теоретико-экономические взгляды Чернышевского излагаются в противовес и в опровержение «старой школы», а это значит—в порядке, диктуемом внешними обстоятельствами. Мы будем поэтому в настоящей статье держаться иной последовательности изложения, чем какая бы то ни было из имеющихся у самого Чернышевского, именно такой, которая бы наиболее соответствовала развитию содержания его экономической системы, свободному от потребностей полемики.

I. Критика политической экономии

1,

Критику политической экономии Чернышевский распространяет на всю ее историю. Он начинает с эпохи, в которую сложилось абсолютистское государство. «Характер этого быта не допускал высокого экономического развития, потому и экономическая наука была мало развита; но все-таки те времена имели свою экономическую теорию. Она выражалась в том, что человеку свободному (свободным человеком, по настоящему, был тогда только феодал) не следует заниматься производством. Он должен быть только потребителем. Масса его соотечественников и все остальные народы существуют только для того, чтобы производить для него, а не для себя, предметы потребления. Обширного научного развития достигла только одна часть этой системы, называющаяся меркантильной теорией. Сущность ее состоит в том, чтобы брать у других, не давая им ничего взамен»¹.

Экономическое развитие порождает оппозицию меркантильной теории. Оппозиция идет из двух различных источников: из товаризи-

¹ И дальше: «Меркантильная система... натурально должна была применять эту идею к драгоценным металлам, и потому говорила, что надобно всячески стараться, чтобы ввоз серебра и золота был как можно больше, а вывоз как можно меньше» («Капитал и труд», VI, с. 23).

рующегося сельского хозяйства и из торговли—физиократы во главе с Кенэ и фритредеры во главе с Гурне. «Легко угадать точку естественного несогласия школы Гурне с школой физиократов. Мыслители, поклоняющиеся промышленности и торговле, могли ли согласиться на признание превосходства за земледелием? Действительно, в этом вопросе они помирились не без труда. Но обе школы имели одну общую тенденцию—индивидуализм; и общим девизом их стала формула: *laissez faire, laissez passer...*¹. Потому-то обе школы слились в одну и под общим именем экономистов, они пошли, соединив свои знамена, к двоякому торжеству среднего сословия в земледелии и торговле»².

Но поворот в экономической мысли наступил позднее. «К тому времени, когда среднее сословие приобрело фактический перевес над высшим в государственных делах, т. е. к последней половине прошлого столетия, относится и возникновение новой экономической теории, до сих пор пользующейся привилегией на имя политической экономии, как-будто она единственная теория экономических учреждений. Дух ее совершенно соответствует положению среднего сословия в обществе и роду его занятий». «Определить сущность ее очень легко: эта теория выражает взгляд и интересы капиталистов, ведущих промышленные и торговые дела и отчасти уже сделавшихся владельцами недвижимой собственности, а вообще проникнутых снисходительностью к побеждаемому врагу, феодальному сословию, которое оказывается их союзником в вопросе о распределении ценностей»³.

Чернышевский видел основной грех смитовской школы—узость ее исторического кругозора, ее ограниченность рамками существующего экономического строя, ее «ошибочную тенденцию доказывать непреложность и вечность нынешних форм экономического быта»⁴. «Ни Адам Смит,—писал он,—ни его последователи не умели представить себе систему быта, которая была бы выше трехчленного деления продукта между тремя различными сословиями»⁵.

¹ «Два человека,—продолжает здесь Чернышевский,—вышедшие из различных точек, один воспитанный на ферме, другой воспитанный в купеческой конторе, прошедши некоторое пространство на поле теории различными дорогами, вдруг встретились на перекрестке, где надписью столба было слово: «Свобода»... Прежние стеснительные регламенты так утомили людей, что почти все мыслители безусловно склонялись к противоположному принципу, к простому освобождению индивидуума от всяких обязательств. Собственник и купец, богач и бедняк, каждый представлялся теперь самому себе. Думали, что каждый лучше всех других понимает свою выгоду; будущность открывалась этому гордому чувству. Не нужно более ни надсмотрщиков, ни сторожей, ни застав; не нужно опеки, хотя бы с нею уничтожалась и защита».

² «Тюрго», IV, с. 225/6.

³ «Капитал и труд», VI, с. 24, 28.

⁴ «Начала народного хозяйства, В. Рошера», VIII, с. 136.

⁵ «Милль», VII, с. 492. «Психологическим законом, по которому почти у каждого... оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит,—этим психологическим законом надобно объяснить и тот факт, что политико-экономам школы Ад. Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господ

В теории смитовской школы Чернышевский видел внутреннее противоречие. «Адам Смит был в сущности учеником французских энциклопедистов; и как они воображали, что народу не нужно ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии, и как народ сам не замечал еще тогда, что его потребности не во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда во главе его на общую борьбу против феодалов, так и Адам Смит не заметил разницы между содержанием своей теории, соответствующей экономическому положению среднего сословия, с основным своим учением о труде, как источнике всякой ценности. То были времена, когда требования среднего сословия выводились из демократических принципов и оживлялись мыслями, говорившими о человеке вообще, а не о торговце, фабриканте или банкире»¹.

С дальнейшим экономическим развитием, приведшим к расхождению интересов буржуазии и «народа», противоречие теории должно было вызвать ее кризис, ибо она «построена так, что в ней нет места для факта, ставшего теперь повсюду главным двигателем истории»². Поэтому всех современных ему экономистов Чернышевский рассматривает, как продукты распада школы Смита, этой «старой», «рутинной», «отсталой» школы. Какова конкретная картина этого распада?

«У французских экономистов, следовавших за Ж.-Б. Сэ, нельзя найти ни одной свежей мысли, их сочинения содержат только бесцветное повторение мыслей, высказанных Ад. Смитом, Мальтусом и Рикардо» Но Ад. Смит и Рикардо, когда писали свои произведения, вовсе не думали о коммунистических теориях, которые во время Смита не существовали, а во время Рикардо казались невинною шуткою, не обращавшею на себя ничего серьезного внимания. Нынешний французский экономист, которому каждая блуза, встречаемая на улице, представляется символом коммунизма, грозящего разрушением французскому обществу, не может ни одной буквы написать, не думая о коммунизме. Как победить этого ненавистного врага? Он сам не одарен умственными силами, чтобы составить теорию, которая удовлетворяла бы его желанию опровергнуть коммунизм; он может только переписывать старую теорию. Но при этом он вычеркивает из нее все, что, по его мнению, может служить подтверждением коммунизму: он искажает определения и факты, чтобы предохранить

ству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представители стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели; высказывающие общую мысль еще с большею резкостью, называющие формы эти вечными, безусловными («Начала народного хозяйства, В. Рошера», VIII, с. 137/38).

¹ «Капитал и труд», VI, с. 29.

² «Милль», VII, с. 30.

своих читателей от коммунистической заразы; особенно отличался в этом Бастиа. Ад. Смит и Рикардо ужаснулись бы, увидев себя в его переделках»¹.

Для Чернышевского было бесспорно—и ненавистно—внутреннее ничтожество эпигонов классической школы. Их пустой, прозрачный и корыстный апологетизм, их «социализмофобия и коммунизмофобия»² раздражали его, как раздражали они и Маркса. Его отзывы о вульгарной экономии столь же резки и презрительны, как и отзывы Маркса: «Теория Сэ поверхностна и фальшива»³; «французские книжки, без толку перевирающие теорию английских мыслителей»⁴; «фантазии каких-нибудь французских шарлатанов, которые порют дичь»⁵; «Кэри—мертвый схоластик, тупой мономан; издевательство над «славой великого Бастиа»⁶; «узколобая школа отсталых французииков в политэкономии»⁷, которые «обыкновенно остаются незнакомы хорошенько даже с Ад. Смитом, которого называют своим учителем»...⁸; «зетхая дрянь, которую провозглашает какой-нибудь поверхностный или недоучившийся французский пустослов»⁹. И так далее.

Чернышевский дал также мастерскую критику зарождавшейся в лице Рошера исторической школе в политической экономии. «Вот в этом-то (в исторической узости буржуазной теории—Э. Л.) и лежит настоящая причина расположения к историческому методу, явившегося в последователях прежней школы, которые увидели себя теперь в звании консерваторов, в противность прежней своей похвалбе прогрессивностью... Против средневековых учреждений разум был для школы Адама Смита превосходным оружием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно. Что тут делать? Не нами придумано, не нами кончится—изворот, употребляемый в таких случаях: если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит»¹⁰.

¹ «Капитал и труд», VI, с. 30/31.

² «Милль», VII, с. 630.

³ «Заметки о журналах», III, с. 113.

⁴ «Милль», VII, с. 653.

⁵ ib., с. 663.

⁶ «Письма Кэри к президенту Соединенных штатов», VIII, с. 26. См. также «Монари, Курс политической экономии», VI, с. 340: «У Бастиа уже доказано, что бедным не на что жаловаться, что если и есть на свете люди, получающие меньше, чем им следовало бы, то эти люди не какие-нибудь ткачи, швеи, земледельческие батраки—нет, а капиталисты, рентеры, фабриканты, банкиры и др. обиженные судьбою несчастливцы, возбуждающие зависть в неразумных чернорабочих. Бастиа доказал уже, что если сосчитать, сколько жертв принесится для общего блага и сколько благоденствий обществу оказывается Ротшильдом, Миресом и сподвижниками их, то надобно беднякам благословлять судьбу свою и воздвигать памятники заживо этим своим благодетелям».

⁷ «Экономическая деятельность и законодательство», IV, с. 438/9.

⁸ «Капитал и труд», VI, с. 45.

⁹ «Экон. деят. и зак-ство», IV, с. 436.

¹⁰ «Начала народного хозяйства, В. Рошера», VIII, с. 138/39.

В руках указанных учеников школы Смита внутреннее противоречие ее учения было устранено поверхностным, схоластическим, фальшивым, шарлатанским способом. Так как стало невозможно сочетать под кровлей одной теории интересы среднего сословия и «основное учение о труде, как источнике всякой ценности», экономисты жертвуют последним для поддержки первых. Такова позорная судьба тех последователей Смита, которые не хотят считаться с «фактом, ставшим теперь повсюду главным двигателем истории». Чернышевский ясно видел, что наука должна пройти мимо них, как они прошли мимо науки. Но Чернышевский также понимал неудовлетворительность попыток примирить смитовскую школу с новыми требованиями жизни. Вот как расценивает он Милля:

«Он человек бесспорно очень замечательного ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно раз'ясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до проверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии. Очевидно, у него нет силы отделить сущность новых мыслей от их политической и декламаторской формы, перевести французское ораторство на холодную теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми»¹. «Сойти с точки зрения, на какую он поставлен своими учителями, Мальтусом и, в особенности, Рикардо, он не может. Он умеет только ценить все хорошее, что успевает заметить с этой точки зрения... Главная сила его в том, что он мыслитель совершенно честный и человек, сочувствующий добру»².

Чернышевский хорошо понимает классовое содержание нерешительности и бессилия Милля. «В Милле мы видим представителя чувств, с которыми благородные люди богатых сословий Западной Европы встречают предстоящую перемену общественных отношений... Из Милля мы узнаем, как благородная часть западно-европейских привилегированных классов смущается духом при виде осуществления тех идей, теоретическую справедливость которых сама она защищает, признавая их логически неотразимыми и ведущими к общему благу, но которые невыгодны для этих сословий»³.

И вот печальный итог смитовской школы: «Сорок лет неподвижности в теории такого предмета, как политическая экономия! Это нечто неудобомыслимое, неправдоподобное, невероятное»⁴.

¹ «Капитал и труд», VI, с. 30.

² «Милль», VII, с. 363.

³ «Антропологический принцип в философии», VI, с. 189, 193.—Напомним также остроумное и глубокое сравнение бесхарактерного и нерешительного Милля с человеком, выехавшим из Петербурга и не знающим куда направить путь— в Казань или в Берлин. «Ведь история не на диване, на котором человек лежит, не двигаясь с места, ведь она мчит вас куда-то, а вы еще не знаете куда? Так вы уж скорее разузнайте, куда она вас мчит. Туда ли, куда вам нужно? А если туда, куда нужно, то напрасно вы и толкуете о других дорогах, а если не туда, куда вам нужно, то сворачивайте. Милль рассуждает не совсем так, судя по всему, нужно ехать в Берлин, однако же махнем на него рукой и поедем в Казань» («Милль», VII, с. 634).

⁴ «Капитал и труд», VI, с. 20.

Во времени деятельности Чернышевского оппозиция школе Смита была весьма широка и разнообразна. Мы не говорим о Марксе и Энгельсе, деятельность которых прошла мимо Чернышевского. Надо думать, что Чернышевский не был знаком и с Родбертусом. Но он несомненно хорошо знал социалистов-утопистов: Сен-Симона, Фурье и Оуэна он считал «первоклассными мыслителями»¹. Если в своих писаниях он их за редкими исключениями совершенно не касается, то это нужно целиком отнести за счет цензурных условий². Ему был хорошо известен и один из самых ранних противников буржуазной экономики—Годвин³, вдохновитель ряда крестьянско-ремесленных критиков капитализма. Знал ли Чернышевский группу английских социалистов-экономистов 20-х и 30-х годов (Вильяма Томпсона, Джона Грэя, Джона Брэя, анонимный памфлет 1821 г. и др.), которые предлагали эгалитарное применение теории Рикардо и о которых Энгельс говорил, что «их литература оставалась вплоть до «Капитала» непревзойденной»⁴. В сочинениях Чернышевского эти социалисты-рикардианцы не упоминаются, что конечно не значит, что они ему были неизвестны. Что же касается социалистических писателей 40-х и 50-х годов, то виднейшие из них сравнительно часто встречаются на страницах Чернышевского.

Чернышевский относится с глубоким уважением и любовью к основоположникам утопического социализма. Об Оуэне, напр., он пишет: «Вот мыслитель действительно великий... У него были сподвижники и остаются продолжатели, достойные стоять с ним рядом и по гениальности и по благородству стремлений»⁵. Но вместе с тем Чернышевский сознавал, что время утопических систем миновало. Уже в 1856 г., высказываясь о влияниях, под которыми развивался Огарев, Чернышевский пишет об утопическом социализме: «В то время во Франции возникали, как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов, новые теории национального благосостояния. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном виде мечтательные увлечения, которых вна-

¹ «Милль», VII, с. 640.

² Говоря о Сисмонди, как о противнике старой школы, он в одном месте заявляет: «Мы называли Сисмонди потому, что хвалить его очень удобно; но читатель знает, что между противниками так называемых экономистов он—человек не самый замечательный. Каждый вспомнит многие имена, более знаменитые» («Капитал и труд», VI, с. 22).

³ В 1857 г. Чернышевский писал о «двух главных политических школах, представителями которых в политической экономике можем мы назвать Мальтуса и Годвина» («Рассужд. о гражд. и уголовн. законоположении». Иер. Бенгата, III, с. 510).

⁴ Карл Маркс—«Ницета философии»—предисловие Энгельса, Петроград, 1918 г., с. 6.

⁵ «Капитал и труд», VI, с. 22.

чале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы, им ненавистные. Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины и глубокие и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями, и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их»¹.

Давая такую оценку раннему социализму, Чернышевский естественно относился с большой осторожностью к тем экономическим положениям и теориям, которые выдвигались против буржуазной экономии его представителями. Чернышевский был в значительной мере свободен от, казалось бы, естественного в его положении стремления опираться на многочисленных противников господствующей теории. Он, больше того, отмежевывался от тех, кого должен был бы, если бы не обладал он принципиальностью сознающего свое место новатора, приветствовать как союзников. Подчеркивая «безмерное превосходство каждого из этих людей над нынешними так называемыми экономистами по отношению к силе ума»², Чернышевский вовсе не солидаризировался с ними по существу. О Сисмонди он говорит много хорошего³, но тут же оговаривает: «его книга во многом очевидно ошибочна». О сен-симонизме он говорит, как о системе, времена которой давно уже прошли: «люди, подобные Вольтеру и Сен-Симону, давным давно сошли с исторического поприща»⁴. «Мы вовсе не сочувствуем,—пишет он,—той форме стремления к общественным реформам, которая называется сен-симонизмом. Это учение кажется нам галлюцинацией, сформировавшейся из ошибочной идеализации католицизма и кроме того носившей какой-то приторный характер изысканной аристократичности, аффектирующей замашки сантиментального демократизма... Сен-симонисты были салонные герои, подвергавшиеся припадку филантропизма»⁵. О Луи Блане Чернышевский пишет: «Если хотите, можете ставить его, как теоретика, далеко ниже Прудона и Милля»⁶. «По особому историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому что оригинального в них мало. Прудона Чернышевский считает представителем «простолюдинов, жаждущих перемен, но затрудняющихся в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребно-

¹ «Очерки гоголевского периода», II, с. 194.

² «Капитал и труд», VI, с. 21.

³ О книге Сисмонди Чернышевский пишет: «Сколько в ней свежих новых мыслей, какая сила ума, какое богатство новых фактов, ведущих к новым взглядам, какая в ней оригинальность и свежесть по сравнению с монотонными произведениями так называемых экономистов, с этими бесцветными повторениями произведений Адама Смита, Мальтуса и Рикардо» («Капитал и труд», VI, с. 22).

⁴ «Studien, Гакстгаузена», III, с. 293.

⁵ «Июльская монархия», VI, с. 150.

⁶ «Милль», VII, с. 640.

стям»¹. Лично о Прудоне Чернышевский отзывается резко, порою с возмущением².

Мы вправе, следовательно, сказать, что Чернышевский не только имел ясное представление о кризисе буржуазной экономической науки, о корнях этого кризиса, его неотвратимости и безысходности— Чернышевский видел также бессилие социалистической критики смитовской школы и теоретическую непригодность социалистических экономических построений. Где еще, кроме Маркса, имеется такое глубокое понимание исторической предопределенности экономических теорий? И притом не просто исторического характера, а *экономической детерминированности* развития экономической мысли. И притом, не просто экономической предопределенности, а *классовой природы* теоретико-экономических систем³.

Чернышевский увидел основную причину слабости утопического социализма— его келейный и экспериментаторский характер, его игнорирование масс. Поистине замечательный окончательный вывод Чернышевского о сен-симонизме: «Называя приторной ту форму, которую имело первое проявление мысли о преобразовании общества, мы, конечно, должны ценить историческую важность этого первого ее проявления. Оно важно как признак того, что пришла пора обществу заниматься идеями, выразившимися на первый раз в этой неудовлетворительной форме. Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бываю уже не восторженною забавой, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда вероятно будет лучше ему жить на свете, чем теперь»⁴.

Это уже вполне определившееся сознание необходимости преобразовать экономическую науку на новых *социальных* началах, применив

¹ «Антропологический принцип философии», VI, с. 193.

² В письме из Сибири от 24 ноября 1873 года Чернышевский говорит: «Один из прогрессивных глупцов, имевших очень сильное влияние на всех глупцов без различия, был Прудон. Быть может и даровитый от природы; быть может и бескорыстный (хоть это известная манера со времени Агатола Сиракузского: пренебрегать светскими приличиями и не набирать себе денег—манера множества честолюбцев). Но каков бы ни был он от природы, он был невежда и нахал, кричащий без разбора всякую чепуху, какая забредет ему в голову из какой газеты ли, идиотской ли книжонки, умной ли книги,—этого различать он не мог по недостатку образования. И теперь он—один из оракулов людей всяческих мнений. И удобно ему быть им: какая кому нравится глупость, всякая есть у этого оракула! Кому-нибудь кажется, что $2 \times 2 = 5$. Ищи у Прудона: найдется подтверждение с прибавкой: «мерзавцы все те, кто в этом сомневается»; другому кажется, что $2 \times 2 = 7$, а не 5, ищи у Прудона: найдется и это с той же прибавкой» («Чернышевский в Сибири», вып. 1-й, с. 82).

Но и в «Очерках по Миллю» (1861 г.) отзыв о Прудоне, хотя и более терпим, но уже достаточно ясен: «Кто он такой, социалист или не социалист, коммунист или не коммунист—этого никто из континентальных политико-экономов не умеет разобрать, да и сам Прудон, быть может, не знал определенно» (VII, с. 630).

³ Совершенно правильно Плеханов указывает, что, употребляя термин «сословия», Чернышевский в действительности говорит о классах.

⁴ «Июльская монархия», VI, с. 150.

к ней *новую классовую точку зрения*. И действительно, то новое направление в экономической науке, которое Чернышевский берет за развить и обосновать, он называет «*посрелой трудящи хся*». Это — «*теория, соответствующая потребностям нового времени, в противоположность отсталой, но господствующей теории, которую мы будем называть теорией капиталистов*»¹.

«Теория трудящихся» не есть, конечно, теория пролетариата. Но не забудем: свою теорию трудящихся Чернышевский противопоставляет «теории капиталистов»...

«Первые проявления новых общественных стремлений всегда имеют характер энтузиазма, мечтательности, так что более походят на поэзию, чем на серьезную науку». Чернышевский, которому принадлежат эти слова², ясно понимал, откуда надо увести социализм, чтобы превратить его из поэзии в серьезную науку, — видел направление, в котором его надо повести, но не знал, по какой дороге вести и как вести. Вспомним, как он определяет задачи новой школы политической экономии (оказавшиеся не под силу Миллю): «отделить сущность новых мыслей от их политической и декламаторской формы, перевести французское ораторство на холодную теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми». В этой фразе Чернышевский прощается с утопическим социализмом. Перед ним маячат новые берега, однако достичь их ему не было дано.

II. Методологические предпосылки и общие основания политической экономии трудящихся

1.

На каких же основаниях строил Чернышевский политическую экономии трудящихся, долженствовавшую превратить социализм в науку?

Чернышевский устанавливал преемственную связь новой школы со старой. «Как в истории общества каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека, так и в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречащие ему понятия, несообразность которых не замечалась прежнею теорией». «Оглядя е но ой теории (политической экономии — Э. Л.) от устарелой состоит только в том, что новая теория, овладевая существенными выводами старой, развивает их с полнотою и последовательностью, которых не могла достигать прежняя теория»³.

¹ «Капитал и труд», VI, с. 38.

² «Июльская монархия», VI, с. 128.

³ «Капитал и труд», VI, стр. 37—38, 44.

Итак, существуют некоторые основные стремления человеческой природы, которые все больше, чище и полнее реализуются историческим процессом. Что каждая историческая ступень представляет структурную монистичность базиса и идеологической надстройки, Чернышевский понимал, как бы ни были при этом наивны его представления о самом базисе. Но, расценивая экономическую теорию, как составную часть общего мировоззрения той или иной эпохи, он тем самым подчинял ее своей ложно-диалектической схеме, согласно которой исторический процесс представляет стремление вечно и принципиально равной себе человеческой природы,¹ ищущей для себя адекватного социального устройства и проходящей при этом ряд ступеней все большего приближения к этой предельной форме своего социального самосуществования. «Сущность» каждой из ступеней Чернышевский видит все в той же человеческой природе, в степени полноты и в степени неискаженности реализации ее основных стремлений. Ему неизвестно, что «сущностью» данной исторической стадии является специфическая, отличающая ее от других стадий, социально-экономическая структура. Таким образом, он сводит исторический процесс к количественному нарастанию некоторого абстрактного и замкнутого в себе качества, низводя реальные превращения количества в качество, реальные движения количества посредством смены качественных узлов до роли сторонних наслоений, мешающих чистому осуществлению вечной категории. Принцип Маркса: каждая общественная форма имеет собственный закон развития, не входил в число методологических предпосылок системы Чернышевского.

Отсюда исходное положение экономической теории Чернышевского: «Если политическая экономия имеет претензию принадлежать к области наук, то-есть заключать в себе хотя малейшую частицу теоретической истины, она должна иметь своим основным принципом такую мысль, которая применялась бы во всякое время ко всякому данному случаю»².

С редкой отчетливостью понимая призрачность и лицемерие «естественного права»³, которое ранняя политэкономия клала в основу своих теорий, Чернышевский «верховный принцип экономической деятельности» берет из своей общефилософской системы. «Каждая частная теория относительно известной сферы жизни сознательно или

¹ См., напр., «Милля», VII, с. 24, или «Антропологический принцип в философии», VI, с. 234, или «Капитал и труд», VI, с. 8.

² «Капитал и труд», VI, с. 10.

³ Чернышевскому принадлежит замечательные слова: «Право, понимаемое экономистами в абстрактном смысле, было не более как призраком, способным только держать народ в мучении вечно обманываемой надежды. Право, в том смысле, как определяли его экономисты XVIII века, как понимал и провозглашал его Тюрго, могло служить только к замаскированию несправедливостей, которые должны были возникнуть из господства индивидуализма, к замаскированию варварства, оставлявшего бедняка в беспомощности. Мало того, чтобы сказать: «ты имеешь право», надобно дать возможность, дать средства пользоваться этим правом» («Тюрго», IV, с. 228).

бессознательно выводится из общего мирозерцания данной эпохи»¹ — писал Чернышевский и не устал повторять, что политическая экономия обязана руководствоваться «философскими приемами», искать «философского выражения» своих положений, связывать свои частные теории с «общим философским воззрением»². Краеугольный камень своей «антропологической» философии Чернышевский определил следующим образом: «При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия»³.

Отсюда: «политическая экономия признает личный интерес сильнейшим или даже единственным важным двигателем человеческой жизни»⁴. Но основная категория политической экономии, выведенная из этого «верховного принципа экономической деятельности», получается у Чернышевского чрезвычайно расплывчатой, неуловимой и по сути дела лишенной реального содержания. Умная мысль Чернышевского кидается от одного определения к другому, ощущая внутреннюю неудовлетворенность всеми ими, не будучи в состоянии отдать предпочтение ни одному из них, кружась в заколдованном кругу бестелесных формулировок, обволакивающих проблему, но не раскрывающих ее, не подпускающих к ней. Смотрите, какая масса определений «верховного принципа политико-экономических стремлений» в одном только «Милле», т. е. в наиболее систематическом изложении «науки трудящихся»: «благосостояние общества или человечества или человека» (131), «потребности человеческой природы» (303), «здоровый экономический расчет» (309), «требования разума» (323), «энергия человеческих побуждений» (439), «расчет выгоды» (531), «материальная польза человека, насколько она зависит от внешних предметов» (559).

Эта неоформленность определений есть результат неопределенности самой формы, в которую Чернышевский хочет вместиать экономическую науку. Неустойчивость в определении исходной категории политической экономии здесь не случайна и выражает наличие исходного противоречия. В самом деле. К XIX веку естественное право индивида было устранено из буржуазной политической экономии и заменено Бентамовским утилитаризмом. Сам Рикардо признал утилитаризм общей предпосылкой экономической деятельности, а тем самым и своей теоретической системы, и даже Смит уже строил на утилитаристском в сущности принципе свою теорию трудовой стоимости. Так как экономический эгоизм потому вытеснил в буржуазной

экономии *естественное право индивида*, что оно оказалось бессильным аргументом против распространявшейся социалистической идеи *естественного права общества*, то буржуазные экономисты были в состоянии наполнить свой утилитаристский принцип адекватным экономическим содержанием. У Бентама приоритет индивидуума над обществом выражен в абсолютной форме¹. Но и Рикардо, сознательно сделавший предметом экономической науки общество, как целое, не уводит индивидуума с первого плана, а устанавливает положение о неизменном тождестве индивидуальной выгоды с общей выгодой всех².

Но ведь для Чернышевского утилитаризм должен был служить не к опровержению естественного права общества, а, напротив, должен был превратить в научное положение эту важнейшую идею раннего социализма, вложив в нее экономическое содержание. С одной стороны, антропологический принцип означает экономический эгоцентризм. С другой стороны, социалистический принцип гласит: «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного»³; ошибка, если «общественный расчет забывается для психологических рассуждений о побуждениях и желаниях частных лиц»⁴. Отсюда: «Политическая экономия, если имеет претензию на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с общей точки зрения, иметь в виду выгоды общества, человечества»⁵. Таким образом у входных ворот экономической теории Чернышевского стоит противоречие, и можно сказать, что все ее методологические основания связаны с этим противоречием и со способом его разрешения.

Чернышевский думает примирить два полюса своих методологических предпосылок *раздвоением* «верховного принципа политико-экономических стремлений» на принцип производства и принцип распределения.

¹ Бентам пишет: «Говорят, что интересы отдельных лиц должны отступать на задний план перед интересами общества. Что значит эти слова? Не составляет ли каждое лицо такой же части общества, как и всякое другое? *Интересы отдельных лиц суть единственные реальные интересы*. Заботьтесь об отдельных личностях. Не притесняйте их, не позволяйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для общества» («Иеремия Бентам», изд. «Библиотека эконсиста», с. XIX).

² Рикардо пишет: «Преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом соответствует общей выгоде всех. Стимулируя развитие промышленности, вознаграждая изобретательность, утилизировав наиболее действительным образом все особенные силы, доставляемые природой, этот принцип приводит к очень удобному и экономическому разделению труда между разными нациями. И в то же время, увеличивая общее количество всех продуктов, он расширяет всеобщее благосостояние и, с помощью тесных уз выгоды и счастья, все сильнее связывает все цивилизованные нации в одну всемирную общину».

³ «Антропологический принцип в философии», VI, с. 232.

⁴ «Июльская монархия», VI, с. 82.

⁵ «Если наука забывает об обществе для частного лица, она уже должна говорить, что исследования об обществе не ее предмет, а предмет какой-нибудь другой науки. Политическая экономия имеет другие притязания: она хочет говорить об обществе» («Милль», VII, с. 81).

¹ «Экономическая деятельность и законодательство», IV, с. 460.

² См., напр., IV, с. 311 («Критика философских предубеждений против общинного владения») или VI, с. 28 («Капитал и труд»).

³ «Антропологический принцип в философии», IV, с. 231.

⁴ «Милль», VII, с. 76.

Верховный принцип производства.—«Личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия производства, служащая мерилом для его успешности, бывает всегда строго пропорциональна степени участия личного интереса в производстве... В чем же состоит личный интерес? Он состоит в стремлении владеть вещью. Полное владение вещью называется правом собственности над вещью. Итак, личный интерес вполне удовлетворяется поступлением вещи в собственность. Поэтому энергия труда, т. е. энергия производства, соразмерна праву собственности производителя на продукт. Из этого следует, что производство находится в наивыгоднейших условиях тогда, когда продукт бывает собственностью трудившегося над его производством. Иными словами—работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук».

Верховный принцип распределения.—«Основною идеєю учения о распределении ценностей мы находим стремление к достижению... такого порядка, при котором частное число (количество ценностей, принадлежащих лицу) определялось бы посредством арифметического действия, где делителем ставилась бы цифра населения, а делимым цифра ценностей».

«Оба найденные нами принципа служат выражением совершенно одной и той же идеи стремления к одному и тому же факту, только с разных сторон. Действительно, когда мы берем значительную массу людей, то все индивидуальные различия сливаются в средней цифре... Поэтому из принципа о соединении труда и собственности в одних и тех же лицах и из права собственности каждого лица на продукты его труда прямо следует распределение ценностей, совпадающее с найденным нами мерилом наивыгоднейшего распределения, т. е. с распределением по средней цифре»¹.

На основе изложенного мы приходим к следующим трем методологическим основаниям теоретико-экономической системы Чернышевского.

Первое.—Политическая экономия рассматривается как наука социально-нормативного порядка. В одном месте Чернышевский прямо объявляет ее «частью нравственных знаний»². Задача политической экономии состоит в том, чтобы, найдя формулу «производства, находящегося в наивыгоднейших условиях труда», и формулу «наивыгоднейшего распределения ценностей», «открыть способы экономического устройства, при которых исполнялось бы это требование здравого смысла»³. Таким образом та внеисторическая, естественная катего-

¹ «Капитал и труд», VII, с. 12/14.

² «Антропологический принцип в философии», VI, с. 237.

³ «Капитал и труд», VI, с. 33.—Заканчивая «Милля», Чернышевский пишет: «Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке. Критикою господствующих понятий нам удавалось призодить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществляться эти принципы и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему устройству своих материальных отно-

рия, которая, будучи применена во всякое время ко всякому данному случаю, делает политическую экономию наукой, есть категория нормативная, ибо она характеризует социальную выгоду. «Наука,—разъясняет Чернышевский,—которая должна быть представительницею чело- века вообще, должна признавать естественным только то, что выгодно для человека вообще, когда предлагает общие теории. Если она обращает внимание на дела какой-нибудь нации в отдельности, она должна признавать естественными те экономические учреждения, которые выгодны для этой нации, т. е., в случае разделения между интересами разных членов нации, выгодны для большинства ее членов»¹. Но это значит, с другой стороны, что все те явления экономической жизни и все те экономические учреждения, которые противоречат изложенному определению выгоды, должны расцениваться наукой, как нарушение естественного порядка дел, т. е. как искусственные. «Искусственно то, что невыгодно»².

Второе.—Утилитаристский принцип становится исходной категорией политической экономии, выступая в своеобразной общественной форме проявления. Индивидуалистический по своей природе принцип производства имеет социальный коррелят в принципе распределения и через этот последний действует как «верховный принцип политико-экономических стремлений». Чернышевский сознает кардинальное значение своей идеи общественного проявления принципа экономического эгоизма. Он часто и подробно с цифровыми выкладками разъясняет «расчет общественной выгоды». Дело сводится к следующему: все потребности общества распадаются на группы по степени их настоятельности. От объема наличного в обществе труда зависит, в какой мере все потребности смогут быть удовлетворены. Так вот, расчет общественной выгоды заключается в том, чтобы не расходовать труд на удовлетворение менее настоятельных потребностей, пока не удовлетворены потребности более настоятельные. «Если хотите,—пишет Чернышевский,—вся сущность новой теории заключается в таком взгляде на различные роды экономической деятельности. Все остальное служит в ней—или развитием этого основного требования... или определением средств для того, чтобы приблизиться к его исполнению»³.

Характерен для Чернышевского способ логического перехода от «личного интереса» к «общественному расчету». Посредствующим звеном между субъективным и объективным оказывается среднее число.

шений» (VII, с. 616). В «Милле» же находим такую лапидарную формулировку: «Экономическая наука—медицина экономического быта» (465).

¹ «Капитал и труд», VI, с. 35/36.

² *Ib.*, с. 36—Свое понимание естественного и искусственного в экономической жизни Чернышевский подробно развивает в противовес «дикому, но чрезвычайно распространенному понятию об отношениях естественности и искусственности» среди современных ему буржуазных экономистов, т. е. среди вульгарных апологетов капитализма, выступающих против всякой регламентации экономических отношений. См. «Капитал и труд» (VI), а также «Экономич. деятельность и законодательство» (VI).

³ «Капитал и труд», VI, с. 33.

Оно выражает социалистическую идею равенства, но, выступая в абстрактном, чисто-статистическом смысле, это среднее число Чернышевского лишено какой бы то ни было экономической реальности. Проблема экономического об'ективирования индивидуальных хозяйственных стремлений у Чернышевского отсутствует. Могло ли быть иначе, если в гетерогенности целей в современном хозяйственном строе усматривается не больше, чем нарушение «наивыгоднейшего порядка»?

Третье.—«Основной предмет исследований политической экономии находится в теории распределения; производство занимает ее только как подготовку материала для распределения» (VI, с. 14). Поскольку социальные проблемы хозяйственной жизни переносятся Чернышевским в сторону распределения, это положение само собою разумеется. Однако его следует понимать своеобразно. Чернышевский конечно видит социальную функцию и социальную окрашенность производства. Но что именно формы производства являются первоуродным социальным комплексом, предопределяющим формы распределения,—этого Чернышевский не понимал; даже самый термин «форма производства» употребляется им в организационно-техническом смысле (напр., крупное и мелкое производство, ручное и машинное производство и т. д.). Производство, по Чернышевскому, стоит вне круга собственно-экономических проблем. Но оно дает базу и критерий всей экономической жизни, ее исходный и конечный пункты, основу «окончательного баланса». Производство составляет для собственно-экономических явлений внешнюю предпосылку, нечто, дающее *извне* готовый принцип деятельности, готовую и естественную форму, готовое, непререкаемое и остающееся равным себе *задание*, которое должно быть разрешено распределением и которое может быть правильно решено лишь помощью некоей адекватной и единственной системы распределения, столь же естественной, как и принцип производства. Но исторически возникают иные, противоестественные системы распределения, и возникают они совершенно независимо от задач производства и часто вопреки им ¹. В этих случаях неизменный принцип производства указывает, в каком смысле требуется выправить извращенную форму распределения, чтобы создался естественный строй хозяйственной жизни, а экономическая наука отыскивает пути и средства его установления.

¹ «Какая же тут неизменность законов распределения, когда распределение видоизменяется по множеству разных общественных отношений, созданных почти всегда историческими обстоятельствами, совершенно независимыми от экономических принципов и по большей части прямо противоречащими им? Разве политико-экономическими принципами был устроен общественный быт при завоевании Римской империи варварами, или во времена феодализма или даже в позднейшие, хотя бы в наши времена? Разве он еще не подчинен господству влиятельней, гораздо сильнейших, чем здравый экономический расчет? Разве из здравого экономического расчета велись войны при Наполеоне I,— войны, разоряющей которых решен был экономический быт Европы? Разве по экономическому расчету завладела и хочет продолжать владеть Алжирною Франция? Разве по здрагому экономическому расчету устроились и сохраняются поземельные отношения в Англии?» («Милль», VII, с. 309/10.— Курсив наш.— Э. Л.).

Чтобы выразить этот круг мыслей, Чернышевский пользовался миллевским противопоставлением производственных и распределительных категорий. И это было с его стороны неудачно. «Рутинные политико-экономы выставляют все части экономического быта одинаково независимыми в своих основных чертах от соображений человека о лучшем устройстве человеческого быта. На самом же деле принципы одной только части экономического быта, именно производства, полагаются на человека с необходимостью физических законов,— остальные элементы экономического быта устраиваются уже самим человеком и вполне подлежат власти исторических обстоятельств» ¹. В этой формулировке, скопированной с Милля, не могла найти себе выражения существенная идея Чернышевского о своеобразном— внешнем, абстрактном, непосредственно как бы внеэкономическом— примате производства над распределением. В этом шатком и в своей абстрактности бездейственном примате производства нельзя не видеть движения какого-то нового ряда мыслей, находящихся в совершенно зародышевом состоянии, быть может даже только в состоянии предчувствия, но уже ищущих себе проявления. В дальнейшем мы увидим, как временами гениальная интуиция Чернышевского прорывает эту смутную конструкцию—и под псевдонимом распределительных форм порою выступают перед нами отношения производства. Но до теоретического познания Чернышевского эти всплески научной проницательности не доходят, они остаются за пределами его экономической системы.

2.

Чернышевский, как мы видели, знал историческое место старой политической экономии и понимал необходимость преодолеть ее путем пересмотра ее содержания с новой классовой точки зрения ². Приведем вторично определение внутреннего противоречия старой школы, данное Чернышевским: «А. Смит не заметил разницы между содержанием своей теории, соответствующей экономическому положению среднего сословия, с основным своим учением о труде, как источнике всякой ценности».

В учении о труде, как источнике ценности, Чернышевский видит главную заслугу смитовской школы, и считает, что этим учением заложено начало политической экономии, как науки. Чернышевский целиком принимает его и строит на нем, как мы видели, свой верховный

¹ «Милль», VII, с. 307.

² «Теория феодалов выражала интересы людей, совершенно чуждых производству и понятию обмена; потому мало найдется в ней пригодного для экономических потребностей общества, и мы совершенно согласны с отсталыми экономистами в том, что меркантильная система была ошибочна в своих основаниях. Этого нельзя сказать о теории отсталых экономистов. В ней есть элементы совершенно справедливые и для того, чтобы получить теорию, удовлетворяющую истинным условиям общественного благосостояния, нужно только со всей точностью развить основные идеи, из которых выходит господствующая система, но которые или не хочет она развивать, или подавляет примесью враждебных с ними понятий» («Капитал и труд», VI, с. 28).

принцип производства. Но в чем заключается то влияние, которое вносится в теоретическое построение классиков «экономическим положением среднего сословия», которое противоречит учению о трудовой ценности и которое должно быть устранено из политэкономии новыми экономистами? Это — «наследство меркантильной теории, или лучше сказать, отростки того же корня, из которого некогда выросла она»¹, отвечает Чернышевский. «Школа Смита еще не умеет совершенно очиститься от меркантильных воззрений, и с своего собственного глубокого и чисто научного вопроса: «как происходит дело?» беспрестанно сбивается на меркантильный вопрос: «Кто дает деньги на это дело? кому достается денежная выгода от него?»². Она пользуется «неудовлетворительными приемами поверхностного анализа», «рассматривая экономические явления, как они представляются в меркантильном свете обмена при посредстве денег, или смешивая временные формы экономического устройства с коренною сущностью явлений, проходящих ныне через эти формы в известных странах, проходящих через другие формы в других странах и проходивших через третьи формы в прежние времена»³.

Чернышевский, следовательно, не только понимал социально-историческое место классической школы, он чувствовал и брался определять то, что впоследствии Маркс раскрыл как борьбу экзотерического и эзотерического начал в Смитовской политической экономии. «Через всю теорию школы», — пишет Чернышевский, — «проходит раздвоение понятий и беспрестанное спутывание одной системы воззрений, чисто научной, идущей к корню вещей, с другою системою, принадлежащею к разговорному языку и поверхностному образу мыслей людей, непривыкших к отвлеченному мышлению»⁴. Это внутреннее противоречие старой теории Чернышевский делает исходным пунктом для построения новой теории. Не так ли поступил и Маркс? Не таков ли, следовательно, путь создания социалистической политической

¹ «Милль», VII, с. 29.

² *Ib.*, с. 78.

³ *Ib.*, 156. — Очень важно следующее место из «Милля» же: «В предмете, где все зависит от расчета, Смитовская теория, подобно меркантильной, забывает довести счет до конца, прекращает счет на половине его, как меркантильная теория прекращала на первой строке; она подвигается несколькими строками дальше, потому подходит несколько ближе к истинному выводу, но все-таки до настоящего баланса не всегда умеет досчитаться. Меркантильная система останавливалась на факте заграничной торговли; Смитовская теория идет несколько глубже и находит, что заграничная торговля только часть обмена вообще. Но собственно на этом она и останавливается: о факте, который лежит в основе всего, о производстве она говорит много превосходно, но отворачивается от расчета отношений между коренными элементами его: человеческими потребностями, количеством рабочих сил и количеством времени, на которое запасено продовольствие. Оттого, что она не держится твердо этого окончательного баланса, все прекрасное, что говорит она о производстве, пропадает бесплодно, и теория распределения выходит в ней не результатом строго научного анализа, а просто изложением довольно безобразной рутины... а над всем этим возвышается понятие обмена будто живительного начала, без которого не было бы возможно почти никакое производство» (с. 29).

⁴ *Ib.*, с. 125.

экономии? Да, так. Да, таков. Но ощущая с огромным историческим критическим тактом противоречие буржуазной политэкономии, Чернышевский не обладал ключом к его уразумению.

От Маркса мы знаем, что противоречие эзотерического и экзотерического элементов у классиков заключалось в столкновении научного объяснения законов капиталистического способа производства с вульгарным толкованием этих законов, порожденным психологией конкурента. Такая оценка классиков Чернышевскому недопустима. Сообразно всей своей методологической установке, он отрицает самое существование организационной системы законов капиталистического производства. Законмерности современного экономического быта представляются ему лишь извращением естественного экономического принципа внешними и чуждыми этому принципу обстоятельствами, подобно тому как буржуазной экономии эти законмерности кажутся нерушимым воплощением естественного экономического принципа¹. По существу научный метод Чернышевского не дает для противопоставления буржуазной апологетике ничего, кроме социалистического осуждения капиталистического строя. На эту позицию наивности его загоняет последовательное применение им своего метода. В самом деле. Посмотрите странную аргументацию Чернышевского против «меркантильного воззрения» буржуазной экономии, бессильную аргументацию, в которой гаснет блестящая искра его теоретической интуиции: ненаучность Смитовской школы в том-де заключается, что при исследовании законов менового хозяйства она исходит из обмена и денег; или что при изучении капиталистического способа производства она ставит во главу угла вопрос: «кто

¹ Чернышевский отказывается считать нормальной, разумной стихийную регуляторную систему капитализма. По поводу взгляда рутинных политэкономов, что «все рассчитывается и улаживается без помощи сознательного рассуждения со стороны общества, естественным действием механизма цен и индивидуальных интересов», Чернышевский пишет: «Есть ли из бесчисленных сил природы и человеческого организма хоть одна, которая сама собою, без управления сознательным человеческим соображением, действовала бы так, как нужно для пользы человека? Что же за исключение были бы из общих законов природы и человеческого организма экономические наклонности и пружины действия, если бы каждая из них сама собою постоянно действовала именно так, как полезно для целого человека, если бы действия каждой из них в отдельности не нуждались в подведении к общим выгодам целого организма? Это — слишком изрядное подобие мнению» («Милль», VII, с. 333/35).

Еще характернее отношение Чернышевского к естественным законам буржуазной политэкономии выражено в анонимной рецензии (Чернышевским написанной?) на книгу Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего», помещенной в «Современнике» 1861, март. «Автора тревожит, — пишет рецензент, — то опасение, что если и будет отыскан уравнительный закон, то где взять силу, поддерживающую этот закон? Ответ на это очень прост: да она будет заключаться в том же самом законе... Нас скорее занимает другой вопрос: где берется сила поддерживать худой порядок вещей, как теперь сносят люди совершенное уничтожение своей личности?.. Ведь различного рода порядки, нуждающиеся во внешней силе для своей поддержки, могут существовать только при отсутствии здравого смысла в устройстве дел человеческих. Пусть здравый смысл будет основанием этого устройства, он же самый будет и силой, поддерживающей его».

дает деньги, кому достается денежная выгода»; или что она «смешивает временные формы экономического устройства с коренною сущностью явлений, проходящих через эти формы». Мы уже знаем, что, противопоставляя коренную сущность явлений временным формам экономического устройства, Чернышевский имел в виду отделить естественные, истинные, в природе вещей заложенные законы экономического общежития от «уклонений от нормального, естественного экономического порядка»¹, вызванных «историческими обстоятельствами, совершенно независимыми от экономических принципов и по большей части — прямо противоречащими им». Было бы еще с полбеда, если бы под коренной сущностью явлений Чернышевский понимал некоторые общие (абстрактные) определения всякой экономической формы (экономической формы, как таковой), каковы, напр., понятия труда, производительных сил, производственных отношений, общества и т. д. Но как мы знаем, «коренная сущность явлений» Чернышевского — это совершенно конкретная экономическая форма, некогда ушедшая от самой себя и ныне вновь возвращающаяся в себе через гору препятствий, нагроможденных случайностями исторического процесса. Чернышевский выдвигал на первый план проблему разумного распределения труда в обществе. В этом сказалось его прекрасное чутье жизни. Здесь, действительно, стержневая проблема экономической науки. Но Чернышевский не понимал, что самое-то разумное есть историческое явление и притом не стоящее вне данной «временной» экономической формы, а порожденное, даже рефлектированное ею. Каким невозможно трудным, каким трагичным делом должны оказаться критика буржуазной политической экономии и закладка социалистической экономической теории для человека, который не знал, что каждый хозяйственный строй имеет свой специфический «разум», состоящий просто в том, чтобы из года в год воспроизводить в чистоте этот же хозяйственный строй...

После изложенного становится понятным следующее противопоставление новой и старой теорий, в котором Чернышевский резюмирует свои основные политико-экономические идеи.

«Прежняя теория провозглашала товарищество между народами, потому что благосостояние одного народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет: и потому все должно принадлежать труду; прежняя теория говорила: непроизводительно никакое занятие, которое не увеличивает массу ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет: непроизводителен никакой труд, кроме того, который дает продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества, согласных с расчетливою экономией. Прежняя теория говорит: свобода труда; новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящегося»².

¹ «Милль», VII, с. 156, 440.

² «Капитал и труд», VI, с. 44.

Рассуждения Чернышевского о стоимости, по систематизации их и освобождении от некоторых противоречий изложения (связанных с недоделанностью), выступают в виде стройной, логически развернутой теории, непосредственно соприкасающейся с основными методологическими положениями автора. Поэтому, хотя стоимость не представляет для него ни исходной, ни стержневой, ни универсальной категории, а значит и учение о стоимости не является в политической экономии Чернышевского определяющей теорией, однако взгляды Чернышевского на стоимость должны быть рассмотрены сразу после общеметодологических предпосылок. К тому же они открывают ретроспективный взгляд на эти последние.

Чернышевский употребляет пять терминов при изложении своих взглядов на стоимость. Расположим понятия, выражаемые этими терминами, в логическом порядке.

Во-первых, *цена*. Это непосредственно данное явление обмена, денежное возмещение за товар при обмене. «Четверть пшеницы стоит 5 рублей, за рабочий день плотнику платится 1 рубль, за кубическую сажень березовых дров 15 рублей. Это цены»¹.

Во-вторых, *меновая ценность*. «Меновая ценность вещи есть покупательная сила вещи, степень власти к приобретению других вещей взамен за эту вещь». Если в приведенных примерах отбросить слово рубль, «станутся меновые ценности, состоящие в цифре 5, 1, 15. Имея только эти цифры, вы уже будете рассматривать не то, сколько денег нужно на покупку известной вещи, а то, в какой пропорции одна вещь обменивается на другую... В этом самом отношении, в этой пропорции и заключается сущность дела». «При нынешнем устройстве общества меновая ценность вообще совпадает с ценою, потому что очень долго эти два понятия смешивались не только практикой, а даже и теорией»². При этом «меновая ценность каждого товара беспрерывно колеблется на рынке, если экономическая жизнь страны идет довольно деятельно»³. Эти колебания подчиняются «основному закону меновой ценности»⁴, который состоит в том, что «меновая ценность вещей имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу»⁵.

В-третьих — *натуральная или средняя ценность*. Чернышевский понимает, что рыночными отношениями его «меновая ценность»

¹ «Милль», VII, с. 418.

² *Ib.*, с. 418.

³ *Ib.*, с. 486.

⁴ *Ib.*, с. 421.

⁵ Механизм, которым этот закон действует, следующий: «От увеличения ценности запрос уменьшается, а снабжение возрастает; от уменьшения ценности бывает прогивное. Потому, если при известной высоте ценности, запрос будет больше снабжения, ценность предмета станет возвышаться, пока снабжение увеличится, а запрос уменьшится настолько, что оба эти элемента сравняются. Если же, наоборот, снабжение будет больше запроса, тот же результат будет произведен понижением ценности» («Милль», VII, с. 420).

может целиком определяться лишь в немногих товарах, количество которых вовсе не может увеличиваться, и, в известном смысле, в товарах, производимых монополично¹. Относительно же всех прочих товаров приходится констатировать изменение меновых ценностей независимо от колебаний на рынке, а именно «медленное изменение натуральных или средних ценностей». «Это постепенное возрастание или уменьшение от перемен в стоимости труда»².

В-четвертых, *стоимость производства*. Все товары, имеющие среднюю или натуральную ценность, «подводятся под силу уравнения запроса и снабжения косвенным путем, посредством элемента, называемого стоимостью производства»³. «Она складывается из меновой ценности труда, употребленного на предмет, и прибыли на этот труд»⁴. «Точка зрения, с которой возникает идея стоимости производства—точка зрения производителя, и собственно только производителя, покупающего труд у наемных работников»⁵.

В-пятых, *внутренняя ценность*. Это—«коренное понятие о количестве труда»⁶. Следовательно, внутренняя ценность товара определяется просто количеством труда, потребным для его производства. Эту-то внутреннюю ценность Чернышевский имеет в виду, когда объявляет труд единственным источником всякой ценности.

Таковы—в схематическом виде—представления Чернышевского о стоимости. Не станем вылавливать частичные неточности, неправильности и прямо несуразности, которых в схеме не мало. Уясним себе общий смысл изложенной теории стоимости, а он действительно полон интереса. С самого начала вы с радостным изумлением следите за движением мысли Чернышевского. Вы мало-помалу перестаете замечать небрежности, наивности и даже грубые ошибки, обильно сопровождающие ход анализа. Вас еще гнетет почти непрерывное и поспешное подчеркивание Чернышевским своего согласия с Миллем даже там, где Милль нелепо поверхностен, но и это чувство недоумения начинает вас покидать по мере того, как вы втягиваетесь в основную линию мыслей Чернышевского. Вы видите, что Чернышевского не интересовали детали. И вы легко прощаете ему это, и в сером нагромождении ненужностей, непонятностей, несуразностей вы по блескам анализа подвигаетесь от одной вехи к другой. Какая непреложная логика в этом снимании покрова за покровом, в которые укутана «коренная сущность» хозяйственного явления при капитализме! С методичностью твердого и ясного ума направляется Чернышевский к цели своего анализа—к «внутренней ценности» вещей. Вот уже пройдена и оставлена позади и в то же время углублена проторенная дорожка «рутинной» политэкономии. Но шаг не задерживается. Взгляд назад—но позади, в истории политэкономии, лишь смутные

¹ «Милль», VII, с. 421.

² *Ib.*, с. 485/86.

³ *Ib.*, с. 421.

⁴ *Ib.*, с. 438.

⁵ *Ib.*, с. 492.

⁶ *Ib.*, с. 438.

предчувствия отцов науки, затерянные среди внешних форм, этих обманчивых плодов буржуазной точки зрения, предчувствия бессильные и чуждые всей тенденции старой школы. Взгляд на современников,—но среди эпигонов старой школы воспевание капиталистического строя, вера (и уверения!) в его предначертанность, непреложность и в его идеальность, а отсюда—тупое и корыстное удовлетворение поверхностными констатированиями, отсутствие потребности в теоретическом анализе. Нет, надо идти дальше!.. И вас охватывает волнение при виде того, как Чернышевский берется за разрешение той проблемы, ответ на которую, увенчал теорию стоимости Маркса и явился окончанием более чем столетних исканий экономической науки. Вам кажется, что Чернышевский видит контуры проблемы. Разве он не говорит, что стоимость производства не совпадает с внутренней стоимостью, т. е. с количеством труда, *потому, что труд становится наемным трудом?* Разве не поднялся он этим своим утверждением выше самого Рикардо? И разве не ручается за успех изумительное резюме, гласящее что «точка зрения, с которой возникает идея стоимости производства—точка зрения производителя, покупающего труд у наемных работников?»

И вот решительный шаг сделан... Но что случилось?... Вы вдруг замечаете, что «внутренняя ценность» это не только «коренное понятие о количестве труда», но и потребительная стоимость предмета! «Чтобы предмет имел меновую ценность»—читаете вы—«нужно быть ему годным на известное употребление,—по мнению покупателя. На языке политической экономии это выражается так: меновую ценность имеют только те предметы, которые имеют внутреннюю ценность»¹. Вы почти физически ощутили, как мысль Чернышевского ударились о стену его метода—и разбилась. Вы видите, как обессиленная, размякшая, обесцвеченная она расплывается и смыкает контуры проблемы, отчетливость которых вас только что так радовала и обнадеживала. Вы с болью принимаетесь снова перелистывать очаровавшие вас страницы... Нет, этот трагический конец не случаен. Вы видите теперь, что яркая, стремительная и самостоятельная мысль Чернышевского с первых же шагов отравлена. Вы обращаете теперь внимание на то окружение, в котором пронесился увлекший вас поток мысли и которого вы не замечали. И что же? То, что казалось вам при первом чтении досадным, но внешним и устранимым нагромождением основной мысли, все это обилие наивных оплошностей и смешных ненужностей—л одновременно невнимание к нелепым деталям Милля,—зырастает перед вашим взором в довольно законченную систему взглядов, общий смысл которой уже знаком нам из предыдущего изложения.

Вглядываясь ближе в пятичленную схему Чернышевского, не так трудно обнаружить, что в основе ее лежит характерная для него идея, что естественные, в сущности вещей заложенные, экономические определения и нормы нарушаются и извращаются при капита-

¹ «Милль», VII, с. 420.

лизме. «Истинный смысл вопроса» об экономических ценностях в том, что они всецело определяются и измеряются трудом, что, следовательно, расчет общественной экономической выгоды при естественном нормальном порядке дел строится на трудовых определениях входящих в этот расчет элементов. Вопрос об *измерении* ценностей занимает, следовательно, центральное и определяющее место. «Непрерывные колебания меновой ценности возмущают вопрос: неужели же нет для ценностей никакой общей нормы, которая могла бы их измерять довольно прочным образом?» Дело в том, что «избранный мериллом других ценностей товар сам изменяется в своей ценности, и невозможно приискать товара, ценность которого оставалась бы всегда неизменной. Но в словах о труде, как верном мерило чего-то похожего не на меновую, а на внутреннюю ценность или на стоимость производства, проглядывает истинный смысл вопроса»¹. Если в естественном экономическом строе и можно говорить о меновой ценности и стоимости производства, то лишь как об иных выражениях или иных способах рассмотрения все той же внутренней ценности вещей, ибо в нормальном строе ни меновая ценность, ни стоимость производства количественно не могут от нее отклоняться. Не то в современном хозяйственном строе, который собственно и порождает идеи (категории) цены, меновой ценности и стоимости производства. Здесь определение отношений обмена внутренней ценностью вещей оказывается невозможным—по двум причинам:

Первая причина—конкуренция, «господство принципа соперничества в современном хозяйственном строе». Рутинные экономисты исходят из непреложности этого принципа. Между тем экономический расчет может производиться и без него. Мало того, он происходит без него на наших глазах в огромном количестве случаев, ибо принцип соперничества «применяется лишь к одному из обстоятельств экономической жизни—к феномену покупки и продажи»². По сравнению с теми формами, каких требует разум, соперничество обнаруживает существенные недостатки³. «Соперничество знакомит только с результатом, а не с методом, которым достигается результат». Но «каковы способы и средства, точно такова же и норма оценки. Она ставится вне предмета, в его случайной принадлежности,—в продаже и в цене... Коренной недостаток соперничества тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его (не стоимость, а цену)»⁴.

¹ «Милль», VII, с. 486, 489. Его «не умели ясно представить себе Адам Смит и Мальтус», а их «последователями он был понят как вопрос о меновой ценности».

² «Мы знаем, что все те труды и продукты, которые идут на собственное потребление производителя, не поступая в продажу, остаются неподвластны соперничеству... Мы спрашиваем: неужели эти труды совершаются без всякого расчета экономической выгоды?» Дальше следует пример домашней хозяйки, производящей огромное число работ, не выходящих за пределы семьи («Милль», VII, с. 320/21).

³ «Милль», VII, с. 322/23.

⁴ Ib., с. 323/26.

Вторая причина—наемный труд, то, что «труд становится товаром», В чем «сходство и разница между взглядом на количество труда, как норму ценностей, и тем понятием, которое известно в господствующей теории под именем стоимости производства»? «Близость этих идей так велика, что поражает с первого взгляда: и там и здесь считается количество труда, употребленного на производство предмета. Но в стоимости производства считается, кроме труда, прибыль, да и самый труд принимается только как стоимость рабочей платы. Точка зрения, с которой возникает идея стоимости производства,—точка зрения производителя, и собственно только производителя, покупающего труд у наемных работников»¹. Поэтому через отклоняющее действие стоимости производства меновая ценность «отделяется от внутренней, когда бывает товаром человеческий труд»².

Итак, Чернышевский с большим остроумием и с большой логической силой строит своеобразную теорию стоимости, которая должна заключать, во-первых, некий внеисторический верховный принцип ценности, нарушением коего должен характеризоваться буржуазный экономический строй, и во-вторых, те формы, через посредство которых это нарушение происходит. Верховный принцип ценности, естественно, должен отражать в себе уже знакомый нам «верховный принцип всякого экономического стремления», состоящий в своеобразном согласовании труда и потребностей; отсюда—определение внутренней ценности, с одной стороны, как трудовой, с другой стороны, как потребительной стоимости. Далее, по Чернышевскому все социально-исторические стороны хозяйственной жизни относятся к распределению; отсюда—и проблемы стоимости не могут иметь отношения к производству, учение о котором должно быть дано вне всякой связи со стоимостью. Далее, верховный принцип ценности в своем истинном, разумном, ненарушенном содержании должен мыслиться как твердая мера общественного экономического расчета, основанная на внутренних качествах вещей и единая во всех своих проявлениях; отсюда—рассуждения о неудовлетворительности расчета, основанного на цене, и связывание внутренней ценности с вопросом о прочной норме ценностей; отсюда же—положение, что при естественном порядке хозяйства стоимость производства и меновая ценность предметов совпадают с их внутренней ценностью; отсюда же—сложная и, конечно, надуманная классификация потребностей с тщательным рассуждением, какие из них и в какой мере соизмеримы³. Наконец, верховный принцип ценности, в соответствии с общей установкой Чернышевского, не абстрактная форма, а тот конкретный метод общественного расчета, при котором хозяйственная жизнь людей была бы наилучшим образом устроена, к которому, следовательно, надо стремиться и который явится завершением человеческого прогресса; отсюда—стержень рассуждений Чернышевского проходит в плоскости

¹ Ib., с. 491/92.

² Ib., с. 452.

³ Эта классификация чрезвычайно подробно излагается в «Милле» (VII, с. 439 и след.).

должного, желательного, разумного, и научный критерий густо переплетается с социально-этическим и утопическим¹. И то обстоятельство, что в современном хозяйственном быту стоимость производства и меновая ценность отрываются от внутренней ценности, является для Чернышевского дополнительным и неоспоримым доказательством неестественности этого быта и, следовательно, нерушимым свидетельством необходимости исправить эту неестественность, что можно сделать лишь приведя формы и методы экономического расчета в непосредственное соответствие с внутренней ценностью вещей.

Но от Маркса мы знаем, что исторический характер капиталистической системы хозяйства вовсе не в том заключается, что ложные социальные формы извращают естественные законы хозяйственной жизни. Совершенно напротив. Как и всякая экономическая формация, капитализм есть исторически определенный способ общественного производства, которому соответствует неповторимая система экономических закономерностей, представляющих единообразный синтез натурально-технических и социальных сторон хозяйственного процесса в эпоху капитализма. Эта система закономерностей *совершенно естественна*, как в том смысле, что она составляет естественно-необходимую, адекватную форму организации производительных сил на некоторой и вполне определенной ступени их развития, так и в том смысле, что она сама в себе представляет естественно-расчлененное и естественно-связанное регуляторное единство, основой которого служит закон стоимости. Поэтому «внутренняя ценность» вещей при капитализме носит на себе печать исторической определенности формы (Formbestimmtheit—по Марксовской терминологии) процесса производства, а значит и всего хозяйственного уклада. Способ общественного экономического расчета при капитализме не может быть извращением несуществующего внеисторического («истинного») принципа ценности. Он, напротив, должен составлять единственно возможное осуществление специфически капиталистического принципа «внутренней ценности» экономических благ.

4.

В широком смысле слова метод составляет общую предпосылку научной системы, содержащую в себе эту систему, как некоторую абстрактную ее форму, в которой система существует как потенция, как замкнутая в себе и еще не реализовавшаяся в качестве науки сум-

¹ Напр., раз'яснив метод расчета, основанный на цене, Чернышевский резюмирует: «Такая шаткость никуда не годится; при ней невозможен никакой путный порядок в экономической деятельности» (VII с. 319). Или: «коренной-то вопрос состоит в том: следует ли труду быть товаром, следует ли ему иметь меновую ценность?» (436)... И вообще, задачу той части книги, которая говорит о ценности, Чернышевский определяет следующим образом: «Рассмотрев законы меновой ценности, исследуем вопрос о том, какое влияние на экономическую судьбу общества должна производить та неизбежная перемена, когда при развитии рассудительности люди станут прилежнее нынешнего всматриваться во внутреннюю ценность предметов» (417).

ма представлений (знаний) о предмете. Логически развернутая научная система, исходя из своего метода, приводит к нему обратно, ни в одном пункте, однако, не покидая его, в каждом пункте выражая и подтверждая его. Будучи условием научной системы, он является в то же время самым чистым ее результатом, в котором она освобождена от опосредствований и случайностей конкретных дифференциаций и конкретных усложнений своего предмета. Метод политэкономии Чернышевского, понимаемый в таком широком смысле, мы раз'яснили выше: Теперь мы должны немного задержаться на «гипотетическом методе» Чернышевского.

«Гипотетический метод исследования» (выражение самого Чернышевского) представляет метод лишь в узком смысле слова. Это—практический прием, которым следует пользоваться при решении экономических проблем. Он противопоставляется «методу разбора статистических данных». Это метод упрощения изучаемых проблем посредством научного абстрагирования¹, однако имеющий своеобразные черты. Именно: это—«прием математический»; «иначе и быть не может»—поясняет Чернышевский,—«потому что предмет науки—количества, подлежащие счету и мере, понимаемые только через вычисление и измерение». Таким образом, гипотетический метод Чернышевского есть применение упрощенных, предположительных, гипотетических расчетов для решения экономических проблем. «Имея математический характер, гипотетический метод в сущности всегда действует цифрами», но конечно «абсолютной величине цифр не приписывается тут никакой важности; важность только в том, увеличилась или уменьшилась известная пропорция от перемены в цифре того элемента, характер которого мы хотим узнать. Больше будет или меньше будет,—вот все, что нам нужно знать, чему мы придаем важность»..

• В логически развернутой системе (а политико-экономическая система Чернышевского именно такова), метод в узком смысле определяется методом в широком смысле, т. е. методологическими основаниями, на которых развивается система. Действительно, между выше раскрытыми методологическими принципами экономических взглядов Чернышевского и гипотетическим методом полное соответствие. Гипотетический метод есть способ применения а) общественной точки зрения, но б) лишенной социально-исторической определенности, так как в) она является точкой зрения внеисторической, естественной формы экономического общежития, а следовательно подчиненной

¹ «Этот метод состоит в том, что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и прискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаружил бы свой характер самым несомненным образом, прискивать задачи самого простейшего состава. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он в запутанной задаче, отложенной нами до этой поры» («Милль», VII, глава о гипотетич. методе; из нее же дальнейшие цитаты).

математическому разуму ¹, и так как г) реально-существующий экономический строй рассматривается под призмой уклонения от абстрактной общественной системы, угол же уклонения должен быть измерен математически, вследствие чего д) даваемые гипотетическим методом ответы: «больше—меньше», «увеличивается—уменьшается» приобретают характер указаний—«польза—вред», «выгода—убыток»,—т. е. указаний, требуемых нормативной установкой политэкономии Чернышевского ².

Э. Лейкин

(Окончание следует)

К ТЕОРИИ КОН'ЮНКТУРЫ «СОВЕТСКИХ» БУРЖУАЗНЫХ ЭКОНОМИСТОВ

1. Общие замечания¹

Теория кон'юнктуры буржуазных экономистов претендует на объяснение циклической формы воспроизводства, внутренне присущей капиталистическому хозяйству и составляющей его отличительную особенность. Но циклическая форма воспроизводства с внезапными кризисами, как неизбежными этапами в ее развитии, представляет собой наименьшее из удовольствий, получаемых агентами капиталистического производства в этом лучшем из миров. Кризис в резкой форме вскрывает перед массами и самими капиталистами всю совокупность противоречий, лежащих в основе капиталистического способа производства, демонстрируя его неустойчивость и напоминая о неизбежности коренного разрешения этих противоречий путем уничтожения самого капитализма. Послевоенная обстановка, когда, наряду с капиталистическим хозяйством, существует прообраз другой формы хозяйства, призванной сменить капитализм, делает это напоминание несравненно более ярким и угрожающим.

В таких условиях перед буржуазной экономией, работающей на ниве укрепления капиталистических основ, встает целый ряд задач по линии оправдания капитализма, с одной стороны, и оклеветания советской формы хозяйства и социалистического способа производства,—с другой. Прежде всего, представителям буржуазной науки необходимо «доказать», что циклическая форма воспроизводства не является чем-то имманентным капиталистическому способу производства и представляющим собой единственную форму, в которой возможно капиталистическое развитие. Им нужно доказать, что циклические колебания представляют собой отклонения от линии равномерного роста («векового движения») капиталистического хозяйства, якобы составляющего его основную особенность, небольшие нарушения этого равномерного роста, вызываемые либо диспропорциями между различными частями хозяйственного организма, либо случайными причинами экзогенного характера, как урожаи и неурожаи,

¹ Исходя из такой мысленно-существующей формы хозяйства, Чернышевский был в праве писать: «Политико-экономические вопросы решаются посредством гипотетического метода с математической точностью».

² Последнее невольно напоминает «моральную арифметику» Бентама, писателя, к которому Чернышевский, как мы уже знаем, имел основание относиться хорошо. Действительно, он ставит Бентама в один ряд со Смитом и Рикардо.

¹ Статья закончена в июне 1928 г., вследствие чего в ней нет отклика на появившиеся после этого срока работы по затронутым в статье проблемам. Мы рассчитываем еще раз вернуться к разбираемому вопросу и тогда дать оценку того нового материала, который не охвачен настоящей статьей.

открытие больших залежей золота, мода и т. п. Определенная группа представителей буржуазной экономики с «успехом» этим занимается. Другая группа, не решающаяся отрицать имманентный характер циклической формы воспроизводства при капитализме, ограничивается отрицанием того, что кризис является необходимым запом в развитии этой формы. Зато они вознаграждают себя тем, что увековечивают эту форму и любезно приписывают ее социалистическому и переходному хозяйству. Впрочем, и первая группа не отстает от них, на том основании, что случайные причины экзогенного характера, равно как и плановые просчеты, ведущие к диспропорциям между различными отраслями хозяйства, могут иметь место и при социализме и еще в большей мере в переходном периоде.

«Советские» буржуазные экономисты примыкают к самому крайнему крылу буржуазной идеологии. В завуалированной форме, их «творения» содержат в себе наиболее беззастенчивое оправдание капитализма и наиболее бесстыдную клевету на социализм и советскую форму хозяйства. Это и понятно, т. к. буржуазные идеологи в СССР являются авангардом мировой буржуазии в ее идеологической борьбе против социализма. Обстановка непримиримой классовой борьбы в Союзе, где дело идет о полном уничтожении капиталистического класса и буржуазных отношений, требует со стороны буржуазных теоретиков борьбы, в которой все средства хороши, лишь бы они достигали цели. Впрочем, неразборчивость в средствах была всегда отличительной чертой «надклассовой» и «об'ективной» буржуазной науки.

Наиболее яркими представителями буржуазной теоретической мысли в СССР в области теории кон'юнктуры являются профессор Кондратьев, Первушин и Шапошников. Рассмотрению их построений мы и посвящаем настоящую статью, привлекая примыкающих к ним экономистов лишь постольку, поскольку работы этих последних могут внести дополнительные штрихи в характеристику указанных теоретиков.

По своему общему мировоззрению вышеназванные экономисты примыкают к англо-американской (Первушин, Кондратьев) и математической (Шапошников) школам политической экономики. Этим в известной степени определяется то, что эти лица, по крайней мере первые два, могли занять передовые позиции в борьбе против марксизма в СССР на таком участке ее, где буржуазная экономика является наиболее беспомощной и подверженной ударам. Теория англо-американской школы является в данном случае наиболее подходящим из имеющихся в распоряжении буржуазной экономики орудий борьбы. Оснований для этого много:

1) боевое оружие буржуазной идеологии конца прошлого и начала текущего столетия—теория австрийской школы—успело весьма сильно притупиться от многочисленных атак, произведенных на него не только маркссистами (Бухарин и др.), но и сторонниками так наз. социального направления в политической экономии (Штольцман, и др.). Далее, австрийская теория совершенно не в состоянии как

бы то ни было об'яснить явлений капиталистической динамики. Полное банкротство ее в этом отношении признано самими представителями австрийской школы. Между тем, в теории кон'юнктуры дело идет именно о явлениях капиталистической динамики;

2) теория австрийской школы представляет собой попытку построения строго последовательной и монистической теории, противоположной стройной и законченной системе марксизма. Исходные пункты, методология и выводы обеих этих теорий полярно-противоположны. Эта противоположность марксизму на каждом шагу подчеркивается австрийскими экономистами, ибо теория предельной полезности имела своей основной целью поразить марксизм в самое сердце и уничтожить то влияние, которым он пользовался и которое проникло даже в среду некоторых буржуазных идеологов (напр., Зомбарт в Германии, представители легального марксизма: Струве, Туган, Булгаков и др. в России).

В стране пролетарской диктатуры, где марксизм является господствующей теорией, концепцией, которой правящий класс руководится в области всей своей практики, на пропаганде воззрений, созданных как полная противоположность марксизму, далеко не уедешь. Для того, чтобы буржуазная теория могла здесь пользоваться каким-либо успехом, она не должна выпячивать своей противоположности марксизму, а, наоборот, подчеркивать моменты своей близости к нему. Наиболее подходящей для такой мимикрии является теория американской школы. Американская буржуазия не имела столь сильного теоретического противника, каким был для буржуазной идеологии марксизм в Европе. Поэтому ей незачем было стремиться к построению монистической теории, в корне противоположной марксизму, какой была теория австрийской школы. Теория Кларка и его последователей является эклектической. Внешне сближает ее с марксизмом то, что производство Кларк, в противоположность австрийцам, рассматривает, как господствующую категорию политической экономики, включающую в себя категории обмена и распределения¹. Далее, Кларк и его ученики в теории ценности подчеркивают важность социальных моментов ценности, считая основным недостатком классиков и сторонников теории предельной полезности индивидуалистический подход к решению этой проблемы. Но, наряду с признанием «примата производства», Кларк всецело стоит на почве психологической школы в вопросе о факторах, определяющих величину ценности. Ценность, по мнению Кларка, зависит от спроса и предложения; спрос же находится в частичной зависимости от уровня потребностей. А наряду с подчеркиванием социальных моментов ценности, Кларк стоит на над'исторической точке зрения, отождествляя разделение труда с обменом,² а товарное производство с общественным производством, и увековечивая, таким образом, капитализм. Отсутствие сильного теоретического противника в лице марксизма обусловило

¹ John Bates Clark, The Distribution of wealth, London, 1925, pp. 10—11.

² Там же, с. 52—53 и далее.

также более ярко выраженный, нежели у австрийцев, апологетический характер теории американской школы.

Совершенно ясно, что более подходящего оружия теоретической борьбы против пролетариата вновьявленной «советской» буржуазии не найти. В нем «объективизм» и подчеркивание социальных моментов, столь важные для мимикрии, сочетаются с откровенной апологией капитализма. Кроме того, преимущество этого орудия для идеологов советской буржуазии в том, что эта теория почти не подвергалась марксистской критике, вследствие чего целый ряд ее слабых сторон не является еще открытым для всеобщего обозрения, как это имеет место в отношении австрийской теории.

II. О понятии кон'юнктуры и объекте теории

В основе определения понятия кон'юнктуры проф. Кондратьевым лежит расчленение реальной капиталистической динамики на «обратимые» и «необратимые» процессы. К волнообразным, повторяемым или обратимым процессам проф. Кондратьев относит те процессы изменений в народном хозяйстве, «которые в каждый данный момент имеют свое направление и, следовательно, постоянно меняют его, при которых явление, находясь в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, рано или поздно может вновь вернуться к исходному состоянию».¹ В качестве примера таких процессов, Кондратьев приводит процессы изменения товарных цен, процента на капитал, процента безработных и т. п. Под эволюционными или необратимыми процессами Кондратьев понимает «те изменения, которые при отсутствии резких пертурбационных воздействий протекают в определенном и в одном и том же направлении». Как на пример подобных явлений Кондратьев указывает на *постоянную тенденцию роста населения, увеличение общего объема производства и др.*²

В состав понятия кон'юнктуры Кондратьев включает только обратимые процессы, необратимые же, по его мнению, относятся к динамике капиталистического хозяйства. Обратимые процессы суть количественные, необратимые суть процессы качественного порядка.

Несмотря на то, что проф. Первушин критикует деление Кондратьева на обратимые и необратимые процессы, он все же близко подходит к нему в этом вопросе. Первушин соглашается с Гарвардской школой в том, что для получения понятия кон'юнктуры из кривой реальной динамики капитализма необходимо элиминировать «вековое движение». Он критикует Ад. Вагнера, отождествляющего понятие кон'юнктуры с реальной динамикой капитализма за то, что Вагнер смешивает два различных понятия, — экономической кон'юнктуры и динамики народно-хозяйственного целого³. Далее, Первушин сам уста-

¹ Социалистическое хозяйство, 1924 г., т. II, с. 358, статья проф. Кондратьева «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и кон'юнктуры».

² Там же, с. 357—358.

³ Проф. Первушин, С. А., Хозяйственная кон'юнктура, М., 1925, с. 14—15. Кроме «векового движения», Первушин устраняет из понятия кон'юнктуры сезонные колебания и большие циклы.

навливает связь между вековыми движениями и необратимыми процессами. Он считает деление Кондратьева на обратимые и необратимые процессы продолжением мысли Рёнке, исключающего из реальной капиталистической динамики вековые эволюционные движения, чтобы получить в остатке то, что входит в понятие кон'юнктуры¹. М. Игнатъев также придерживается понятия кон'юнктуры, даваемого Первушиным, и строит на нем схему динамики капиталистического хозяйства².

В определении объема понятия кон'юнктуры, Кондратьев вместе с Первушиным и иже с ним (так же, как и американская школа) производит совершенно недопустимое расчленение реального процесса капиталистического воспроизводства на капиталистическую динамику и циклическую форму колебаний капиталистической системы. Дело представляется ими таким образом, как будто капитализму присущ естественный закон равномерной эволюции, а циклические колебания представляют собой некоторые отклонения от идеальной линии, некоторое нарушение плавного процесса развития.

На деле же цикл и есть динамика капитализма в целом. Вне циклического движения нет капиталистической динамики. Циклическая форма воспроизводства есть форма капиталистической динамики, представляющая собой законченное выражение совокупного действия всех тенденций капиталистического хозяйства. Грубейшим извращением является поэтому *противопоставление* тенденций развития капитализма, как «существа» и цикла, как «формы» капиталистического развития. Цикл представляет собой диалектическое единство «формы» и «существа» капиталистической динамики.

Попытка такого недопустимого расчленения капиталистической динамики на собственно динамику и циклическую форму воспроизводства обнаруживает свое полное банкротство при первом же соприкосновении с фактами капиталистической действительности. Как правильно отмечает т. Осинский³, абсолютно неверно, что движение элементов хозяйственной динамики, относимое Кондратьевым к «необратимым» процессам (движение техники, потребностей организации хозяйства и т. п.), всегда происходит в поступательном направлении и не может идти вспять. Такое теоретическое отрицание возможности деградации в условиях капитализма является абсурдной aberrацией буржуазно-апологетического мышления. Ошибочным является и представление об элементах «обратимых» процессов (цены, процент), как элементах, колеблющихся вокруг неизменного уровня. Последнее столетие знаменуется сменой продолжительных периодов понижения цен в среднем периодами повышения их⁴, происходившими в результате повышения производительности труда, изменения условий производства золота и т. п. Следствием этого было то, что

¹ Там же, с. 12.

² Игнатъев, М., Кон'юнктура и цены.

³ Мировое хозяйство и кризисы, с. 9.

⁴ См., об этом ст. Губермана, «Соц. Хоз.» 1927, т. I, раздел «Движение цен в XIX и XX столет.».

также более ярко выраженный, нежели у австрийцев, апологетический характер теории американской школы.

Совершенно ясно, что более подходящего оружия теоретической борьбы против пролетариата новой «советской» буржуазии не найти. В нем «объективизм» и подчеркивание социальных моментов, столь важные для мимикрии, сочетаются с откровенной апологией капитализма. Кроме того, преимущество этого орудия для идеологов советской буржуазии в том, что эта теория почти не подвергалась марксистской критике, вследствие чего целый ряд ее слабых сторон не является еще открытым для всеобщего обозрения, как это имеет место в отношении австрийской теории.

II. О понятии кон'юнктуры и объекте теории

В основе определения понятия кон'юнктуры проф. Кондратьевым лежит расчленение реальной капиталистической динамики на «обратимые» и «необратимые» процессы. К волнообразным, повторимым или обратимым процессам проф. Кондратьев относит те процессы изменений в народном хозяйстве, «которые в каждый данный момент имеют свое направление и, следовательно, постоянно меняют его, при которых явление, находясь в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, рано или поздно может вновь вернуться к исходному состоянию».¹ В качестве примера таких процессов, Кондратьев приводит процессы изменения товарных цен, процента на капитал, процента безработных и т. п. Под эволюционными или необратимыми процессами Кондратьев понимает «те изменения, которые при отсутствии резких пертурбационных воздействий протекают в определенном и в одном и том же направлении». Как на пример подобных явлений Кондратьев указывает на *постоянную тенденцию роста населения, увеличение общего объема производства и др.*²

В состав понятия кон'юнктуры Кондратьев включает только обратимые процессы, необратимые же, по его мнению, относятся к динамике капиталистического хозяйства. Обратимые процессы суть количественные, необратимые суть процессы качественного порядка.

Несмотря на то, что проф. Первушин критикует деление Кондратьева на обратимые и необратимые процессы, он все же близко подходит к нему в этом вопросе. Первушин соглашается с Гарвардской школой в том, что для получения понятия кон'юнктуры из кривой реальной динамики капитализма необходимо элиминировать «вековое движение». Он критикует Ад. Вагнера, отождествляющего понятие кон'юнктуры с реальной динамикой капитализма за то, что Вагнер смешивает два различных понятия, — экономической кон'юнктуры и динамики народно-хозяйственного целого³. Далее, Первушин сам уста-

навливает связь между вековыми движениями и необратимыми процессами. Он считает деление Кондратьева на обратимые и необратимые процессы продолжением мысли Рёпке, исключающего из реальной капиталистической динамики вековые эволюционные движения, чтобы получить в остатке то, что входит в понятие кон'юнктуры¹. М. Игнатъев также придерживается понятия кон'юнктуры, даваемого Первушиным, и строит на нем схему динамики капиталистического хозяйства².

В определении объема понятия кон'юнктуры, Кондратьев вместе с Первушиным и иже с ним (так же, как и американская школа) производит совершенно недопустимое расчленение реального процесса капиталистического воспроизводства на капиталистическую динамику и циклическую форму колебаний капиталистической системы. Дело представляется ими таким образом, как будто капитализму присущ естественный закон равномерной эволюции, а циклические колебания представляют собой некоторые отклонения от идеальной линии, некоторое нарушение плавного процесса развития.

На деле же цикл и есть динамика капитализма в целом. Вне циклического движения нет капиталистической динамики. Циклическая форма воспроизводства есть форма капиталистической динамики, представляющая собой законченное выражение совокупного действия всех тенденций капиталистического хозяйства. Грубейшим извращением является поэтому *противопоставление* тенденций развития капитализма, как «существа» и цикла, как «формы» капиталистического развития. Цикл представляет собой диалектическое единство «формы» и «существа» капиталистической динамики.

Попытка такого недопустимого расчленения капиталистической динамики на собственно динамику и циклическую форму воспроизводства обнаруживает свое полное банкротство при первом же соприкосновении с фактами капиталистической действительности. Как правильно отмечает т. Осинский³, абсолютно неверно, что движение элементов хозяйственной динамики, относимое Кондратьевым к «необратимым» процессам (движение техники, потребностей организации хозяйства и т. п.), всегда происходит в поступательном направлении и не может идти вспять. Такое теоретическое отрицание возможности деградации в условиях капитализма является абсурдной aberrацией буржуазно-апологетического мышления. Ошибочным является и представление об элементах «обратимых» процессов (цены, процент), как элементах, колеблющихся вокруг неизменного уровня. Последнее столетие знаменуется сменой продолжительных периодов понижения цен в среднем периодами повышения их⁴, происходившими в результате повышения производительности труда, изменения условий производства золота и т. п. Следствием этого было то, что

¹ Там же, с. 12.

² Игнатъев, М., Кон'юнктура и цены.

³ Мировое хозяйство и кризисы, с. 9.

⁴ См., об этом ст. Губермана, «Соц. Хоз.» 1927, т. I, раздел «Движение цен в XIX и XX столет.».

¹ Социалистическое хозяйство, 1924 г., т. II, с. 358, статья проф. Кондратьева «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и кон'юнктуры».

² Там же, с. 357—358.

³ Проф. Первушин, С. А., Хозяйственная кон'юнктура, М., 1925, с. 14—15. Кроме «векового движения», Первушин устраняет из понятия кон'юнктуры сезонные колебания и большие циклы.

в некоторых случаях самые высокие цены в течение данного цикла были ниже самых низких цен предыдущего цикла. Так было, например, после кризиса 1882 г. в Англии, когда самые высокие средние годовые цены цикла (в 1883 г.—112) были ниже самых низких цен предыдущего цикла (113 в 1879 г.).

Апологетический характер подобной установки совершенно очевиден. Капитализм идеализируется путем приписывания ему естественного закона роста производительных сил, потребностей и т. д. Циклическая форма развития представляется, как ряд нарушений, досадных, но не неизбежных отклонений от естественного пути роста, вызываемых «маленькими недостатками» капиталистического механизма. Противоречивый характер капиталистического развития остается здесь совершенно заглушенным. Отрицается тот факт, что всякое развитие в условиях капитализма является результатом борьбы противоречивых тенденций, и что циклическая форма воспроизводства (включая сюда кризисы, как необходимый этап в развитии этой формы) представляет собой выражение этой же противоречивости и поэтому неизбежна и непреодолима до тех пор, пока существуют противоречия, которые она выражает¹.

На почве такой постановки вопроса вырастает и служебная роль теории кон'юнктуры буржуазных экономистов, заключающаяся в том, чтобы дать агентам капиталистического производства возможность предвидеть кон'юнктуру и устранять ее «теневые» стороны, в виде кризисов и т. п. неприятных явлений, причиняющих беспокойство сильному миру сего.

Классовая сущность экономистов этого типа ярко вырисовывается из следующего признания проф. Митчелля.

«Наша (т. е. Митчелля и др. ему подобных экономистов) теоретические и практические интересы все в большей и большей мере связываются с постепенным переходом от расцвета к депрессии»².

После из'ятия из реального процесса капиталистического воспроизводства «необратимых» процессов Кондратьев заканчивает свои

¹ Для того, чтобы прикрыть апологетический характер своих построений, Кондратьев прибегает к оригинальному приему. Он превращает Маркса... в последователя Гарвардской школы.

«Осознание различия проблемы необратимых и обратимых процессов мы находим и у Маркса. С одной стороны, Маркс стремится вскрыть обратимые, повторяющиеся процессы капиталистического хозяйства, как метаморфозы товара, воспроизводство капитала, кризисы и т. д., с другой, он совершенно отчетливо говорит о необратимых процессах, о тенденциях развития этого хозяйства, например, об общей исторической тенденции капиталистического накопления, о законе концентрации, тенденции нормы прибыли к понижению и др., создающих в целом предпосылки для гибели капитализма и обобществления производства», «Соц. Хоз.» № 4—5, 1923, с. 53).

² В только что приведенном отрывке нет ни грана истины. У Маркса цикл является итоговым выражением совокупного действия всех тенденций капиталистического хозяйства. Не может быть и речи о том, чтобы Маркс выключал из своего понимания цикла какое-нибудь из проявлений капиталистической динамики, имманентных этой последней.

³ Thorp, Business Annals, New-York, 1926, Introduction by Wesley C. Mitchell, chapter IV.

операции над ним, представляя результаты, как содержание понятия кон'юнктуры и как объект исследования в области теории этого феномена капиталистического хозяйства. В получившейся выжимке Кондратьев устанавливает наличие больших циклов, продолжительностью в 40—50 лет и малых циклов—в 7—11 лет. Наряду с этим Кондратьев в согласии с J. Kitchin'ом подчеркивает вероятность существования 3—3½ годовых циклов, при чем 7—11-летние составляются из двух или трех таких циклов¹.

Существуют ли, однако, большие циклы в динамике капиталистического хозяйства, как нечто закономерное и внутренне ему присущее, и могут ли они быть объектом теоретического анализа?

Кондратьев намечает следующие наиболее вероятные границы больших циклов.

- | | | |
|-----|---|---|
| I | { | <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышательная волна первого цикла—с конца восьмидесятых—начала девяностых годов XVIII века до периода 1810—1817 гг. 2. Понижательная волна первого цикла с периода 1810—1817 гг. до периода 1844—1851 гг. |
| II | { | <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышательная волна второго цикла—с периода 1844—55 гг. до периода 1870—1875 гг. 2. Понижательная волна второго цикла—с периода 1870—1875 гг. до периода 1890—1896 гг. |
| III | { | <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышательная волна третьего цикла—с периода 1891—1896 гг. до периода 1914—1920 гг. 2. Вероятная понижательная волна третьего цикла—с периода 1914—1920 гг.² |

Наличие больших циклов Кондратьев пытается доказать на анализе целого ряда показателей для отдельных стран и для всего мира. Большие циклы ему удалось, по его мнению, обнаружить:

для Франции в динамике цен (вторая половины II цикла и первая половина III цикла), процента на капитал и портфеля Французского банка (два полных цикла), вкладов в сберкассы, зарплаты углекопов, ввоза, вывоза, общего оборота внешней торговли, потребления угля и посевной площади овса (по полтора цикла);

для Англии в динамике цен, процента на капитал, зарплаты с.-х. рабочих (по 2½ цикла), зарплаты текстильных рабочих и оборотов внешней торговли (по два цикла), добычи угля (по полтора цикла), производства чугуна и свинца (по одному циклу);

для Соед. Штатов в динамике цен (2½ цикла), производства чугуна, добычи каменного угля и площади под хлопком (по одному циклу).

Повышательной волне большого цикла, по Кондратьеву, соответствуют сдвиги в технике, уже применяемой в сфере производства,

¹ Проф. Д. Кондратьев, К вопросу о понятиях экономич. статистики, динамики и кон'юнктуры; «Соц. Хоз.», 1924 г., кн. II. Об открытиях, изложенных им этой статье, Кондратьев довел до сведения своих американских и европейских коллег в статье, помещенной в «Quarterly Journal of Economics», 1925, август, под названием «The static and dynamic view of economics».

² Н. Д. Кондратьев и Д. И. Опарин, «Большие циклы кон'юнктуры», с. 36, изд. Раниона, 1928, М.

открытие золотых россыпей, вовлечение в оборот новых стран и большое количество социальных потрясений (войны; революции и т. д.). Мировая война вызвана, таким образом, не противоречиями капиталистического империализма, а Октябрьская революция отнюдь не представляет собой прорыва империалистического фронта на почве загнивания капитализма и начала совершенно нового этапа в развитии человечества. Это просто проявления повышательной волны третьего из «найденных» проф. Кондратьевым больших циклов, конец которой относится к 1920 г. Далее начинается вероятная понижательная волна третьего цикла, когда показатели капиталистической динамики не будут, правда, столь быстро идти вверх, принося соответствующие барыши, но зато наступит эпоха успокоения масс и укрепления основ капитализма. Из-под маски «объективного» теоретика, решающего мировые проблемы, выглядывает физиономия идеолога контрреволюции, превращающего свои сокровенные чаяния в неизбежные проявления суровых законов экономической жизни. Понижательной волне большого цикла соответствует, по Кондратьеву, длительная депрессия сельского хозяйства. И тут Кондратьев апологетически обеляет капитализм, представляя послевоенный мировой кризис сельского хозяйства, являющийся одним из важнейших узлов капиталистических противоречий, усугубленных империалистической войной, как проявление понижательной волны большого цикла, не имеющего ничего общего со специфическими противоречиями новейшей стадии капитализма.

Теория «больших циклов» проф. Кондратьева подвергалась в советской экономической литературе критике как со стороны лиц, методологически стоящих на одной с ним почве, так и со стороны марксистов.

Д. И. Опарин, относящийся к первой категории критиков,¹ на основе детального анализа данных Кондратьева устанавливает, что «колебания длительных периодов обнаруживаются только в отношении движения цен и процента по долгосрочным помещениям. Эти колебания немедленно исчезают из движения заработной платы и оборотов по внешней торговле, если только в этих показателях элиминировать колебания общего уровня цен. Движения натуральных показателей в общем не обнаруживают длительных колебаний, могущих быть признанными большими циклами кон'юнктуры». Отсюда Опарин делает вывод, который он из осторожности формулирует так: «После детального рассмотрения приведенных проф. Кондратьевым данных можно полагать, что существование больших циклов кон'юнктуры мало вероятно»².

Д. И. Опарин методологически стоит на одной почве с проф. Кондратьевым и поэтому даже не поставил вопроса о том, насколько правомерно на основе чисто эмпирического обнаружения известных

¹ См. заявление самого Опарина, там же, с. 138—139, а также его статью в «Экономическом обозрении», 1925 г., № 9.

² Н. Д. Кондратьев и Д. И. Опарин, цит. раб., с. 113.

колебаний кон'юнктуры, могущих быть результатом случайного сочетания различных факторов, делать выводы относительно существования законов, имманентных капиталистическому хозяйству и управляющих этими колебаниями.

Другой критик теории больших циклов тов. С. Губерман¹ устанавливает прежде всего ошибочность методов, которыми пользовался проф. Кондратьев в анализе конкретной динамики капитализма, что привело к явному извращению действительности. Динамика цен, благодаря различным причинам (сильное повышение производительности труда в 70—90-х гг., обусловившее понижение цен, монополистический капитализм конца 90-х и первой четверти 900-х гг., обусловивший наряду с другими факторами рост цен и т. д.), создает видимость больших циклов, но элиминирование вуалирующего влияния цен из показателей, приводимых Кондратьевым для доказательства существования больших циклов, приводит к такой картине динамики капитализма, которая целиком расходится с движением общего уровня цен².

Динамика же уровня цен не может служить показателем существования больших циклов, так как общий уровень цен, как пока-

¹ С. Губерман, Проблема малых и больших циклов («Соц. Хоз.», 1927 г., кн. I.).

² Если сопоставить движение показателей у Кондратьева с действительным движением натуральных показателей, то в результате получится разительное расхождение с Кондратьевым.

Так, например, натуральные показатели внешней торговли Англии показывают следующее движение (ценность, разделенная на индекс и сглаживание малых циклов по методу 9-летн. подвижн. средн.):

Действительное движение	У Кондратьева
1811—15 до 1849 г.—лучш. период, год. прир. 4,8%	Пониж. волна I цикла
1850—58—депрессия, год. пониж. 1,33%	Повыш. » II »
1859—84—единый период, год. прир. 3,08%	Конец повыш. II, нач. пониж. II
1885—909—самый низкий пер. год., пр. 1,08%	Кон. пониж. II, нач. повыш. III

Ничего общего со схемой Кондратьева мы не видим и в движении потребления угля во Франции

Действительное движение таково:	
1832—58, год. прир. 5,3 % самый высок. . .	Никакой смены повышательных волн понижательными мы не видим. Наоборот, все время идет понижение темпа прироста, задержанное лишь с 1897 г.
1858—84, » » 3,0 % » » . . .	
1885—96, » » 2,10% » » . . .	
1897—1909, » » 2,23% » » . . .	

Динамика роста производства в Соед. Штатах прямо противоположна схеме Кондратьева

Период 1869—79 (рост 166%) и 1879—89 (рост 104%) является самым сильным периодом роста	Этот период у Кондратьева отмечается как понижательная волна II цикла
Период 1890—14 обнаруживает самый слабый рост	У Кондратьева это, однако, повышательная волна третьего цикла

затель кон'юнктуры характерен лишь для небольшого периода. Движение уровня цен за продолжительный период определяется факторами, отличными от непосредственно-кон'юнктурных (рост производительности труда в производстве товаров и золота, изменение структуры капитализма и т. п.)¹.

Ценностный анализ показателей у Кондратьева затушевывает тот факт, что темп развития капитализма от периода к периоду менялся и что самый высокий темп соответствует эпохе переходной к капитализму, а самый низкий—монополистической эпохе.

После эмпирического анализа обнаруживается, что «большие циклы» не имеют на самом деле места в динамике капиталистического хозяйства. Они представляют собой измышление проф. Кондратьева, который обнаружил известные, вызванные случайным стечением обстоятельств, колебания в области цен и методологически ошибочно принял их за показатели кон'юнктуры в течение периода в 125—130 лет. После того, как эта ошибка была совершена, анализ таких показателей, как об'ем внешней торговли и зарплата (оба в ценностном выражении) не составил труда, так как оба показателя, естественно, следуют за движением цен. К этой картине, имевшей вид некоторой внешней убедительности, было ошибочно добавлено движение некоторых натуральных показателей, в результате чего и получилась видимость «больших циклов». Эта видимость ввела в заблуждение и некоторых марксистов², чем Кондратьев не преминул воспользоваться для подкрепления своей насквозь ошибочной и апологетической теории «больших циклов»³.

Но, если даже признать, что большие циклы имели место в динамике капиталистического хозяйства (хотя этого нет на самом деле), то этим еще не доказана закономерность этих циклов. Кондратьев не дал, по существу, никакого об'яснения «найденным» им явлениям. Что касается его указаний на совпадения между сдвигами в технике, завоеванием новых рынков, социальными потрясениями и т. д. и повышательными волнами, с одной стороны, и длительными депрессиями сельского хозяйства и понижательными волнами больших циклов—с другой, то эти явления ни в коей мере не могут служить об'яснением «больших циклов» до тех пор, пока не будет доказано,

То же и в отношении динамики зарплаты в Соед. Штатах. Она такова:

1844—47	—повыш. от 1,7 до 2,25%	И здесь нет ничего общего со схемой Кондратьева
1847—62	—пониж. 0,8%	
1863—75	—повыш. на 2,9%	
1876—95	—повыш. 1,47%	
1896—1910	—повыш. на 0,46%	

¹ С. Губерман, цит. статья, с. 31.

² См. статью т. В. Е. Мотылева, «Тенденция нормы процента к понижению», «Вестн. Соц. ак.» № 3, а также другую статью в «Вестн. Соц. акад.», № 4 за 1923 г. «Если среди марксистов», пишет т. Мотылев,—имеются лица, отрицающие закономерность больших циклов, то это можно приписать лишь недостаточно вдумчивому анализу кривой капиталистического развития на протяжении XIX века».

³ См. Кондратьев и Опарин, Большие циклы кон'юнктуры, с. 10.

во-первых, что они не просто влияют на капиталистическое хозяйство в каком-либо направлении, а порождают цикличность и, во-вторых, что они сами циклически повторяются и неизбежно порождаются самим существованием капиталистической системы. Этого, однако, никто не доказал и не докажет.

Таким образом «большие циклы» (если бы существование их и было доказано) не представляют из себя закономерных для капитализма явлений, а потому не могут быть об'ектом теории кон'юнктуры. Последняя, как теория движения капиталистического хозяйства, изучает явления, имманентные системе капиталистического хозяйства, как таковой, составляющие ее специфические особенности.

Наряду с «большими циклами» Кондратьев, вместе с J. Kitchin'ом, признает вероятность существования 3—3½ годовых циклов¹. Об этих циклах можно сказать то же самое, что и о «больших циклах». 3—3½-годовые циклы найдены Kitchin'ом на основе конкретного анализа, в котором самым недопустимым образом смешаны явления, основанные на закономерности, присущей капитализму, и перекрывающиеся с ними явления производного, «случайного» характера.

Проф. С. А. Первушин считает неправильным то, что Кондратьев включает «большие циклы» в понятие кон'юнктуры и делает их об'ектом теоретико-экономического исследования. По мнению Первушина «большие циклы», строго говоря, не подчинены никакой сколько-нибудь ярко выраженной периодичности и присущи динамике хозяйства, как таковой, так как наблюдаются уже несколько столетий и выходят очень далеко из рамок капиталистического строя. Включение больших циклов в понятие кон'юнктуры приводит к тому, что грани капиталистического и докапиталистического хозяйства стираются².

Мы оставляем всецело на совести проф. Первушина его утверждение о том, что «большие циклы» наблюдаются уже несколько столетий и присущи динамике хозяйства, как таковой. Что, однако, верно в его утверждении—это то, что «большие циклы» (если даже допустить, что они существуют) ни в коей мере не обуславливаются специфическими закономерностями капиталистического хозяйства.

Но, обвиняя Кондратьева в том, что последний стирает рамки капиталистического и докапиталистического хозяйства, Первушин сам не в меньшей мере страдает игнорированием специфического характера циклической формы воспроизводства. Кроме «вековых движений», Первушин исключает из понятия кон'юнктуры и всякие другие колебания, оставляя в нем только так называемые малые торгово-промышленные циклы, составляющие характерное отличие капиталистической динамики. Но, как и Митчелль, которому наш профессор следует в определении понятия кон'юнктуры, Первушин в действительности не понимает или не желает понять специфически-капиталистической

¹ «Вопросы кон'юнктуры», т. I, статья Кондратьева «Большие циклы кон'юнктуры», с. 28.

² Первушин, Хозяйственная кон'юнктура, с. 19—20. См. также выступление Первушина по докладу Кондратьева в Ин-те Экон. I МГУ («Соц. Хоз.» 1924, кн. II, с. 374).

природы так называемого малого цикла. Митчелль, определяя предмет своего изучения—«business cycles»—хозяйственные циклы,—как «феномены, составляющие особенность той формы экономической организации, которая господствует даже в Западной Европе менее двух столетий и еще более короткий период в других частях мира (in other regions)»¹ т. е. капитализма (Митчелль, как и многие другие буржуазные экономисты, избегает употреблять «зловещее», по выражению Рёнке, слово «капитализм»), тем не менее причисляет к этим феноменам не только типичные капиталистические циклы, но и промежутки между локальными, частичными кризисами докапиталистического типа, имевшими место еще в конце XVIII столетия в САСШ и Англии². Далее Митчелль, не стесняясь, относит к феноменам, составляющим особенность капиталистической формы хозяйства, также колебания кон'юнктуры в СССР. С 1917 г. по 1925 г. Митчелль находит в СССР... несколько циклов и два кризиса (в 1923 и 1925 гг.)³. Таким образом Митчелль безбожно путает своеобразные «кризисы» переходного к социализму периода и кризисы докапиталистические с кризисами капиталистическими, кризисы перепроизводства и депрессию после них с кризисами недопроизводства и т. п. Проф. Первушин не отстаёт от своего просвещенного учителя. «В творениях» этого «теоретика» также превосходно сочетается полная путаница понятий с клеветой на социально-экономическую структуру Советского Союза. Первушин определяет кон'юнктуру как «свойственные товарно-меновому хозяйственному строю, капиталистическому в *особенности*, стихийные более или менее *периодические* колебательные движения народно-хозяйственного организма в его целом, сопровождающиеся как количественными, так и качественными изменениями его, и наиболее ярко проявляющиеся в сфере рынка, цен и доходов, т. е. в колебаниях цен и ценностных сдвигах»⁴.

Оказывается, таким образом, что *периодические* колебательные движения лишь в *особенности* свойственны капитализму, но, вообще-то говоря, они присущи и просто товарно-меновому хозяйству, к которому Первушин относит и хозяйство СССР. Первушин, таким образом, в отношении социально-экономической оценки советского хозяйства всецело стоит на позициях Митчелля. Что это так, видно из того, что годы 1922 и часть 1923 в СССР Первушин отождествляет с периодами под'ема в капиталистическом хозяйстве⁵. Далее, в той же работе Первушин рассматривает как единый военно-революционный период кон'юнктурный период 1914—24 гг. (гл. VI), вызывая этим возражения даже со стороны такого общепризнанного буржуазного идеолога, каким является проф. Н. Д. Кондратьев⁶.

¹ Thorp, цит. соч. Introduction by Mitchell, W. C. p. 47.

² Там же, табл. на с. 42.

³ Там же, chapter IV.

⁴ Первушин, цит. соч., с. 25.

⁵ Первушин, цит. соч., с. 27.

⁶ «Вопросы кон'юнктуры», т. II, вып. I, с. 206, рецензия на книгу Первушина.

Ошибочно было бы, однако, полагать, что сам Кондратьев склонен подчеркивать своеобразие советской системы хозяйства. Социально-экономическая оценка (не высказываемая, а подразумеваемая, ибо, как уже было отмечено многими, проф. Кондратьев некоторые вещи предпочитает не писать а только подразумевать), даваемая им советскому хозяйству, ничуть не лучше той, которую ей дают Первушин и Митчелль. Так, например, в примечании к цитированной уже статье Митчелля, в «Business Annals», частично переведенной в III томе «Вопросов кон'юнктуры», Кондратьев, в дополнение к таблицам Митчелля о синхронности (временных совпадениях) отдельных фаз циклов в различных странах, дает таблицу синхронности экономических циклов в России и Англии и в России и Германии за 1890—1925 гг.¹ Тем самым Кондратьев молчаливо допускает, что в СССР существуют *периодические* циклические колебания, аналогичные тем, которые имеют место в капиталистических странах. Вдобавок к этому Кондратьев не только не снабжает теоретической стряпни Митчелля каким бы то ни было критическим замечанием, но, наоборот, называет ее «новой выдающейся работой».

Непонимание Первушиным природы капиталистических циклов чрезвычайно ярко проявляется в отрицании им всеобщности, а по существу, и периодичности их. Смены кон'юнктур, по Первушину, суть явления лишь *более или менее* периодического порядка и продолжительность отдельных циклов обнаруживает очень значительные колебания. Наряду с этим кон'юнктурные колебания, по мнению Первушина, не отличаются и всеобщностью. Лишь отдельные кризисы и под'емы имели всеобщий, мировой характер. Первушин намечает три особенных кривых динамики и кон'юнктуры: 1) американскую, 2) западно-европейскую (Англия, Германия, Франция) и 3) восточно-европейскую (Россия)².

Периодичность циклов не является, по мнению Первушина, чем-то присущим капитализму, как таковому, лежащим в природе капиталистического хозяйства. Известная периодичность в смене торговых кон'юнктур наблюдалась и в XVIII веке, и еще даже в 1662 г. Вильям Петти отмечал периодичность колебаний в торговле; причем оценивал длину цикла в среднем в 7 лет³. Не обнаруживая правильной периодичности и не будучи всеобщими, циклы в разных странах колеблются в различных пределах. Продолжительность цикла в Америке колеблется, по Первушину, от 18 до 4 лет, в Европе от 5 до 14 лет⁴, если элиминировать влияние мировых урожаев.

Первушин не говорит в данном случае ничего принципиально нового по сравнению с идеологами американского крупного капитала. Гарвардской школе и, в частности, Митчеллю также чуждо понимание периодичности и мирового характера кризисов. Митчелль (здесь в его идеологии отразился, нам думается, «провинциализм»,

¹ Там же, т. III, вып. I, с. 9, примеч. редактора (Кондратьева).

² Первушин, цит. соч., с. 4, 53—54, 69.

³ Там же, с. 53.

⁴ Первушин, цит. соч., с. 53.

составлявший характерную черту психологии американского буржуа до войны и сохранившийся в известной мере и после войны) подчеркивает независимость циклов в разных странах и указывает, что «интервалы времени между кризисами далеки от правильности» (цит. ст., гл. IV). Отрицание мирового характера циклов, равно как и правильной периодичности, лежащей в их основе, базируется у Митчелля на некритическом включении в число циклов отрезков времени между типичными капиталистическими кризисами и кризисами, вызванными такими событиями, как войны и т. п. Митчелль обнаруживает здесь полное неумение отличать абстрактное от конкретного, общее от частного, случайное от закономерного. Так, например, между 1825 и 1847 гг., когда в С. Штатах, по общему признанию, был всего один кризис — в 1837 г., Митчелль насчитывает целых шесть кризисов, сваливая в одну кучу типичный капиталистический кризис в 1837 г. с переломом кон'юнктуры в 1845—46 гг., вызванным войной с Мексикой и биржевыми паниками других лет. В результате такого подхода Митчелль насчитывает в течение 127 лет (1793—1920 гг.) в С. Штатах 32 цикла от 1 года до 9 лет каждый¹. Такой же, примерно, расчет он производит для других стран, приходя для каждой страны к особым результатам относительно продолжительности и количества имевшихся у них циклов. Отсюда Митчелль приходит к отрицанию всеобщности и периодичности циклов². Некритический подход к динамике капиталистического хозяйства, смешение перекрещивающихся случайного и закономерного моментов, получает у Митчелля свое обоснование, возводится им в принцип. Он отказывается выделять такие причины, приводящие к сокращению или удлинению «цикла», как войны, «гражданские беспорядки», исключительные условия урожая и т. п., и элиминировать их влияние на том основании, что отсутствует гарантия в том, что эти нарушающие обстоятельства (*disturbing circumstances*) не произойдут в будущем³.

На таком же некритическом смешении абстрактного и конкретного, случайного и закономерного основано и отрицание всеобщности и периодичности циклов у Первушина. К нему он приходит, как и Митчелль, на основе почерпнутого у Jordan'a конкретного анализа американских кризисов с 1801 по 1921 гг. и заимствованного у Spiethoff'a анализа кон'юктур в течение периода 1843—1913 гг. в Германии. Первушин принимает для С. Штатов деление Jordan'a на основные и малые кризисы, причем к последним относятся кризисы 1814, 1818, 1825, 1829, 1848, 1866, 1903 и 1913 гг. Таким образом, следуя американцам, Первушин некритически сваливает в одну кучу типично-капиталистические кризисы всеобщего и мирового характера (неизвестно почему отнесенных к малым, а не к основным)

¹ Thorp—Mitchell, цит. соч., с. 48.

² Там же, с. 68 «If there is any regularity in the sequence of cycles of different lengths, I have failed to find it» («Если имеется какая-либо закономерность в последовательности циклов различной продолжительности, то мне не удалось найти ее»).

³ Там же, с. 52.

с вызванными внешними причинами нарушения¹ частичного и местного характера.

Если, однако, отбросить нарушения, обусловленные внешними факторами, то динамика капиталистического хозяйства во всем мире за последнее столетие до мировой войны предстанет перед нами как ряд циклов продолжительностью от 7 до 11 лет, причем, по мере приближения к нам, кризисы, отделяющие один цикл от другого, распространяются на все большее число стран, принимают все более ярко выраженный мировой характер. Митчелль обнаруживает кризис 1825 и 1837 гг. в двух странах (Англии и С. Штатах), кризис 1847 г. также и во Франции, кризис 1857 и 1866—67 гг. также и в Германии, кризис 1873 г. дополнительно в Австрии. Кризис 1890—91 гг. Митчелль обнаруживает уже в 11 важнейших странах из 17 им рассмотренных, именно в С. Штатах, Англии, Франции, Германии, России, Нидерландах, Италии, Аргентине, Южн. Африке, Австралии и Японии. Кризис в Австрии и Швеции наступил в 1892 г., т. е. по существу был связан с кризисом 1891 г. Не было кризиса в 1891 г. в Бразилии, Канаде, Индии и Китае, т. е. в странах со слабо развитой в то время капиталистической промышленностью. Кризис 1900—1901 гг. Митчелль находит во всех анализированных им 17 странах (в Ю. Африке в конце 1899 г.), кризис 1907—08 гг. также у всех перечисленных стран, кроме Южн. Африки, переживавшей длительную депрессию, и Китая, где перелом совершился в 1906 г. Перелом 1913 г. захватил все страны, кроме Австрии, Бразилии, Индии и Китая. В России в 1913 г. наметились лишь первые признаки перелома (на бирже). Кризис 1920 г. захватил все страны, кроме Германии, Австрии и России, переживавших кризис недопроизводства². Напротив, переломы кон'юнктуры, происходившие по внешним причинам, помимо того, что они отличаются от всеобщих кризисов по своему характеру, отличаются от них и по степени своего распространения, обнаруживая этим свой локальный и частичный характер.

По таблицам Митчелля мы сверили также степень распространения по странам тех переломов кон'юнктуры к падению, которые, по общему признанию, не являются типично-капиталистическими кризисами³. Мы взяли для примера все переломы кон'юнктуры, имевшие место в С. Штатах. Оказывается, что 1839 г., обозначаемый Митчеллем, как год под'ема и кризиса, затронул только С. Штаты, в Англии же в это время господствовала ничем не прерываемая депрессия. Перелом 1845—46 гг. (война с Мексикой) отразился также только в С. Штатах, приведя здесь к небольшой депрессии и не вызвавши в других странах ничего, кроме легкой биржевой паники во Франции, отнюдь не прервавшей расцвета, продолжавшегося до 1847 г. Зато кризис 1847 г. носил всеобщий характер, охвативши все три страны,

¹ В данном случае, в противоположность типичным капиталистическим кризисам, представляющим собой восстановление нарушенного равновесия, следует говорить именно о *нарушениях* «нормального» течения кон'юнктуры.

² Thorp—Mitchell, tables, pp. 75—87.

³ Там же.

в отношении которых Митчелль производил анализ кон'юнктуры. Перелом 1853—54, приведший к кратковременной депрессии, тоже носил ограниченный характер, распространившись лишь на С. Штаты и отчасти на Англию, тогда как во Франции и Германии под'ем продолжался. Напротив, кризис 1857 г. захватил все четыре рассмотренные Митчеллем страны, приведя к общемировой депрессии в 1858 г. Частичный характер (С. Штаты, отчасти Франция) носил перелом 1860—61 гг., тогда как в Англии и Германии господствовал непрерывный расцвет. Кризис 1866—67 гг. охватил все четыре рассмотренные Митчеллем страны, раньше всех С. Штаты и позже всех Францию. Местный характер имел и перелом 1870 г. в С. Штатах. Напротив, кризис 1873 г. опять охватил все рассмотренные Митчеллем страны и носил мировой характер. То же нужно сказать и о кризисе 1882—83 гг. Перелом в 1888 г. в С. Штатах носил опять местный характер, зато кризис 1890—91 гг. охватил 13 важнейших капиталистических стран, не коснувшись лишь четырех второстепенных стран с резким преобладанием докапиталистических форм. Такой же местный характер носил перелом 1893 г., коснувшийся С. Штатов и Канады, и перелом 1896 г., коснувшийся С. Штатов, Бразилии и Индии. В противоположность ему кризис 1900—901 коснулся всех стран, принявши слабый характер лишь в С. Штатах. Кризис 1903 г. в С. Штатах совпал с упадком кон'юнктуры только в Южной Африке и с под'емом или переходом к нему в большинстве стран. Опять-таки, в противоположность этому частичному кризису, кризис 1907 г. носил всеобщий характер, захватив все страны, кроме Китая, где перелом наступил несколько раньше. То же можно сказать и о переломе кон'юнктуры 1913 г. и кризисе 1920 г.

Таким образом, методологически правильный анализ конкретных данных, приводимых самим Митчеллем в подтверждение своих построений, показывает всю ошибочность отрицания всеобщности и периодичности циклов. Анализ этот подтверждает тот вывод, что, если устранить из таблицы Митчелля переломы кон'юнктуры к падению, не носящие всеобщего характера и вызванные действием случайных факторов, то все экономическое развитие капиталистического мира за последние сто лет до мировой войны представит собой картину отдельных циклов, продолжительностью в 7—11 лет, со все увеличивающейся сферой распространения. Именно эти циклы и только они входят в состав понятия кон'юнктуры капиталистического хозяйства и могут быть об'ектом теоретического изучения. Ибо предметом последнего являются феномены, внутренне присущие капитализму и выражающие заложенную в нем закономерность. Так называемые малые торгово-промышленные циклы—единственная форма таких закономерных колебательных движений, вызываемых имманентными капитализму силами.

III. Методология теории кон'юнктуры

После разбора содержания понятия кон'юнктуры у «советских» буржуазных экономистов необходимо перейти к рассмотрению их

методологии. Исчерпывающим образом методологию отдельных представителей рассматриваемой группы экономистов можно осветить лишь при разборе самих их теорий, но тем не менее ряд замечаний общего свойства, в одинаковой степени относящихся ко всем разбираемым теориям, можно и, пожалуй даже нужно, выделить особо.

Каким путем должно идти исследование закономерностей, лежащих в основе периодических колебательных движений, имманентных капитализму? Ответ на этот вопрос мы находим у обер-теоретика кон'юнктуры проф. Н. Д. Кондратьева. Но прежде чем перейти к изложению и критике его точки зрения, мы позволим себе сделать небольшой экскурс в область постановки этого вопроса в современной буржуазной экономии, так как это даст возможность яснее очертить разбираемую точку зрения и выяснить ее теоретические и социальные истоки.

Центр тяжести теоретических и практических интересов буржуазной экономии всегда заключался в сглаживании капиталистических противоречий, в замазывании острых углов капиталистической действительности. Одним из таких наиболее острых углов являются капиталистические кризисы, в которых ярче всего проявляется вся совокупность противоречий капитализма, неспособность его справиться с производительными силами, находящимися в его распоряжении.

В течение всего XIX столетия буржуазная экономия тщетно пыталась решить проблему кризисов. Неспособность ее решить эту проблему обусловливается метафизичностью ее метода. Точка зрения диалектического развития, развития в противоречивой форме, ей совершенно чужда. Но так как кризис представляет собой единственно возможную в условиях капитализма форму выражения и диалектического разрешения всей совокупности противоречий, накопленных в течение данного цикла, то понять его можно, лишь понявши предварительно капиталистические противоречия. Между тем отсутствие их понимания составляло всегда характерную черту буржуазной экономии. Наоборот, как бы ни разнилась одна концепция от другой, буржуазную экономию всегда отличало всяческое затушевывание капиталистических противоречий, гармонизация капитализма.

Последние годы XIX и начало XX века принесли с собой значительное изменение структуры капитализма. Место свободной конкуренции все более занимает монополия. Анархия производства внутри отдельных отраслей претерпевает некоторое ограничение. На почве этих перемен среди апологетов капитализма начинается появляться надежда на то, что монополии в состоянии устранить кризисы. Поскольку же кризисы устранимы, они не представляют собой необходимого этапа в развитии капиталистического цикла. Поэтому неправильным является выделение теории кризисов в особую теорию. *Вместо* теории кризисов нужно строить теорию кон'юнктуры, как теорию непрерывного движения капиталистического хозяйства. Таков, в общем, ход рассуждений почти всех буржуазных теоретиков кон'юнктуры.

Первым с такой точкой зрения выступил в 1904 г. В. Зомбарт. В статье «Versuch einer Systematik der Wirtschaftskrisen» Зомбарт отмечает, что нарушения, обозначаемые кризисами, не представляют собой проблемы, особое рассмотрение которой методически не вызывает возражений¹.

Проблему кризисов нецелесообразно, по мнению Зомбарта, выделять в особую теорию по целому ряду причин. Прежде всего, потому, что понятие кризиса весьма неопределенно и неопределимо. Симптомы кризиса не представляют из себя чего-то особенного и характерного. В настоящее время, в отличие от середины XIX века (1857 г.), кризисы настолько смягчены, что имели место споры о том, был ли кризис в 1900 г. или его не было. У Зомбарта сложная систематика кризисов. Среди прочих кризисов он отличает «Kapitalkrisen», свойственные лишь капиталистической эпохе. Kapitalkrisen бывают двоякого рода: первичные, т. е. имманентные капиталистическому хозяйству, эндогенные кризисы и вторичные, вызываемые экзогенными причинами. «Первичные кризисы, которым повидимому в гораздо большей мере принадлежит будущее, нежели вторичным, выражаются постоянно в формах, которые во многих случаях можно обозначить совсем не как кризис, а скорее как хозяйственную депрессию» (S. 20).

«Если принять все это во внимание, пишет далее Зомбарт, то будет видно, что целесообразнее направить исследование от слишком узкой и неопределенной проблемы кризисов к общей, но, однако, определенной проблеме форм движения капиталистического хозяйства». «Теория кризисов должна быть расширена до пределов теории конъюнктуры» (S. 20—21).

За 25 лет, истекших со времени написания цитированной статьи Зомбарта, высказанные им мысли стали достоянием всей буржуазной политической экономии. Они повторяются в различных вариантах на каждом шагу. У виднейшего и самого модного представителя современной буржуазной теоретической экономии, Касселя, аргументация почти не отличается от таковой у Зомбарта, а выводы идут даже несколько дальше.

Подобно Зомбарту, Кассель считает понятие кризиса недостаточно определенным для того, чтобы оно могло служить объектом единой теории. «Уже заранее ясно,— пишет Кассель,— что для такого чрезвычайного, изменчивого и разнообразного явления, как кризисы в вышеуказанном смысле слова, не может иметь места какая-либо единая и общая теория»².

Далее Кассель утверждает, что не только кризисы, но и циклическая форма воспроизводства отнюдь не имманентна капиталистическому хозяйству и настаивает, подобно Зомбарту, на возможности смягчения капиталистических кризисов: «...суждения о современных периодах под'ема и падения, а также о кризисах в качестве *непрерывных спутников* современного производственного и общественного порядка

¹ *Sombart*, упомянутая ст. в «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», B. XIX, 1904, S. 18.

² *Кассель*. Теория конъюнктуры, М., 1925 г., с. 6.

заранее *предвосхищены*» (с. 7). «Старое положение, что кризисы становятся все более опустошительными, во всяком случае уже устарело. В наиболее передовых и успешно прошедших школу экономического развития странах, где некоторые из наиболее важных причин прежнего рода кризисов, как, например, ошибочная банкнотная политика (sic!) уже преодолены, там наличный материал позволяет умозаключить скорей о *смягчении кризисов*» (там же). Этим Кассель обосновывает необходимость отказа от теории кризисов и замены ее теорией конъюнктуры. Слабость прежних теорий, по мнению Касселя, заключается в том, что до сих пор изучались кризисы. «Здесь,— пишет он о своей работе,— избирается другой путь исследования. Изучению подлежат не кризисы, как особые явления, а изменение конъюнктуры, как нечто целое, как связанное, всегда непрерывное движение народного хозяйства. При этом внимание не должно фиксироваться преимущественно на отдельных а priori избранных явлениях, а нужно исследовать, какие изменения претерпевает народное хозяйство при переходе от периодов падения к периодам под'ема» (с. 3).

Также и Шумпетер исходит из того, что переломы от под'ема к падению вовсе не обязательно характеризуются кризисами. Последние представляют собой «ненормальную» форму перелома, против которой необходима выработка профилактических средств. На этом основании Шумпетер отмечает проблему кризисов, выдвигая вместо нее проблему конъюнктуры и в ней проблему под'ема и депрессии¹.

Близко к Шумпетеру стоит Е. Н. Fogel («Die Theorie des volkswirtschaftlichen Entwicklungsprozesses und das Krisenproblem», Wien-Leipzig) 1917, и примыкающий к нему Рёнке. Ссылаясь на Фогеля, Рёнке связывает эволюцию буржуазной экономии от теории кризисов к теории конъюнктуры с тенденцией к смягчению кризисов. «Начала,— говорит Рёнке,— кризисы проявляются в бурном периоде развития рыночного хозяйства, как специфические спекулятивные кризисы и кризисы развития, слабо поддерживавшиеся какой-либо кредитной организацией. Затем кризисы проявляются как фазы всеобщего расстройств, органически связанные со всем хозяйственным механизмом. Дальше в третьем периоде они уступают место менее драматической поворотной стадии периода под'ема. С этим согласилась вся новейшая теория кризисов, которая, хотя и исходит из кризисных феноменов, но объектом исследования избирает теорию конъюнктуры как таковую. Тем самым теория кризисов вне теории конъюнктуры теряет почву под ногами»². Предпосылкой такой замены теории кризисов теорией конъюнктуры для Рёнке является убеждение в том, что кризис есть фаза развития, которая не обязательно должна переводить один период в другой и которая не является неотъемлемой частью движения конъюнктуры (с. 23).

Митчелль считает неправильным даже употреблять слово «кризис» для характеристики перехода от под'ема к падению, так как со

¹ *Schumpeter*, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 2 neu bearbeitete Auflage, München—Leipzig, 1926. SS. 333, 334, 365 и 367.

² *Рёнке*, Конъюнктура, изд. 1927, с. 26.

словом «кризис» ассоциируется представление о напряжении на денежном рынке. «Между тем,—говорит Митчелль,—внимательное изучение ежегодных данных показывает нам, что переходы, не сопровождающиеся напряжением, встречаются часто,—чаще даже, пожалуй, чем переходы катастрофического характера. И есть благоприятные указания на то, что постепенные переходы начинают преобладать все больше и больше». В соответствии с этим Митчелль обозначает основные этапы кон'юнктуры следующим образом: депрессия, под'ем, расцвет и упадок¹.

Буржуазные теоретики кон'юнктуры в СССР стоят на уровне «современной науки», той, конечно, которая является господствующей в буржуазных странах. Проф. Кондратьев также полагает, что проблема кризиса является производной от проблемы кон'юнктурного цикла. Отсюда его согласие с Зомбартом в необходимости замены проблемы кризиса проблемой кон'юнктуры.

Основания для подобной замены у проф. Кондратьева те же, что и у Зомбарта, Касселя и других. Кондратьев согласен с «современной» теорией экономической динамики, которая считает кризис обычным, но не необходимым моментом в смене кон'юнктур из повышательных к понижаемым. Кондратьев считает, что общий перелом кон'юнктур к понижению может быть относительно спокойным и подтверждение этого видит в том, что за последние десятилетия перед войной такие переломы потеряли свою былую остроту².

Профессор Кондратьев следующим образом рисует свои взгляды на разбираемый вопрос.

Проблема кризисов издавна привлекала внимание экономистов. С 20-х годов прошлого века кризисы стали повторяться с редкой для социально-экономических явлений регулярностью. Маркс, Родбертус и Жюгляр установили периодичность кризисов и их имманентный капитализму характер. В работах Туган-Барановского, Гильфердинга, Поле, Шпитгофа, Лескура, Афтальона, Митчелля и др. кризисы подверглись подробному изучению и описанию.

«Но чем дальше,—пишет Кондратьев,—шло изучение повторяющихся капиталистических кризисов, тем более становилось очевидным, что кризис представляет собой лишь одну фазу целого капиталистического цикла, что целый цикл, как правило, складывается

¹ См. цит. ст. Митчелля, гл. IV. В своей работе «Business Cycles», вышедшей первым изданием в 1913 г., Митчелль несколько иначе определяет основные фазы цикла. По Митчеллю (1913 г.) кон'юнктура—это «ритмическая смена под'ема, кризиса и депрессии, которая происходит в современном деловом мире» (р. 449). Как видим, здесь у Митчелля кризис фигурирует в качестве неперемного звена кон'юнктурного цикла. На примере Митчелля мы видим, что, чем более шатким становится капитализм, тем более грубой и откровенной становятся попытки его оправдания. Подобно Митчеллю новейшей формации Первушин также не считает кризис неизбежной формой смены одного цикла другим. Один цикл может переходить в другой, минуя кризисные явления, через депрессию. Везде, где Первушин касается перелома кон'юнктуры от под'ема к падению, он говорит о кризисе или депрессии («Хоз. кон'юнкт.», с. 470 и др.).

² Н. Д. Кондратьев, «Мировое хозяйство и его кон'юнктура во время и после войны», с. 193.

из трех основных фаз—под'ем—кризис—депрессия—и что понять кризисы можно лишь в результате изучения всех фаз цикла.

Этому нарастающему убеждению, повидимому, впервые дал определенное выражение В. Зомбарт. В начале девятисотых годов он заявил, что теория кризисов должна превратиться в более общую теорию,—теорию кон'юнктуры и ее колебаний в целом (ссылка на цит. статью Зомбарта). Дальнейшее развитие теории пошло именно в этом направлении (ссылка на цит. раб. Рёпке и Фогеля).

Таким образом, отправляясь от проблемы кризисов, экономическая мысль шаг за шагом пришла к теории циклов кон'юнктуры. Проблема кризисов и их значения от этого, конечно, не потеряла своей актуальности. Но она рассматривается в связи с проблемой хода циклов кон'юнктуры в целом¹.

То обстоятельство, что буржуазная экономия топит теорию кризиса в теории кон'юнктуры обусловлено, с одной стороны, органической неспособностью ее решить проблему кризисов, с другой—верой в то, что кризисы не неизбежны в условиях капитализма.

Однако, упразднение теории кризисов и замена ее теорией кон'юнктуры, которую производит Зомбарт и другие, или построение теории кризисов на основе теории циклов кон'юнктуры, что предлагает Кондратьев, является неправильным, будучи основано на глубоко ошибочной методологии изучения циклических колебаний капитализма.

За недостатком места мы лишены возможности подробно остановиться на методологии изучения закономерных циклических колебаний капитализма. Но несколько замечаний, рисующих основы правильной, марксистской методологии проблемы, здесь нужно сделать для того, чтобы лучше раз'яснить ошибочность методологии рассматриваемых нами теорий.

Методология Маркса с исключительной последовательностью и законченностью применена им при анализе закономерностей циклической формы воспроизводства. Теория этой последней представляет собой завершающую главу марксовой политической экономии, об'яснение динамики капиталистического хозяйства, результата взаимодействия отдельных элементов капиталистической системы. Совершенно ясно, что предпосылкой ее служит анализ этих элементов, выяснение природы отдельных категорий капиталистического хозяйства, которое достигается разложением реального капиталистического целого на составные элементы переходом от конкретного к абстрактному и отдельным анализом каждого из них при абстрагировании от всех остальных. Исходя из огромного конкретного материала, Маркс приходит к выяснению самых основных и общих категорий капиталистического хозяйства: стоимости, денег, капитала, прибавочной стоимости и заработной платы (I том «Капитала»). Эти основные, простейшие категории вместе с анализом метаморфозы

¹ Кондратьев, статья в «Вопросах кон'юнктуры», т. I, вып. I, с. 29, то же в цит. книге «Большие циклы кон'юнктуры», с. 7—8 (курсив наш).

капитала и оборота его служат у Маркса для построения самой общей теории (или схемы) воспроизводства (III отдел второго тома «Капитала»). Здесь имеет место абстрагирование не только от некапиталистической среды, которое является предпосылкой теоретического анализа на всех его ступенях, но и от целого ряда моментов, имманентных капиталистическому хозяйству (конкуренция, кредит и т. д.).

Результат анализа на этой ступени таков, что циклическая форма воспроизводства не получает еще своего объяснения; за формой еще не вскрывается окончательное ее содержание.

Следующая ступень анализа характеризуется усложнением посредством введения в качестве предпосылок анализа, во-первых, конкуренции, а с нею и категорий прибыли, цен производства и противоречия между общественной формой производства и частной формой присвоения (проявляющегося в диспропорции между производством и потреблением и в диспропорции между главными подразделениями общественного производства и внутри их) и, во-вторых, кредита, дающего капиталистическому производству возможность до известных пределов расширить размах своего движения. На этой ступени анализа получают свое объяснение кризисы, «конечным основанием» которых является бедность и ограниченность потребления масс.

Кризис является исходным пунктом для нового цикла. В нем заложены предпосылки нового под'ема, так как он есть исходный пункт для новых крупных вложений основного капитала, вынужденных предшествующим падением цен.

«Хотя периоды, когда вкладывается капитал,—говорит Маркс,—весьма различны, но тем не менее кризис всегда является исходным пунктом для крупных новых вложений капитала; следовательно, рассматривая дело с точки зрения всего общества, он в большей или меньшей степени дает новую материальную основу для следующего цикла оборотов»¹.

Таким образом не кризис существует, потому что существует цикл, а, наоборот, воспроизводство происходит в циклической форме потому, что противоречивое движение капитализма объективно и неизбежно находит свое проявление и разрешение в кризисе.

Сказанного достаточно, чтобы показать всю ошибочность попытки устранить проблему кризисов и заменить ее проблемой кон'юнктуры, как это делает почти вся современная буржуазная экономия, или сделать теорию кризисов производной от теории циклов кон'юнктуры, что является методологическим коньком проф. Кондратьева. Теория цикла, как мы видели, сама является производной от теории кризиса, составляет необходимый вывод из нее.

В каком отношении находится теория кризиса и теория цикла к теории кон'юнктуры? Теория кризисов вскрывает наиболее глубокие основы циклической формы воспроизводства, наиболее глубоко

¹ Маркс, Капитал, т. II, с. 158, изд. 1923 г., Гиз. — Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (курсив наш).

лежащие противоречия капиталистического хозяйства. Она является наиболее абстрактным об'яснением циклической формы, хотя ее предпосылками являются более конкретные категории, чем лежащие в основе общей схемы воспроизводства, изложенной Марксом во II томе. Но схема II тома не об'ясняет ни кризисов, ни циклов, ибо «реальный кризис (а тем самым и цикл. Е. Г.) может быть представлен лишь в реальном движении капиталистического производства, конкуренции и кредита»¹.

С другой стороны, теория кризисов представляет собой исходный пункт для об'яснения того, почему и как данная сущность, т. е. противоречия, лежащие в основе капиталистического способа производства, необходимо проявляются в определенной форме. Собственно теория кризисов дает об'яснение того, почему совокупность противоречий капитализма необходимо выражается и периодически получает свое разрешение в кризисах.

Теория кризисов служит, как мы видели, исходным пунктом для теории цикла, об'ясняющей производную от кризиса форму движения капиталистического хозяйства. Далее идет следующая ступень теоретического исследования. Циклическая форма воспроизводства получает свое внешнее выражение в движении различных взаимосвязанных и взаимозависящих показателей, движении, обусловленном известной закономерностью. Задача настоящей ступени исследования заключается в том, чтобы обнаружить, почему и как закономерность, лежащая в основе циклической формы воспроизводства, необходимо проявляется в определенном движении показателей на поверхности капиталистического хозяйства. Это есть предмет собственно теории кон'юнктуры, представляющей собой верхний этаж общей теории воспроизводства.

Теория кон'юнктуры может служить основой для предсказания движения кон'юнктуры в конкретных условиях. Но глубоко ошибочным является господствующее в буржуазной экономике представление о том, что познание закономерностей движения внешних показателей капиталистической динамики может дать в руки капиталистов орудие для предотвращения кризисов. Маркс совершенно правильно подчеркивает тот факт, что процесс обнаружения и взрыва противоречий происходит в порядке, обратном процессу их формирования. Первые внешние признаки торгово-промышленного кризиса появляются на денежном рынке, т. е. на самых крайних звеньях производственной системы, наиболее отдаленных от производства—основного центра формирования противоречий, вызывающих кризис. Кризисные явления в сфере денежного рынка суть следствие противоречий в сфере производства, и возникают поэтому *после* того, как основные противоречия, вызывающие кризис, уже созданы. А поскольку эти основные противоречия существуют, они, невзирая ни на какие оттяжки и смягчения, должны рано или поздно—и притом в форме кризиса—проявиться и получить свое разрешение.

¹ Маркс, Теории, т. II, ч. 2, с. 180.

Методологической предпосылкой теории конъюнктуры, как теории движения внешних показателей капиталистической динамики, является также «чистый капитализм». Теория конъюнктуры имеет своим объектом наиболее конкретные явления. Но, тем не менее, поскольку дело идет о теоретическом осознании закономерностей, присущих капитализму, абстракция от некапиталистической среды абсолютно необходима, так как циклическая форма воспроизводства не имеет места ни в каком другом хозяйстве, кроме капиталистического. Само собой конъюнктура изучает и те модификации, которые имеют место в объекте ее изучения в результате перехода капитализма в монополистическую стадию развития.

Таковы, в общих чертах, основы правильного, марксистского метода изучения циклической формы воспроизводства, имманентной капитализму, метода, в результате применения которого хаос множества многообразных явлений превращается в стройную систему явлений закономерно обусловленных.

Что могут противопоставить этому методу наши противники? Все современные теории конъюнктуры строятся на основе эмпирического метода. Буржуазные теории конъюнктуры начинают с изучения недифференцированного конкретного капиталистической динамики, пытаясь из него самого непосредственно вывести присущие ему закономерности. Профессора Кондратьев, Первушин и Шапошников, теорию конъюнктуры которых нам придется рассматривать дальше, представляют собой типичных представителей эмпирического метода, характерного для всех современных буржуазных теоретиков конъюнктуры¹.

Кондратьев пытается дополнить свой подход к теории конъюнктуры методом абстрактного построения схемы равномерно-эволюционирующего хозяйства². Метод этот, как мы увидим далее, является в корне ошибочным. Но и он остается пустой фразой, ибо во всех своих построениях в области теории конъюнктуры проф. Кондратьев обеими ногами стоит на почве эмпирического метода. В самом деле, на чем основана кондратьевская теория «больших циклов конъюнктуры»? Только на том, что проф. Кондратьев, как ему казалось, подметил определенную эмпирическую «закономерность» в ходе капиталистической динамики на протяжении известного отрезка времени. На этом основании он пытается построить целую теорию, должную объяснить развитие капиталистической динамики в прошлом и будущем. На том же эмпирическом методе построена и теория кризисов проф. Кондратьева и признание им вероятности 3—3½-годовых циклов Кичина. Тот же эмпирический метод лежит в основе построений профессоров Первушина и Шапошникова. Оба они выводят закономерности циклической формы воспроизводства исключительно из анализа внешней оболочки капиталистического хозяйства.

¹ Сравни: *Кассель* цит. раб., с. 4, *Рёнке*, цит. раб. предислов. к русск. изд., с. 8, *Mitchell*, *Business cycles*, изд. 1913 г. и 1927 г. *Момберт*. Введение etc., *Pigou*. А. С., *Industrial Fluctuations*. 1927 и многие другие.

² «Соц. Хоз.», 1924, кн. II, с. 371—372.

Но эмпирический метод не только не приближает к познанию закономерностей капиталистической динамики, а, наоборот, лишает возможности отыскать основные рычаги, порождающие закономерные циклические колебания. Ибо, как мы знаем, в капитализме форма явлений никогда не совпадает с их сущностью. Тщетно, поэтому, искать закономерности капиталистической динамики в их внешних проявлениях. Простое описание, даже фотографирование явлений, не в состоянии вскрыть присущих им закономерностей, объяснить их, показать их истинную природу, т. к. последняя находится вовсе не там, где ее ищут. Ибо, если бы дело обстояло иначе, то никакой нужды в теоретической экономии, как науке, не было бы. «Всякая наука была бы излишней, — говорит Маркс, — если бы формы проявления и сущность вещей непосредственно совпадали».

В результате применения эмпирического метода буржуазная экономия, открытками которой являются и «наши» профессора, в области теории конъюнктуры бесплодна, как сухая смоковница. Анализ конкретной конъюнктуры, вне применения марксова абстрактного метода, позволяет лишь найти ряд эмпирических закономерностей, внешне выраженных связей и зависимостей. Но эти закономерности отнюдь не являются выражением основных движущих сил капиталистической динамики, ибо последние скрыты в глубине капиталистического хозяйства, за внешней формой явлений, в пределах которой их ищут буржуазные исследователи. Анализ буржуазных теоретиков конъюнктуры скользит по поверхности, и поэтому все их выводы носят частичный характер, не увязаны с анализом всей капиталистической экономической системы. Такая увязка может иметь место лишь тогда, когда постигнуто основное, что определяет циклическую форму воспроизводства. Познать это основное буржуазным теоретикам мешает их метод.

Буржуазные теоретики, применяющие эмпирический метод, не знают различных ступеней анализа. Они не могут поэтому отделить главное от второстепенного, причину от следствия. Этим и объясняется то, что они воспринимают кризис так, как он непосредственно дан на поверхности явлений, т. е., как один из моментов конъюнктурной кривой, совершенно не понимая его определяющей для всего цикла роли. Отсюда проистекает ошибка Кондратьева, превращающего проблему кризиса в производную от проблемы цикла. Здесь также лежит корень ошибок Первушина и Шапошникова, придающих кредиту решающее значение в движении цикла и возникновении кризисов, тогда как явления в области кредита суть лишь следствия действия других, более глубоких и более удаленных от поверхности явлений факторов.

Эмпирический метод далее приводит к игнорированию противоречий, лежащих в основе капиталистического хозяйства и тем самым к непониманию того, что кризис является *необходимым* этапом в развитии капиталистического цикла, так как в кризисе находят свое необходимое проявление и разрешение противоречия, назревшие внутри системы.

Игнорирование противоречий обуславливает собой также отрицание строгой периодичности кризисов и циклов, имманентной капиталистическому хозяйству. Ведь периодичность кризисов и циклов обуславливается тем, что разрешение противоречий кризисом отнюдь не означает устранения их в пределах капитализма. Противоречивый характер капиталистического производства обуславливает собой новое назревание противоречий и тем самым периодическое возвращение кризисов и циклов.

Концепции Кондратьева и Первушина служат ярким примером непонимания и извращений, характерных для буржуазной экономии вообще. Оба они отрицают, что кризис является необходимым этапом в развитии цикла, оба же отрицают строгую периодичность циклов¹. Наконец, вся теория кризиса проф. Кондратьева представляет собой, как мы увидим далее, сплошной гимн капиталистической гармонии,

Наконец, неспособность найти закономерности, лежащие в основе капиталистического хозяйства, ведет к тому, что в области и теоретического и конкретного исследования буржуазные теоретики конъюнктуры по-пошехонски путаются меж трех сосен. Не имея критерия того, что имманентно капиталистическому хозяйству и что представляет собой результат влияния сожительства с ним некапиталистической среды, они безбожно путают случайное и закономерное, общее и частное, то, что составляет специфические особенности капитализма с тем, что составляет внешнее и чуждое в отношении к капитализму. Это смешение конкретного и абстрактного, случайного и закономерного преследует наших теоретиков на каждом шагу. Вся теория «больших циклов конъюнктуры», равно как и признание вероятности существования 3—3½-годовых циклов Кичина, страдают этой характерной для эмпирического метода ошибкой. Достаточно, далее, вспомнить, на чем основан отказ Митчелля и Первушина от признания всеобщности и периодичности циклов, чтобы видеть, насколько они погрязли в эмпиризме и насколько неспособны к какому-либо различению закономерного и случайного. Ошибки Кондратьева совершенно идентичны ошибкам этих экономистов. При этом Кондратьев с Митчеллем делают ошибок несравненно больше, и ошибки более грубые, чем другие сторонники эмпирического метода в теории конъюнктуры. Так, например, Кондратьев, как и Митчелль, совершенно не понимает своеобразия конъюнктуры военного и послевоенного периода. Не стесняясь, говорит он о военном и послевоенном периоде (1914—1920 гг.), как об отрезке повышательной волны большого цикла. Кризис 1920—21 гг. в представлении Кондратьева есть обычный капиталистический кризис². Период 1914—21 гг. представляется, как единый «нормальный» цикл конъюнктуры, завершившийся кризисом. На такие утверждения, имеющие, как мы уже выясняли, довольно определенную апологетическую подоплеку, не решаются

¹ Первушин, цит. соч. с. 53—54; Кондратьев, «Вопросы конъюнктуры», т. II, вып. I, с. 205 соглашается в этом с Первушиным.

² Н. Кондратьев, Мировое хозяйство и его конъюнктуры, с. 192.

исследователи, имеющие еще нечто похожее на «теоретическую совесть». Так, например, Кассель прямо заявляет, что он сознательно ограничивает себя периодом до начала мировой войны, так как после этого мировое хозяйство вступило в новый этап развития¹. Подобным образом и А. С. Pigou в предисловии к своей новой книге заявляет: «Условия, преобладающие в великом послевоенном подеме и последующей депрессии, столь ненормальны, что я не рассматриваю их здесь»².

На этом мы заканчиваем рассмотрение методологии теории конъюнктуры «советских» буржуазных экономистов. Рассмотрение самих теорий даст новые штрихи для ее характеристики.

IV. Объяснение циклической формы воспроизводства

Неправильная методология сочетается у «советских» буржуазных экономистов с ошибочным объяснением циклической формы воспроизводства капиталистического хозяйства и теоретическим извращением характера конъюнктурных колебаний в СССР. Оригинального в разбираемых теориях мало: каждая из них представляет собой некоторый вариант одной или комбинацию нескольких широко распространенных буржуазных теорий. Например, проф. Н. Д. Кондратьев в своей теории кризиса примыкает к соответствующим воззрениям Туган-Барановского, как известно, воплотившего в своей теории «лучшие традиции» вульгарной экономии от Сэя до наших дней. Теория конъюнктуры другого буржуазного экономиста, проф. Н. Н. Шапошникова, представляет собой комбинацию денежно-кредитной и психологической теорий. И, наконец, теория конъюнктуры проф. С. А. Первушина, представляющая собой, по существу, отказ от всякой теории, достигает этого ошеломляющего результата путем сочетания денежно-кредитной теории с подчеркиванием влияния урожая на конъюнктуру и отказом от признания «саморазвития» цикла. В работах указанных экономистов мы имеем, таким образом, «букет», в котором представлены основные направления теории конъюнктуры современной буржуазной экономии.

1. Теория кризисов проф. Н. Д. Кондратьева

Особых исследований в области теории циклических колебаний капитализма, за исключением работы, посвященной «большим циклам конъюнктуры», у проф. Кондратьева нет. Но, как уже выяснялось, «большие циклы», если и существуют, не составляют особенности капиталистического хозяйства. В природе последнего не заложено никаких оснований для периодического возникновения таких циклов. Говоря о теории, объясняющей циклическую форму воспроизводства, мы имеем поэтому в виду объяснение механизма 7—11-летних торгово-промышленных циклов, основания для периодического возникновения которых лежат в самой структуре капиталистического хозяйства.

¹ Кассель, цит. соч., с. 11.

² Pigou, A. C., Industrial Fluctuations, London, 1927, Preface.

В этой области у проф. Н. Д. Кондратьева имеются лишь некоторые замечания, претендующие быть объяснением природы капиталистических кризисов.

Кризисы, по мнению проф. Кондратьева, суть нарушения равновесия в подвижной системе народного или мирового хозяйства¹. Капиталистическое хозяйство находится в состоянии подвижного равновесия, при котором элементы хозяйственной системы постоянно более или менее варьируют и колеблются. «Но, если, пишет Кондратьев, колебания и отклонения их происходят в известных, количественно трудно определимых, но для каждой данной совокупности условий вполне определенных границах, система элементов взаимоприспосабливается без резких потрясений. Тогда мы говорим, что народное хозяйство находится в состоянии подвижного равновесия. Наоборот, когда колебания и отклонения элементов выходят за эти границы, наступает процесс кризиса, процесс болезненного установления новой системы подвижного равновесия»².

Таким образом кризисы, по мнению проф. Кондратьева, являются результатом возникновения несоответствий в подвижной системе равновесия капиталистического хозяйства. В частности, кризис 1920—21 гг., который Кондратьев считает кризисом по своей природе бесспорно стоящим в одном ряду с периодическими промышленными кризисами перепроизводства XIX и начала XX века (стр. 192), объясняется им, как результат перераспределения производительной мощи в масштабах мирового хозяйства: ростом производительной мощи Соед. Штатов и Японии, нуждавшихся, вследствие этого, в экспортных рынках и падением производительной мощи Европы, приведшим к падению ее покупательной способности, главным образом, для хозяйственных нужд (с. 199—200). Наряду с диспропорциональностями в рамках всего мирового хозяйства причину кризиса 1920—21 гг. Кондратьев видит в несоответствиях в распределении производства внутри отдельных народных хозяйств. Одни отрасли, сохранение и развитие которых в данной стране предполагалось и обеспечивалось войной, оказались гипертрофированными, тогда как другие, обслуживавшие нужды мирного производства, уменьшились в своем объеме (с. 204—205).

Эту свою теорию кризисов проф. Кондратьев пытается приписать Марксу. В споре с т. Осинским Кондратьев утверждает, что Маркс считал кризисы нарушениями равновесия³. На деле же, у Маркса кризис есть *восстановление равновесия* капиталистического хозяйства, разрешение противоречий, накопленных в течение данного цикла, в первую очередь, противоречия между безграничным стремлением капиталистов к обогащению и увеличению капитала и ограниченной покупательной способностью рабочего населения, противоречия тем

¹ «Соц. Хоз.» 1923, № 4—5, статья Кондратьева «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса», с. 53.

² Кондратьев, Н. Д. «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны, 1922 г., с. 191—192.

³ «Соц. Хоз.» 1923, № 4—5, цит. статья, с. 63—64.

более сильного, что по мере того, как развивается капитализм, спрос на труд относительно уменьшается, хотя абсолютно он растет¹.

Кондратьев превращает это основное противоречие капитализма, являющееся, по Марксу «конечным основанием кризисов», в общее условие, абстрактную возможность, форму кризиса и приписывает Марксу тот взгляд, что основной причиной, превращающей общие условия кризисов из возможностей в действительность, является многообразие диспропорций между основными подразделениями общественного производства и внутри их².

Мы не останавливаемся здесь на логической критике теории кризиса проф. Кондратьева, ибо последняя представляет собою не более, как вариант теории Туган-Барановского. Последняя же подвергалась марксистской критике неоднократно. Достаточно указать на блестящую работу т. Бухарина³ и на критику Тугана Каутским⁴. Специальная теория кризисов Кондратьева была подвергнута удачной критике т. Осинским⁵. Остановимся вкратце лишь на социальной характеристике и методологической критике кондратьевской теории кризисов.

Как и теория «больших циклов конъюнктуры», теория кризисов Кондратьева насковзь апологетична. Она основана на гармонизации капиталистической экономики и затушевывании имманентных ей противоречий. Трактовка кризиса, как нарушения равновесия, означает отрицание того, что капиталистическое развитие происходит в форме противоречий и что кризис является необходимой формой их разрешения. Отрицание Кондратьевым того, что кризис есть неизбежный этап в смене конъюктур от подъема к депрессии⁶ представляет собой логический вывод из отрицания противоречивости капиталистического развития.

Кондратьевское понимание равновесия в капиталистическом хозяйстве связано с его делением капиталистической динамики на обратимые и необратимые или эволюционные процессы. Оно является также основой предлагаемого им метода теории конъюнктуры. Метод этот заключается в абстрактном построении схемы равномерно эволюционирующего хозяйства, которое непрерывно, необратимо и без потрясений развивается. На основе такой схемы, полагает Кондратьев, представится возможным найти условия динамического равновесия системы, а после этого и теорию конъюнктурных колебаний—обратимых процессов по Кондратьеву—составляющих отклонения от идеальной линии равномерно-эволюционирующего хозяйства.

Здесь мы видим отход от чисто-эмпирического метода, которым Кондратьев пользуется в своей теории «больших циклов» и который вообще характерен для буржуазных теоретиков конъюнктуры. Здесь

¹ Маркс, Теории прибавочной ценности, т. II, ч. 2, стр. 166.

² Кондратьев, Спорные вопросы, стр. 64—65.

³ Бухарин, Н. Империализм и накопление капитала, ГИЗ. 1927.

⁴ Каутский, К. Теории кризисов, «Моск. Раб.» 1923.

⁵ Осинский, Н. Мировое хозяйство и кризисы, 1925.

⁶ Кондратьев, Мировое хозяйство, стр. 193.

Кондратьев пытается оплодотворить свою мысль абстрактным методом, характерным для теории Маркса. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что предлагаемый им метод явно непригоден для построения теории конъюнктуры, ибо он, как и теория кризиса Кондратьева, базируется на ряде ошибочных предпосылок.

Метод абстрактного построения схемы равномерно-эволюционирующего хозяйства стоит у Кондратьева в связи с заимствованным им у Кларка делением теории капиталистического хозяйства на статическую теорию, рассматривающую экономические явления вне категории изменения их во времени, и динамическую, изучающую их в процессе их изменения во времени¹.

Для статической теории, по мнению Кондратьева, характерна концепция равновесия взаимно-связанных между собой элементов, для динамической — проблема конъюктур. Кларк применяет статический метод для нахождения условий подвижного равновесия хозяйства с неизменными населением, капиталом, техникой, организацией хозяйства и потребностями². Предлагаемый Кондратьевым метод абстрактного построения схемы равномерно-развивающегося хозяйства представляет собой не что иное, как некоторое усложнение статического метода Кларка. Пользуясь статическим методом, Кларк «отыскивает» условия равновесия хозяйства, находящегося в застойном состоянии и не переживающего циклических колебаний. Кондратьев усложняет анализ тем, что отбрасывает предпосылку застойности и ищет на основе результатов первой ступени анализа, условия равновесия равномерно-эволюционирующего хозяйства, лишенного нарушений в виде циклических колебаний. Наконец, на третьей ступени анализируется действительное капиталистическое хозяйство, т. е. хозяйство с циклическими колебаниями. Путем вычитания результатов второй ступени анализа из результатов последней получается теория циклической формы воспроизводства.

Метод абстрактного построения схемы равномерно эволюционирующего хозяйства заключает в себе больше ошибок, нежели существенных положений. Ибо ни одна из его предпосылок не является правильной.

Прежде всего, ошибочным является деление экономической теории на статическую и динамическую. Двойственный разрез капитализма не только не облегчает познания законов его равновесия и движения, но как раз затуманивает самое существенное в этом вопросе. Анализ отдельных категорий является предпосылкой теории циклической формы воспроизводства. Последняя охватывает взаимное действие отдельных категорий, изучает законы движения капитализма в целом и является выводом из анализа отдельных категорий. Уже по одному этому неправильно, как это делает Кондратьев³, противопоставлять

¹ Кондратьев, Н. Д. «Соц. Хоз.», 1924, кн. II, цит. статья, стр. 350.

² Clark, John Bates. The Distribution of wealth, London, 1925, chapter XXV—XXVI, pp. 399—442. Деление на статическую и динамическую теории признается также Перушиным (Хоз. конъюнктура, 10).

³ «Соц. Хоз.», 1924, кн. II, цит. статья, стр. 354.

анализ циклических колебаний анализу отдельных категорий, статическую теорию динамической.

Рассматриваемый метод основан также на том ошибочном тезисе, что «естественным», так сказать, состоянием капиталистического хозяйства является непрерывное, необратимое равномерное развитие, условием которого является пребывание капитализма в состоянии гармонического равновесия и наличие в нем имманентной ему тенденции равномерного роста. При таком понимании, циклическая форма воспроизводства представляется суммой отклонений, лежащих в иной сфере капиталистической динамики, чем тенденция хозяйства к росту. Но оба эти условия как раз и отсутствуют в капиталистическом хозяйстве. Никакой тенденции к равномерному росту без потрясений и циклических колебаний в капитализме нет.

Что же касается равновесия, то если и можно говорить о нем применительно к капиталистической системе, то не как о гармоническом, а только как о противоречивом равновесии, т. е. таком, в котором всегда заложена возможность взрыва, и где тенденция к равновесию, представляющая собой проявление закона стоимости — основного закона движения системы, черпает свою силу в непрерывной борьбе с противоположными тенденциями.

2. *Уровень процента, помноженного на коэффициент душевного настроения капиталистов или теория конъюнктуры проф. Н. Н. Шапошникова*¹.

Теория конъюнктуры проф. Н. Н. Шапошникова представляет собой эклектическую смесь вульгарной денежно-кредитной и психологической теорий конъюнктуры, причем предпосылкой теории Шапошникова является количественная теория денег.

Шапошников, подобно Бунятяну, отождествляет конъюнктуру с движением цен². Этим он значительно упрощает свою задачу об'яснения циклической формы воспроизводства. Но это упрощение обходится ему чрезмерно дорого — оно упраздняет действительный объект исследования. Последний заключается в об'яснении циклического движения всей совокупности элементов капиталистического хозяйства, а не только цен, в выяснении взаимодействия всех категорий капиталистического хозяйства на протяжении цикла.

Свой анализ конъюнктуры Шапошников начинает с того, что крайне обстоятельно опровергает воззрения двух американских экономистов Foster'a и Catchings'a. Последние об'ясняют перепроизводство отставанием денежного потребительского спроса от предложения товаров, происходящим благодаря тому, что потребители расходуют не весь свой денежный доход на удовлетворение своих потребностей, а часть денежного дохода сберегают. Это сбережение создает перепроизводство и кризис сбыта.

В противоположность этому, проф. Шапошников полагает, что

¹ Шапошников, Н. Н. Кредит и конъюнктура, статья в сборнике «Вопросы конъюнктуры», т. III, в. I.

² Там же, стр. 17—18.

«характерный для кон'юнктурной волны *ритм цен* имеет своим источником не недостаток денег, а *неравномерное толчкообразное создание денежных средств со стороны кредитного аппарата*. Не в поведении тех, кто расходует деньги на потребление, а в поведении тех, кто производит новые денежные средства, лежит ключ к пониманию экономического цикла»¹.

Изложенный взгляд совпадает с точкой зрения Hawtrey, являющегося автором наиболее законченной кредитно-денежной теории кон'юнктуры². Основные пункты воззрений последнего, поскольку к ним присоединяется Шапошников, таковы:

а) Экономический цикл характеризуется нарушением соответствия между денежной и товарной массой. Нарушение этого соответствия является причиной циклических колебаний. В основе периодического колебания цен, которое Шапошников отождествляет с движением кон'юнктуры, лежит изменение размеров противостоящих товарам денежных средств.

б) Будучи создателями (в определенных пределах) новых денежных средств, банки создают инфляцию и дефляцию (так как новые деньги суть, согласно количественной теории, по существу, налог на денежных капиталистов). Размеры кредита изменяются толчками. Толчкообразное увеличение и уменьшение размеров кредита обуславливает толчкообразное изменение цен и смену одних периодов цикла другими.

в) Толчкообразное развитие кредита имеет в своей основе сохранение определенного уровня кассовой наличности банков. Падение уровня кассовой наличности вызывает сокращение кредита со стороны банков посредством повышения ими уровня процента. Повышение уровня процента сказывается прежде всего на торговцах (для которых движение уровня процента, ввиду использования ими больших заемных оборотных средств, имеет очень большое значение, несравненно большее, чем для промышленников, нуждающихся в относительно гораздо меньшем оборотном кредите с изменчивым процентом) и толкает их к уменьшению своих товарных запасов и сокращению заказов промышленности. Результатом этого является сокращение производства, приводящее к уменьшению спроса на средства производства и средства потребления, последнее—вследствие сокращения числа рабочих и уменьшения общей суммы зарплаты, а на основе этого—еще большее сокращение производства и депрессия. Под'ем, наоборот, вызывается увеличением кредита (опять-таки, исходя из кассовой наличности), вследствие понижения процента, что приводит к увеличению запасов торговцев и их заказов промышленности. Рост промышленности сам создает дополнительный спрос на средства производства и средства потребления.

Изложив эту концепцию, проф. Шапошников пишет: «Я готов признать, что здесь содержится более или менее правильное описание процесса развития кон'юнктуры, но для объяснения самого

¹ Шапошников, цит. статья, стр. 24 (курсив наш).

² Hawtrey, R. G. Good and Bad Trade, London, 1913.

явления во всей цепи рассуждений нехватает одного существенного звена. Тот факт, которому Hawtrey придает решающее значение в развитии кон'юнктуры, сам имеет производный характер, нескрытый автором»¹.

После прочтения этих строк в вашу душу начинает закрадываться надежда, что проф. Шапошников хоть со стороны подойдет к правильной постановке проблемы цикла и поставит движение денежного капитала в связь с движением производительного. Но вас ждет разочарование. Автор, оказывается, наносит удар Hawtrey лишь для того... чтобы заставить его потесниться и освободить немного места для субъективной теории цикла.

«Основная ошибка Hawtrey,—пишет Шапошников,—заключается в том, что он упускает из виду, что представление о ликвидности банка, говоря словами Хана (очевидно Hahn'a. Е. Г.), в сильнейшей степени зависит от субъективных моментов. При большей или меньшей вере в будущее считается достаточным то больший, то меньший ликвидитет. И размер предположения банковского кредита определяется мерой этого имеющегося налицо доверия»².

В основе толчкообразного расширения кредита—непосредственной причины циклических колебаний—лежит, по Шапошникову, душевное настроение лиц, ищущих кредита, передающееся, по его словам, руководителям банков. Последние заражаются общим возбуждением и выходят за те пределы, которые незадолго перед этим их останавливали. Аналогично обстоит дело и с сужением кредита.

Периодический характер циклов обусловлен тем, что руководители хозяйства не могут находиться в состоянии душевного равновесия, а постоянно колеблются между двумя крайностями.

Колебания между крайностями происходят потому, что хозяйство имеет дело с будущим и часто довольно отдаленным будущим. Отсюда и неизбежность ошибок. Ошибки эти не нейтрализуются действиями других лиц, а, наоборот, усугубляются ими по той простой причине, что ошибки, как дурные примеры вообще, крайне заразительны. Но ошибки рано или поздно обнаруживаются и вызывают перелом кон'юнктуры. Когда, например, обнаруживаются оптимистические ошибки, выражающиеся в слишком большом расширении кредита, то кредит сокращается, наступает падение цен и кризис. Когда, наоборот, обнаруживается, что пессимизм, проявленный в течение известного периода, не имеет под собой оснований, то кредит расширяется, цены повышаются, и хозяйство переходит от депрессии к под'ему. Основной пружиной сужения и расширения кредита является уровень процента. Но этот последний есть лишь передаточный механизм осуществления циклических колебаний, а не причина их.

Душевное настроение хозяйствующих субъектов—вот что определяет циклическую форму воспроизводства. Остальное имеет второстепенное значение. Больше того: колебания между крайностями

¹ Шапошников, цит. статья, стр. 30.

² Там же, стр. 31.

пессимизма и оптимизма есть то, что обуславливает собой вечность циклической формы воспроизводства. «Если бы,—говорит Шапошников,—денежное обращение развивалось в полном соответствии с потребностями оборота, мы не имели бы колебаний общего уровня цен, но самый факт периодических колебаний общего темпа хозяйственной жизни, возможно, оставался бы налицо. Деловой мир в своих хозяйственных оценках и предположениях продолжал бы колебаться между крайностями хозяйственного пессимизма и оптимизма, и этого факта «вероятно было бы достаточно, чтобы *создать циклы перемежающегося оживления и зстоя в том обществе, где не было бы денежного хозяйства*» (Lavington, The Trade Cycle, 1925, p. 38)¹.

Теория кон'юнктуры проф. Н. Н. Шапошникова представляет собой, таким образом, амальгаму денежно-кредитной и психологической теории. Поскольку дело касается механизма цикла, Шапошников здесь принимает теорию Hawtrey: кризис возникает вследствие того, что деньги, вместо того, чтобы быть израсходованными на товары, изымаются из обращения посредством сокращения банками кредитов.

Давая общую оценку этой теории, нужно сказать, что она представляет собой вариант весьма характерной для вульгарных экономистов попытки объяснения кризисов общей возможностью кризисов. Попытки такого объяснения имеют за собой весьма почтенный «стаж», восходящий едва ли не к тому времени, когда политическая экономия впервые поставила перед собой задачу объяснения кризисов. Марксу были знакомы такие попытки, и о них он пишет: «Не лучше, впрочем, и теория экономистов (как например Дж. Ст. Милля), которые хотят об'яснить кризисы такими простыми, заключенными в метаморфозе товаров, *возможностями* кризисов, как разделение купли и продажи. Эти определения, об'ясняющие возможность кризиса, далеко еще не об'ясняют его действительного наступления, не об'ясняют еще, почему фазы процесса вступают в такой конфликт, что их внутреннее единство может выразиться только в кризисе, в насильственном процессе. Это разделение проявляется в кризисе; это элементарная форма его. Об'яснять кризис из этой элементарной формы—значит об'яснять существование кризиса таким образом, что выражают его существование в абстрактной форме; это значит, следовательно, об'яснять кризис кризисом»².

Об'яснение циклической формы воспроизводства у Hawtrey и Шапошникова основано на целом ряде неправильных допущений и ошибок. Основная ошибка этого об'яснения заключается в том, что расширение кредита, играющего роль *усилителя* под'ема, принимается за основной рычаг его, а нужда в кредите, являющаяся в период, предшествующий кризису, *следствием* перепроизводства товаров, возводится на уровень *причины* кризиса. Действительные отношения поставлены здесь на голову. Другой ошибочной предпосылкой теории Шапошникова является количественная теория денег. По Шапошни-

¹ Там же, стр. 33.

² Маркс, Теория, т. II, ч. 2, стр. 174.

кову увеличение количества денег во всех случаях приводит к инфляции, а уменьшение к дефляции, что явно неверно. Далее, в определении движения цен, ошибочно отождествляемом с движением кон'юнктуры, Шапошников совершенно игнорирует причины, лежащие на стороне товаров¹.

Душевное настроение капиталистов является, по Шапошникову основной причиной движения уровня процента и размеров кредита, в свою очередь определяющих движение кон'юнктуры. Если даже допустить, что в человеческой природе «деловых людей» заложено свойство колебаться между крайностями оптимизма и пессимизма, то позволительно спросить: почему от начала одной крайности пессимизма, рождающей кризис, до начала другой проходит столь продолжительный период и чем об'ясняется относительная устойчивость его. Какой-нибудь внутренней закономерностью смены душевных настроений «бизнесменов» этого не об'яснишь. Это понимает и сам Шапошников. Чувствуя никчемность своей позиции, Шапошников в конце статьи ставит вопрос: «Но нет ли в народнохозяйственном процессе каких-нибудь объективных фактов, которые, независимо от субъективных настроений руководителей хозяйства, способны были бы вызывать колебания хозяйственной жизни? И отвечает: «Ответ на этот важный вопрос я оставляю пока за собой»². Этим Шапошников сам ставит под сомнение достоинство изложенной им концепции кон'юнктуры, держа, однако, под секретом окончательный ответ на поставленный им вопрос. Вряд ли, однако, этот секрет вызовет чье-либо любопытство, ибо, судя по уже изложенному Шапошниковым в цитированной статье, кроме жалкого лепета, притом заимствованного из очередных «творений» какого-нибудь «модного» экономиста, мы ничего другого не услышим.

Нечего и говорить о том, что «теория» Шапошникова насквозь пропитана духом оправдания капитализма, затушевыванием его противоречий и скрытым стремлением доказать вечность капиталистических отношений. Превращение самой общей возможности кризиса—разновременности купли и продажи—в его основную и непосредственную причину приводит к устранению из поля зрения целого ряда противоречий, в своей совокупности рождающих кризис, и к затушевыванию основных противоречий капиталистического способа производства. А утверждение о том, что факта колебания «делового мира» между крайностями хозяйственного оптимизма и пессимизма вероятно было бы достаточно для того, чтобы создать циклы перемежающегося оживления и зстоя в обществе, где не было бы денежного хозяйства, представляет собой попытку оправдания капитализма,

¹ Интересную эмпирическую критику кредитной теории кон'юктур дал Snyder, C. в статье «The influence of the interest rate on the business cycle», помещенной в «American Economic Review», December 1925. См. также статью Mitchell, Waldo F., «Interest, costs and the business cycle» («The American Economic Review, June 1926»), где автор по нашему мнению крайне неубедительно возражает Snyder'у.

² Шапошников, цит. статья, стр. 33.

основанную на том убеждении, что капитализм есть лучшая из возможных хозяйственных систем и что в отношении формы воспроизводства социализм не имеет никаких преимуществ перед капитализмом, так как и при безденежном хозяйстве—сиречь социализме—циклическая форма воспроизводства должна остаться.

3. *Теория кон'юнктуры проф. С. А. Первушина или отсутствие всякой теории.*

Проф. Первушин является столь же мало последовательным и столь же мало оригинальным в вопросах теории кон'юнктуры, как и другие представители буржуазной экономики в СССР. Он придерживается эклектической теории, составляющей смесь денежно-кредитной теории с теорией, связывающей движение кон'юнктуры с размерами урожая в сельском хозяйстве. В своих построениях Первушин стоит на позициях известного английского экономиста А. С. Pigou,¹ развивающего более или менее установившиеся взгляды англо-американской школы. Основные идеи теории кон'юнктуры Первушина сводятся к следующему:

а) Первушин отрицает автоматизм цикла, т. е. тот факт, что депрессия сама собой переходит в под'ем, что утверждает Марксом и признается целым рядом других теоретиков (Туган-Барановский, Кассель и др.).

Для того, чтобы депрессия могла перейти в под'ем, хозяйству, по мнению Первушина, необходим возбудитель его в виде большого урожая, крупных технических усовершенствований, открытия новых рынков² или тому подобных фактов. Отсюда у Первушина вытекает отрицание строгой периодичности капиталистических циклов. Отрицание это вполне понятно: раз под'ем вызывается случайными причинами, а эти причины, естественно, не могут наступать периодически, то и цикл не может быть периодичным. Отрицание автоматизма цикла представляет собой одно из основных положений значительной группы новейших буржуазных теоретиков кон'юнктуры. Ярче всего оно выражено у Шпитгофа, который, как и Первушин, отрицает достаточность падения уровня процента для обеспечения вложения нового капитала (хотя последний и признает уровень процента основной пружиной развития цикла, поскольку под'ем уже начался), а в качестве необходимого толчка предполагает приобретение новых рынков и технические усовершенствования³. Того же мнения придерживается также Лексис⁴ и Геркнер⁵. Последний, однако, признает также наличие имманентных самой природе капиталистического хозяйства сил, приводящих к под'ему так, что последний является результатом

¹ См. Pigou A. C., *Industrial Fluctuations*, 1927. Более ранняя его работа: *Economics of Welfare*, 1923.

² Первушин, *Хоз. кон'юнктура*, стр. 4, 54—55 и 70.

³ Spiethoff, статья «Krisen» в *Handwörterbuch d. Staatswissenschaften*, 4. Aufl. B. VI, S. 71.

⁴ Lexis, статья «Ueberproduction» *Hdwrb. d. St.* 3. Aufl. Band VIII, S. 2—9.

⁵ Herkner, там же, статья «Krisen». B. VI, S. 259. Геркнер разбирает три группы внешних толчков: урожай, продукция золота и мода,

сочетания их с внешними толчками. Сюда же относится и Зомбарт, видящий по словам Геркнера в периодической смене кон'юктур только слепую игру исторической случайности и выводящий хорошие кон'юнктуры из случайного сочетания благоприятных обстоятельств (напр., богатых урожаев, открытия больших залежей золота, технических открытий и т. д.)¹. Такого же взгляда придерживается и Репке, отрицающий возможность под'ема без наличия экзогенных, т. е. извне лежащих, причин. Таким внешним толчком является, по мнению Репке, убеждение предпринимательского духа в том, что за периодом депрессии последует период под'ема. Ко вложению капиталов побуждает и низкий процент в период депрессии². Аналогичны воззрения Момберта³ и американского экономиста Adams'a, выпустившего недавно книгу о циклах⁴. На той же точке зрения стоит и вдохновитель Первушина А. С. Pigou, также не признающий периодичности циклов и предпочитающий употреблять понятие «ритмичности» или даже «quasi-ритмичности». По мнению Пигу, ритмические колебания могут быть результатом (might result) действия причин, спорадических по своей природе и неповторяющихся ритмически, но которые вместе с тем, раз возникнув, вместо того, чтобы исчерпать себя (instead of exhausting themselves) начинают волнообразные движения⁵. К таким причинам Пигу относит замену орудий производства приблизительно раз в десять лет, психологические причины в виде перемежающихся ошибок оптимизма и пессимизма, понижение и повышение уровня процента. Единственная причина, ритмически повторяющаяся,—изменения урожая. Однако, корреляция циклических и урожайных колебаний несовершенна, вследствие чего последние не могут быть признаны не только единственной, но даже главной причиной промышленных колебаний⁶.

б) Поскольку под'ем уже создан действием внешних факторов, он неизбежно переходит в кризис или депрессию. Причины такого перехода, по мнению Первушина, коренятся в условиях денежного обращения и кредита, в особенности в кредитной инфляции в период под'ема со всеми ее производными. «Раз начавшееся (на каком-нибудь участке хозяйства—Е. Г.) оживление, *благодаря денежно-кредитному аппарату* имеет тенденцию к распространению, неизбежно охватывает народнохозяйственный организм в его целом и заканчивается кризисом или депрессией (хозяйственный цикл). Продолжительность этого цикла определяется условиями капиталистического производства—продолжительностью периода производства инструментальных индустрий».

«Основной пружиной в развитии начавшегося цикла является норма учетного процента, ее отставание от роста товарных цен.

¹ Там же, S. 254.

² Репке. *Кон'юнктура*, стр. 72—73.

³ Момберт, Введение в изучение кон'юнктуры и кризисов», Гиз., 1923.

⁴ Adams, *Economics of Business Cycles*, New-York, 1925, p. 111—113.

⁵ Pigou A. C., *Industrial Fluctuations*, p. 206.

⁶ Там же, p.p. 211—212.

Влияние этого фактора осложняется параллельным отставанием роста цен потребительских благ от цен средств производства, а также цен готовых изделий—от цен сырья.

«Причина кризиса или депрессии лежит в условиях денежного обращения и кредита: перенапряжение кредита, кредитная инфляция и, как ее следствие, резкое расхождение общественного предложения с общественным спросом, а также общественного спроса с общественным доходом влекут за собой явления перепроизводства и кризиса» («Хоз. кон'юнктура», стр. 70).

в) На ряду с денежно-кредитными моментами Первушин признает первостепенное значение влияния на циклические колебания капиталистического хозяйства сельскохозяйственных кон'юнктур. Однако, он, не соглашается целиком с Муром, который пытается доказать, что волны, порождаемые сельским хозяйством, поглощают чисто кон'юнктурные волны, т. е. что с.-х. волны являются единственной причиной циклических колебаний¹.

По мнению Первушина, после элиминирования с.-х. колебаний из цикла какие-то волны остаются; они только становятся еще менее регулярными, менее периодичными и менее всеобщими, чем до элиминирования с.-х. колебаний². В признании роли денежно-кредитных и урожайных факторов определения циклической формы воспроизводства Первушин также целиком примыкает к Пигу.

Что можно сказать о теории кон'юнктуры проф. С. А. Первушина? Прежде всего то, что ей присущи недостатки как денежно-кредитной, так и урожайной теории кон'юнктуры. В теории кон'юнктуры Первушина мы имеем причудливое сочетание теории Hawtrey и Hahn'a³, с анекдотическим Джевонсом, об'яснявшим периодичность кризисов периодичностью солнечных пятен и их влиянием на погоду и урожай, и не менее анекдотическим Муром, ищущим об'яснения капиталистических циклов в космическом цикле, вероятной причиной которого является периодическое восьмилетнее движение планеты Венеры в ее отношении к земле и солнцу⁴. Ко всем вопиющим ошибкам и недостаткам обеих теорий прибавляется еще эклектизм, лишающий «теорию» Первушина всякого внутреннего единства и делающий ее внутренне-противоречивой.

Отрицание автоматизма цикла у Первушина не доказано. Первушин считает условия денежного обращения и кредита—перенапряжение кредита и кредитную инфляцию, причинами кризиса или депрессии. Но почему же, хотя бы эти условия, оказывающиеся, по мнению Первушина, столь мощными, чтобы переломить под'ем и создать кризис, не могут переломить депрессии и создать под'ем? Ответа на этот вопрос Первушин не дает. Его теория лишена даже той внутренней логики,

¹ См. Moore, *Generating Economic Cycles*, 1923, выводы на стр. 14, 41 и 67.

² Первушин, цит. раб., стр. 48.

³ Hahn, *Theorie des Bankkredites*, 1920. См. также статью «Kredit», *Handwörterbuch d. Staatswissenschaften*, 4. Aufl. Band V, особенно SS. 950—953.

⁴ Moore, цит. раб., стр. 67.

которая имеется во всякой другой денежно-кредитной теории кон'юнктуры.

В доказательство того, что саморазвивающегося из депрессии под'ема нет и что между отдельными циклами всегда есть разрыв, Первушин ссылается на «внимательный анализ фактов», указывающий якобы на несомненную связь начала нового оживления и под'ема, со вступлением в действие мощных факторов особого порядка, не стоящих в неразрывной связи с предшествующим состоянием кон'юнктуры¹. Однако, факты, приводимые самим Первушиным относительно мирового урожая пшеницы (стр. 40), равно как и данные о технических открытиях свидетельствуют, что вмешательство этих моментов перед кризисами не предотвращает их, равно как и отсутствие их не мешает возникновению под'ема. Так, например, прекрасный мировой урожай пшеницы 1882 г. в 62,5 млн. тонн, общей стоимостью в 17.187,5 млн. шилл., превзошедший по своим размерам и ценности все урожаи за 20 лет, с 1878 по 1897 г., не мог остановить кризиса 1882—83 гг. То же можно сказать и об урожае 1891 г.—ценностью в 15.044,04 млн. шилл., который был самым крупным за период 1883—1897 гг.—равно, как и об огромном урожае 1907 г. ценностью в 19.880,88 млн. шилл. С другой стороны, более низкий, чем в 1882 г., урожай 1880 г. (валовая ценность 16.200,5 млн. шилл.) и более низкий, чем урожаи 1883, 1884, 1890, 1891 и 1892 гг., урожай 1888 г., по Первушину, почему-то создал под'ем. Также непонятно с точки зрения Первушина, почему создали под'ем самый низкий за 17 лет (1878—1894) урожай 1894 г. и урожай 1906 г., который был всего на полпроцента выше урожая 1907 г., оказавшегося не в состоянии предотвратить кризис. Первушинский «внимательный анализ фактов» на деле оказывается далеко не таковым.

Сколько-нибудь серьезно возражать против такого обоснования необходимости внешних толчков, как то, что депрессия не имеет одинаковой продолжительности в различных циклах, не приходится. Возникновение под'ема из депрессии, проистекающее из того, что, несмотря на различие периодов, когда вкладывается капитал, кризис всегда является исходным пунктом для крупных вложений капитала², неизбежно. Но это еще не значит, что под'ем должен наступить через определенное количество лет, месяцев и дней. Под'ем сменяет депрессию тогда, когда для этого назовут экономические основания в виде дополнительного спроса на товары, вследствие крупных новых вложений капитала. Длительность депрессии стоит, таким образом, в зависимости от того, насколько быстро произойдет созревание экономических условий для под'ема, равно как и длительность этого последнего в зависимости от того, как скоро условия роста производства придут в конфликт с условиями самовозрастания капитала. Длительность и депрессии и под'ема и цикла в целом может, таким

¹ Первушин, цит. соч., стр. 54—55.

² Маркс, *Капитал*, т. II, изд. 1923 г. стр. 158

образом, весьма значительно варьировать. И, действительно, оно так и есть. Первушин, делающий отсюда вывод, сводящийся к отрицанию периодичности кризисов и циклов, рассуждает не-экономически, а статистически или даже просто арифметически и не желает понять, насколько многообразна экономическая действительность и насколько относительно суждения о сроках наступления того или иного явления в этой сфере. В течение почти столетия, протекшего со времени первого типично-капиталистического кризиса 1825 г. до мировой войны, продолжительность циклов колебалась от 7 до 11 лет. Но теоретически вполне возможно сокращение или удлинение продолжительности циклов в зависимости от изменения исторических условий развития капитализма и его структуры. Это, однако, само по себе не означает, что исчезнет периодичность циклов и депрессия не будет автоматически рождать под'ем. К автоматизму возникновения под'ема Первушин пред'являет такие же требования, которым удовлетворяет лишь автомат, выбрасывающий взамен монеты бутерброды, перронные билеты и т. д. Поскольку в сфере экономических явлений такого автоматизма нет и быть не может, Первушин отказывается признавать «саморазвитие» под'ема и периодичность циклов.

Ошибки денежно-кредитного об'яснения кризиса Первушиным очевидны. Так же, как и у *Hawtrey* и *Шапошникова*, они основаны на превращении моментов, сопутствующих перепроизводству и составляющих его следствие, в основную причину кризиса.

Кроме причин, лежащих в сфере денежного обращения и кредита, Первушин придает большое значение изменениям урожайности, как фактору циклических колебаний. Первушин полагает, что колебания показателей, лежащих на стороне сельского хозяйства, хотя и не поглощают целиком кон'юнктурных волн, но, как следует из работы Мура, составляют весьма важный момент в определении цикличности. Первушин, вместе с Муром, считает, что элиминирование с.-х. волн из общей кривой кон'юнктурного цикла значительно ослабляет ее. Это неверно. Первушин не понимает здесь, что в исследованиях Мура мы имеем обычный фокус буржуазных теоретиков кон'юнктуры. Занимаясь элиминированием отдельных колебаний из общей кривой капиталистической динамики, они совершенно не заботятся о методологии своего анализа. Последняя же насквозь ошибочна. Мур, элиминируя из конкретной кривой общей капиталистической динамики с.-х. волны, полагает, что получил в виде остатка модель кривой динамики такой формы хозяйства, где все капиталистические предприятия свободны от сколько-нибудь значительного влияния естественных факторов, и что посему остаток этот в наиболее чистом виде выражает кон'юнктурные колебания, присущие капиталистическому хозяйству без сельского хозяйства. На деле это в корне неверно, так как у такой формы хозяйства, если бы она реально существовала, система соотношения отдельных составных его частей была бы совершенно иной, чем в том остатке, который получился у Мура в результате элиминирования с.-х. волн. Следовательно, и кривая кон'юнктурных колебаний этой формы хозяйства была бы иной, чем у Мура. Поэтому исследова-

ния Мура ни в какой мере не подтверждают значения с.-х. волн, как фактора, определяющего циклическую форму капиталистического производства.

Переходя к общей оценке кон'юнктурных построений Первушина, нужно сказать прежде всего то, что по существу они представляют собой скорее отрицание всякой теории и всякой возможности ее построения, нежели положительную теорию кон'юнктуры. Отрицая имманентный самому капиталистическому производству характер под'ема и выдвигая в качестве неперемennого возбудителя его внешний толчок, отрицая на этом основании периодичность циклов, придавая едва ли не решающее значение в развитии цикла с.-х. волнам (колебаниям урожайности), Первушин переносит центр тяжести об'яснения имманентной капитализму циклической формы воспроизводства на факторы случайного порядка, составляющие экзогенные по отношению к капиталистической системе хозяйства моменты. Этим самым из об'яснения циклических колебаний капитализма изгоняется всякая закономерность. Совершенно естественно, что явления, лишенные внутренней закономерности, не могут быть об'ектом теоретического исследования. И хотя Первушин хочет считать свои построения теорией кон'юнктуры, однако, это мнение есть только плод его добровольного заблуждения.

Изгнание закономерности из циклической формы воспроизводства должно привести к мысли о том, что последняя отнюдь не является неизбежным спутником капиталистического производства, как такового,—выводу крайне утешительному для идеологов капитализма. Таким образом, концепция Первушина представляет собой еще один вид апологии капитализма у буржуазных теоретиков кон'юнктуры¹.

Апология капитализма в концепции Первушина проявляется далее, в том, что, вводя элемент урожая в качестве важнейшего из определяющих цикл факторов, он переносит об'яснение циклической формы воспроизводства из сферы общественных в сферу естественных

¹ Сведение «теневых» сторон капитализма, внутренне присущих ему, к явлениям, лишенным внутренней закономерности и обусловленным случайными, экзогенными причинами, составляло всегда и составляет теперь важнейшее занятие буржуазной политической экономии. В области теории кон'юнктуры на этом поприще полностью или частично изощряются в настоящее время: *Pigou*, *Mitchell*, *Robertson*, *Spiethoff*, *Penke*, *Момберт*, *Зомбарт*, *Первушин* и мног. друг. Характерна для этого направления буржуазной экономии статья *Слуцкого*, *Е. Е.* под названием «Сложение случайных причин как источник циклических процессов», помещенная в сборнике «Вопросы кон'юнктуры». Этот достойный представитель упомянутого метода, в своем стремлении выхолостить из учения о циклах всякий намек на закономерность, пытается доказать, исходя из «вечных законов» математики, что определенная структура отношений между случайными колебаниями может упорядочивать их, создавая более или менее правильные волны.

После ряда математических операций, *Слуцкий*, *Е.* приходит к выводу, что «сложение случайных причин может быть источником циклических, иначе говоря волнообразных процессов» (стр. 42), притом периодически повторяющихся (стр. 44). Здесь чрезвычайно характерна самая постановка вопроса, стремление математически обосновать ритмичность (вместо периодичности, которую представители этого направления отрицают) сочетанием случайных обстоятельств.

явлений и тем увековечивает эту форму. Немудрено, что Первушин не проводит никакой разницы между конъюнктурными колебаниями при капитализме и в СССР. В частности в своей неоднократно цитированной уже работе сей ученый муж, как мы уже отмечали, рассматривает, как единый, военный и революционный период в России (1914—1924 гг.)¹. Таким образом в данном случае Первушин показывает свою физиономию апологета капитала с двух сторон— во-первых, тогда, когда он доходит, по существу, до полного отрицания имманентного капитализму характера циклической формы воспроизводства и, во-вторых, тогда, когда он приписывает эту форму переходному к социализму хозяйству. Эти моменты представляют собой новые штрихи для классовой характеристики первушинских «теорий».

Евг. Грановский

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ¹

«Историк, желающий всегда и во всем быть новым, неизбежно начинает говорить неправду».

Трейчке.

I.

Греческая философия и с нею философия вообще рождается в VI веке до нашей эры. И рождается она не только в теснейшей связи с естествознанием, а как естествознание, как первая попытка дать универсальное обобщение нового опыта новой эпохи, нового класса.

Именно поэтому греческая философия возникла в виде материализма. В своей «Истории материализма» Ф. А. Ланге говорит, что «материализм так же стар, как философия, но не старше» (изд. «Реклама», I, стр. 27). Этими словами он, конечно, хочет оттенить преродство идеализма, ибо его невысказанная, но явно подразумеваемая мысль заключается в том, что идеализм был представлен еще до материализма в религиях (или в поэзии?). Новейшие исследования в области истории религий показали, однако, что первоначально даже религии имели материалистическую структуру. Стало быть материализм во всяком случае старше философии. Материализм есть вообще первое возможное и необходимое мировоззрение, как это открыто признает один не просто идеалистический, а идеалистический с вывертом историк греческой философии (за правильность мыслей, излагаемых в нижеследующей цитате, мы на себя ответственности не берем):

«Существует физический мир вне нас и внутренний духовный мир».

«Какой из них будет естественно восприниматься, как более реальный? Люди будут считать наиболее реальным тот мир, который для них наиболее привычен, с которым они впервые приходят в соприкосновение и о котором больше всего знают. А таковым бесспорно является внешний материальный мир».

«Только что родившийся ребенок обращает глаза к свету, т. е. к чему-то внешнему, физическому. Мало-по-малу он знакомится с различными объектами в комнате. Он узнает свою мать, но его мать— прежде всего физический объект, тело. Лишь гораздо позже мать становится для ребенка духом (mind), или душой. Вообще все наши пер-

¹ Настоящая статья является введением к подготовленной для печати «Истории греческой философии» и печатается здесь с некоторыми изменениями.

¹ Первушин, цит. работа, гл. VI, стр. 215—275.

вые опыты относятся к материальному миру. Внутренний мир постигается нами только через интроспекцию (самонаблюдение. Л. Р.), а привычка к интроспекции появляется лишь в юности или в зрелом возрасте, у большинства же людей вообще никогда не появляется. В те ранние, богатые впечатлениями годы, когда образуются наши самые прочные представления о вселенной, мы соприкасаемся почти исключительно с внешним миром. Духовный мир, с которым мы гораздо менее знакомы, кажется нам всем чем-то сравнительно нереальным, каким-то миром теней. Направление нашей мысли (mind) получает материалистический характер».

«Сказанное мною об индивиде относится в равной мере и к роду. Первообытный человек не задумывается над фактами своего собственного сознания. Большую часть своей жизни он вынужден посвящать добыванию пищи и борьбе с опасностями, угрожающими ему со стороны других физических тел. Но и в наше время большинству людей приходится тратить больше всего времени на рассмотрение различных сторон внешних вещей. Таким образом как в силу индивидуальной привычки, так и продолжительной наследственной передачи, люди склонны считать внешний мир более реальным, чем духовный».

«... Итак, если кто-нибудь думает, что существует порода людей, являющихся естественными идеалистами, то это чистейший вздор. Мы... *прирожденные материалисты*. И поэтому при всякой попытке мыслить такие об'екты, которые обыкновенно считаются нематериальными, каковы бог или душа, нам бывает чрезвычайно трудно удержаться от материалистического представления о них. Материализм, унаследованный может быть от нескольких сотен тысячелетий, работает против нас» (W. T. Stace, Критическая история греческой философии, английский текст, стр. 8—11).

Утверждение Ланге оказывается, таким образом, несостоятельным. Но если слегка изменить его вышеприведенное изречение, получится нечто более близкое к истине. А именно, мы можем сказать: «Философия так же стара, как материализм, но не старше». Ибо хотя, как замечено выше, первообытные религии были материалистичными еще до всякой философии и лишь позже, на определенной стадии анимизма, развились в сторону решительного идеализма, все же философия никак не может быть старше материализма, ибо в виде материализма она впервые появляется на свет.

Это, конечно, весьма досадный факт для нынешней официальной философии, и не удивительно, что она всячески старается либо затушевать свое происхождение, либо—если упрямые исторические факты уже слишком этому противятся—хотя бы перетолковать или опорочить его. Приведу несколько примеров.

Один из наиболее признанных авторитетов в области истории греческой философии, английский профессор Дж. Бэрнет, говорит в предисловии к третьему изданию своей «Early Greek Philosophy» (Ранняя греческая философия):

«Я назвал Парменида «отцом материализма». Однако в определенных кругах все еще утверждают, что он был идеалистом (современ-

ный термин, весьма сбивчивый в применении к греческой философии), и утверждают это на том основании, что «сущность материализма в том и состоит, что материальный мир, мир чувственного восприятия, признается за действительность» (W. T. Stace, A. Critical History of Greek Philosophy), а между тем Парменид определенно отрицал реальность чувственного мира. Это не подлежит сомнению, и если бы я употребил выражение «материализм» в указанном смысле, я сказал бы вздор. Но я считаю, что «материя» материалистов вообще не есть возможный об'ект чувственного восприятия: она в такой же мере или даже еще больше ens rationis (мысленная вещь), чем дух. И «бытие» Парменида есть первая попытка постигнуть эту *нечувственную реальность*» (стр. 5—6. Разрядка моя. Л. Р.).

Приведенная цитата очень наглядно показывает, в каком смысле идеалистические историки философии признают античных материалистов. Современных материалистов они поднимают на смех или осыпают бранью, или же просто не обращают на них никакого внимания (как на Маркса, Энгельса, Дицгена, Плеханова и Ленина), античных же материалистов спасает от этой судьбы то уважение (очень часто слепое), которым античность вообще пользуется в буржуазном мире. Поэтому ищут другого выхода: просто извращают понятие материализма.

Древний мир в самом деле не знал *суб'ективного* идеализма в стиле Беркли. «Реальность телесного мира... если не считать разрозненных и случайных попыток в этом направлении, еще не сделалась проблемой для древних. Поэтому древние и не имели повода заниматься вопросом о том, есть ли материя нечто отличное от сознания» C. I. Baumker, Das Problem der Materie in der gr. Philosophie, стр. 5). Но ни Кант, ни Гегель не оспаривали «реальность» внешнего мира, существующего вне сознания. И если у Канта это был материалистический эклектицизм и непоследовательность, то никак нельзя сказать того же о Гегеле. Независимость внешнего мира от «духа»—вот единственно, что оспаривал Гегель, как до него еще Платон и вообще *об'ективный* идеализм (а об *об'ективном* идеализме вполне возможно говорить и в применении к древнему миру). Основной же тезис материализма (всякого материализма, как античного, так и современного) заключается, как известно, в утверждении этой независимости внешнего мира от духа. Но под выражением «действительный мир» или «реальность внешнего мира» и надо понимать как раз это утверждение материализма. В этом смысле Платон, например, определенно отрицает «действительность», или «реальность» внешнего мира. Этот вопрос о реальности внешнего мира нельзя смешивать с тем обстоятельством, что всякий материализм должен выйти за пределы данных; непосредственно доставляемых чувствами, чтобы возвыситься до абстракции «материя». Что это понятие есть абстракция, совершенно бесспорно¹. Но значит ли это, что материя вообще не есть возможный

¹ Плеханов (собр. соч., XVII, стр. 204) называет ее «абстракцией первого порядка», вырастающей на реальной основе. Наоборот, «представление о духе получается в результате усилия *отвлечься от представления о материи*. Это аб-

объект чувственного восприятия?» что она в такой же мере или даже еще больше «ens rationis, чем дух?» Нисколько! Это только общеизвестное, избитое возражение против материализма, который хотя бы таким образом заклеить или (как в нашем случае) приспособить ко вкусам идеалистов.

Или вот еще пример. Другой, впрочем очень остроумный исследователь, Карл Йозель, написал целую книгу для доказательства той мысли, что натурфилософия греков, а равно и ренессанса, возникла не из духа торгового капитализма (боже сохрани!), который однако странным образом и в античном мире, и в эпоху ренессанса развивается одновременно с натурфилософией, а из духа... мистики, т. е. из религиозного духа. Ниже нам придется говорить о том, что греческая философия, возникшая в форме натурфилософии, была в эпоху своего возникновения мятежом, борьбой против религии. Но нет, Йозелью это не по нутру:

«Если древние превыше всего гордились званием потомков богов, то люди нового времени согласны искать своих предков только в обществе обезьян. Они не верят ничему, что не обясняется зоологически. Они презирают всякого, кто их не унижает. И если древние оправдывались словами: *naturalia non sunt turpia* (естественное не позорит), то в наши дни приходится говорить: *theologica non sunt turpia* (религия не позорит). Я далек от мысли мешать моим современникам предаваться культу говорящих обезьян, умных лошадей, белокурых бестий и разводимых для опытов кроликов; я хотел бы в конечном счете только показать, что это тоже культ, что уже в самом источнике, бесспорно низком, таится зародыш высшего, что уже в естественном предчувствуется божественное, в физическом уже проявляется духовное, в первом объективном уже действует импульс субъективного» (курсив мой. Л. Р.).

Тенденция автора и здесь совершенно ясна. И можно без преувеличения сказать, что все бывшие до сих пор изложения греческой философии написаны в таком духе.

Особенно возмутительна книга Карла Форлендера «Народная история философии», появившаяся в серии Международной Библиотеки и, стало быть, явно предназначенная германской социал-демократией к роли насадительницы «миросозерцания» среди германских социал-демократических рабочих. Форлендер—известный неокантианец и, следовательно, идеалист. Он никогда не был марксистом и вовсе не желает быть таковым. Много лет тому назад, когда в германской социал-демократии, во всяком случае в ее теоретическом органе, блудителями марксистского духа еще были такие люди, как Ф. Меринг, этот последний писал против Форлендера («*Neue Zeit*», 1900 г., т. XVIII, стр. 37):

стракция второго порядка, отрицающая реальную основу, на которой возникает абстракция первого порядка—вещество».

Ясно, что все идеалисты—в нашем случае Бэрнет—стараятся низвести правомерную «абстракцию первого порядка» на степени неправомерной абстракции второго порядка, чтобы таким образом либо оправдать идеализм, либо скомпрометировать материализм.

«Как Валленштейн едва терпел в своей армии требник и библию только потому, что он решительно не допускал вмешательства духовных споров в свои светские стратегические планы, так и социал-демократия не может допустить, чтобы ясное небо ее научного миросозерцания заволокло идеологическим туманом. И поскольку неокантианцы ставят себе эту цель, никакое соглашение невозможно даже с такими людьми, как Штаудингер и Форлендер».

С тех пор положение, конечно, изменилось. Где оно—«ясное небо научного миросозерцания» социал-демократии? Есть ли у нее еще вообще какое-нибудь самостоятельное миросозерцание? Увы, все живое выдохлось, осталось одно неокантианство. Социал-демократия просто усвоила буржуазное неокантианское миросозерцание, и книга Форлендера есть продукт теперь уже не только возможного, но фактически осуществленного соглашения между социал-демократами и неокантианцами, продукт идеологической капитуляции первых перед вторыми.

При таких обстоятельствах неудивительно, что «народный» характер книги Форлендера заключается ни в чем ином, как в идеалистическом морочении рабочих. Гораздо удивительнее ее беспримерная примитивность. Вот несколько примеров.

По вопросу о происхождении философии Форлендер просвещает «народ» следующей чепухой:

«Началом всякой философии является, как уже сказал один древнегреческий мыслитель, «удивление». Когда в ребенке просыпается рассудок и он начинает мучить своих родителей или учителей постановным вопросом «почему?»; когда первобытный человек задумывается над тем, откуда он происходит, то в этом уже таится зародыш философствования... Ребенок и находящийся еще на низкой ступени знания первобытный человек удовлетворяется, пожалуй (это «пожалуй» великолепно! Л. Р.), чаще всего (значит «пожалуй» не всегда? Л. Р.) любым ответом (!), который он получает на эти неотвязные вопросы от родителей, от сведущих людей, от тех, кто считается или на самом деле умнее, в иных случаях—от правителей или жрецов. Но постепенно, по мере созревания как отдельных лиц, так и целых народов, в них просыпается более глубокая жажда истины (!), которую не утолишь поверхностными ответами, не дающими удовлетворения уму».

И эта чепуха преподносится рабочим в качестве серьезного обяснения происхождения философии! Но это в конце концов простое невежество. Гораздо хуже, когда сознание рабочего отравляется таким, например, утверждением, что «книги древних еврейских пророков с их пламенными обличениями капитализма (буквально! Л. Р.) могут до известной степени считаться предтечами современных социалистов». Если бы вместо социалистов было написано социал-демократов, то это было бы оскорблением для древних еврейских пророков, которые боролись хоть и не с капитализмом, тогда еще вовсе не существовавшим, но зато с другими истязателями еврейского народа гораздо честнее, чем нынешние социал-демократы борются с капитализмом. Что же касается социализма еврейских пророков, то враги социализма и марксизма не раз называли Маркса Исаией, но

еще никто не называл Исаию Марксом. Демокрит, последовательный материалист древности, преподносится рабочим и остальному народу (странно, что автор предназначил свою книгу не для «черни»—это куда больше подошло бы к «научности» его изложения!) под таким идеалистическим соусом:

«Так, на первый взгляд (!) учение Демокрита представляется грубо-материалистическим. И все же оно в последнем счете (!), как всякая подлинная наука (!) «идеалистично», т. е. основано на мысли» (кавычки выражают здесь, очевидно, бессознательную насмешку автора над этим своим открытием, до которого еще никто не дошел и которое, повидимому, сделано специально для «просвещения» рабочих).

Если идеализм означает «основанность на мысли», то неокантианцы, или во всяком случае один из них, в самом деле «идеалисты» в кавычках, т. е. лишь весьма приблизительные идеалисты.

II.

При таких обстоятельствах ответы новейших авторов на важнейшие вопросы греческой философии, разумеется, совершенно неудовлетворительны. Первый из этих вопросов гласит: почему, в противоположность другим народам древности, в одной только Греции появилась философия? В самом деле, ни у одного из древних народов, ни у египтян или вавилонян, ни у евреев, ни у индусов¹ или китайцев, дело не пошло дальше *зачатков* в этом направлении,— у всех у них *религия* играет безусловно господствующую роль. То, что мы находим под названием философии в Греции и что до сих пор разумеется под этим названием, именно отдельное от религии или, по крайней мере, отдельно от религии выступающее *научное мирозерцание*,— этого мы вообще не находим у названных народов или находим только в зародыше. Иные слепые поклонники всего, что связано с античной Грецией, доходят даже до того, что объявляют греков родоначальниками не только философии, но вообще всякой науки, логического мышления и т. д. Это, разумеется, вздор, и обращаясь к источникам, из которых греки сами черпали при своих первых научных попытках, мы видим, сколько предшественников было у них в математике, астрономии и т. д. Но все же несомненно, что ни у одного народа древности философия не развилась настолько и не играла такой роли, как у греков. Это обстоятельство приписывалось до сих пор историками греческой философии таким причинам, которые не имеют к ним никакого или только *косвенное* отношение.

Так, например, и в этом случае прибегают, конечно, к понятию расы. Греки, говорят нам, принадлежат к расе, которая и в других областях истории совершила великие, необычайные подвиги, и не-

¹ Так уже *Тренделенбург* говорит (*Logische Untersuchungen*, 3-е издание, 1870, I, стр. 5.): «Где еще нет никаких других наук, там в сущности нет и философии. То, что при таких условиях, как на Востоке, напр. в Индии, может показаться философией, есть в сущности только порождение религиозного духа... схоластика национальной религии».

удивительно поэтому, что их необыкновенный гений совершенно самостоятельно создал искусство, науку и философию. Серьезно опровергать эту теорию едва ли стоит. Упомянем только ради курьеза, что как раз в последнее время появились защитники взгляда, согласно которому вся эта блестящая греческая культура была создана *не греками*, а жившей в Греции более древней расой.

Греки точно так же не представляли собой единой расы, как и все остальные народы.

«Расовая чистота не может быть признана... ни за одним греческим племенем, даже чистота эллинской расы в самом широком смысле слова, ибо... всюду можно предполагать примесь карийской, иллирийской, фракийской крови» (*У. ф. Вилламовитц-Меллендорф*, Государство и общество греков, стр. 22). «Фанатизм чистой расы может с некоторой видимостью правдоподобия ссылаться на греков, язык и культура которых на высоте своего развития обнаруживают несравненную чистоту и единство. Но это—последний результат продолжительного развития, а в основе лежит и здесь неразличимое смешение народов и культур, и нельзя даже говорить о чистоте арийской крови» (там же, стр. 25).

Если это верно по отношению к грекам, оставшимся в метрополии, то в еще большей степени верно это по отношению к тем, которые рано переселились на малоазиатское побережье или в Нижнюю Италию и Сицилию. А между тем, именно среди этих последних *возникает* и переживает свой первый расцвет философия; в метрополии, в Афинах она появляется сравнительно поздно. Греческие переселенцы смешались с самыми различными, в том числе финикийскими народами, и рано образовали смешанную расу, подобно всем остальным народам. Первый же греческий философ Фалес происходил из такой смешанной греко-финикийской (карийской) семьи (*Йозль*, История античной философии, т. I, стр. 239). По Геродоту, его родители были даже прямыми выходцами из Финикии. Если это так, то значит начало философии положено финикийцами, т. е. людьми семитской расы. Но и помимо этого некоторые исследователи, как уже сказано, пытаются в последнее время свести происхождение всей греческой духовной культуры к более древней расе, чем та, которую мы обозначаем именем «греков». Так, английский исследователь сэр А. Эванс говорит в своей статье «Критские и микенские элементы в греческой жизни» (цитируется у Бэрнета, «Ранняя греческая философия», стр. 2, прим.):

«Народ, встречаемый нами на заре нового периода,—это не светлокожие северяне (желтоволосые «ахейцы» и другие), а главным образом те темноволосые люди с коричневой кожей..., изображения которых мы находили прежде на критских и микенских фресках». А Бэрнет добавляет: «Греческим искусством и греческой наукой мы во всяком случае обязаны этому более древнему племени».

Будем ли мы вместе с Бэрнетом считать людей этого более древнего племени тоже «греками», или нет, во всяком случае несомненно, что пришедшие позже «желтоволосые», «бледнолицые» ахейцы, доряне и т. д., это якобы менее одаренное племя, уже конечно были гре-

ками. (Или может быть Спарта, господствующий класс которой чище всего сохранил свой дорический расовый характер, не была греческой?). Но как мы видим, различие между двумя главными элементами, из которых произошли позднейшие «греки» или эллины, достаточно великое, чтобы можно было говорить о двух слившихся расах (одна—черноволосая и темнокожая, другая—с желтыми волосами и светлой кожей). Не говоря уже о том, что только предубеждение может приписать все искусство и всю науку греков лишь одной из этих двух рас, мы стоим перед альтернативой: либо «греки» были вообще одарены в силу своих расовых свойств (но это не так, потому что одна их часть, «ахейцы и другие», признается недостаточно одаренной); либо только одна часть «греков» была одарена,—а это не согласуется с расовой теорией. К тому же защитники этой теории попадают в очень фатальное для них положение: создание искусства и науки они целиком приписывают «темноволосой и темнолицей» расе, в роде семитов, и отрицают всякое участие в этом создании «желтоволосой и светлолицей» расы, в роде той, к которой принадлежат германцы, в том числе англичане и немцы.

III.

Вторым фактором, которым объясняют исключительную философскую одаренность древних греков, является страна, в которой они жили. Так, уже цитированный нами выше К. Йозль, несмотря на все оговорки, в роде: «природе не следует придавать ни слишком большого, ни слишком малого значения» (цитата из Гегеля), или: «страна одна не создает людей уже потому, что и люди создают страну» (несомненно очень тонкая и правильная мысль),—несмотря на все эти оговорки, Йозль все же объясняет в конечном счете природой страны происхождение и, что еще гораздо удивительнее, характер греческой философии. Он пишет, например (История античной философии, I, стр. 59):

«Сознание пробуждается—это говорит даже идеалист. Фихте—от преткновения, от преграды. Основная черта греческого духа—ограничение, и именно в этом основная черта и греческой страны, выделяющая ее из всех других стран, в том числе и южных. Первое, что в ней бросается в глаза, особенно в сравнении с Востоком,—это ее малость, ее ограниченность». И далее: «Проницательные географы и критические историки, равно как романтические и умозрительные философы давно уже вывели из пестроты греческой природы пестроту греческой жизни, индивидуальное богатство эллинской культуры... Это еще далеко не значит впасть в исторический материализм, превращающий жизнь в простой продукт природы, тогда как она на самом деле свободно отражает и продолжает природу, поднимает ее на высшую ступень и в конце концов преодолевает».

Да, если бы исторический материализм действительно был тем, что здесь под ним разумеет цитируемый автор! Пышными тирадами не так-то легко опровергнуть такую теорию, как исторический мате-

риализм. А все эти речи о «свободном» отражении и «конечном» преодолении только пышные тирады. Фразы остаются фразами, пустые фразы остаются пустыми, даже когда они входят в железный инвентарь идеализма и бессмысленно повторяются людьми, которые за привычным звуком слов не замечают полного отсутствия всякого реального содержания! Если уже подобная «критика» теории, которую критик не знает и даже не старается узнать, достаточно характерна, то судорожное усилие очиститься от подозрения в материализме еще характернее! Что в историческом материализме исторично, этого наш автор не понимает; что в нем материалистично, он с отвращением отталкивает от себя; за малейшее указание на то, что греческая философия зависела от внешних условий, он считает нужным извиниться, чтобы не быть заподозренным в материализме. Так страх перед историческим материализмом загоняет назад, на давным давно отжившую историческую точку зрения XVIII века или не менее устаревшего Бокля!

Греческая философия возникла не в самой Греции, будто бы столь «ограниченной»; а в Малой Азии и Нижней Италии (или Сицилии), она зародилась на Востоке, на том самом Востоке, природу которого так противопоставляют природе Греции. Рядом простиралось лидийское царство, покорившее малоазиатские города греков как раз в период возникновения философии. Город Милет, в котором она и возникла, находился в отношении культурного развития, нравов и т. д. под сильнейшим влиянием лидийцев (Милет был гаванью Сард, лидийской столицы). Географически эти малоазиатские греческие колонии составляли одно целое с внутренними областями страны и, подобно им, не были стеснены границами (подчеркиваю: географически, ибо в остальных отношениях они были как раз очень стеснены лидийским царством, что сильно отразилось на их социально-экономическом укладе, в отличие, например, от ниже-италийских и сицилийских колоний, у которых не было за спиной могущественных соседей). И тем не менее у лидийцев не было никакой философии; греки же, обитавшие в западных колониях, создали в совсем других природных условиях такую же философию, как и их восточные соплеменники. С другой стороны, жившие в тех же природных условиях римляне не дали в области философии ничего хоть сколько-нибудь оригинального. Все это решительно опровергает «географическую» теорию. И как объяснить, что в новое время самой философской нацией являются немцы, страна которых во всяком случае не «ограничена» в том смысле, как Греция? Если бы кто-нибудь хотел сослаться на то, что в эпоху, когда в Германии еще философствовали, она была так же раздроблена, как древняя Греция, то мы спросим далее: почему же здесь разная «природа» на севере и на юге привела к одним и тем же результатам? К тому же Франция и Англия, тоже имеющие кое-какое отношение к новой философии, никогда не были раздроблены, «ограничены» в том смысле, какой имеет в виду Йозль (в обычном смысле всякая страна ограничена). Или как объяснить тот факт, что в одних и тех же странах и следовательно в одних и тех же географических условиях параллельно возникают и борются друг

с другим *самые различные*, ограниченные и не ограниченные, идеалистические и материалистические системы, и что *одни и те же* основные направления повторяются затем в странах с самыми различными географическими условиями? О том, что природа Греции ни в чем существенном не изменилась с древних времен, а между тем философская и художественная одаренность греков исчезла почти совершенно, мы упомянем здесь только ради полноты аргументации.

Силу этого последнего аргумента сознает и сам Йозель и пытается заранее отвести его (там же, стр. 149):

«Если исходить, как мы это делаем, из природы Греции, то неизбежно навязывается вопрос, почему эта почва не давала больше философских плодов в последующие тысячелетия?» И он отвечает: «Никакая почва не дает плодов в любое время,—к благоприятным условиям места должны присоединиться благоприятные условия времени».

Но это «дополнение» к его исторической теории еще характернее, чем сама теория. Какая мне польза от *абстрактного* понятия времени, когда я стараюсь об'яснить *конкретное* явление? Говорю ли я что-нибудь о развитии планет или видов, или чего бы то ни было, когда утверждаю, что это развитие происходит от времени? Дарвинизм и марксизм дают как будто нечто большее, чем эту плоскую ссылку на время, ничего в данном случае не говорящую и не объясняющую.

IV.

Конечно, природа Греции сыграла некоторую роль в вопросе о происхождении и характере греческой философии, но не непосредственно, а лишь *косвенно*¹—через посредство тех экономических условий, которые развились в этой части античного мира отчасти под влиянием географического положения, но вовсе не благодаря ему одному. И здесь действительно имеется большое различие между Грецией и Востоком, природа которого являлась исходным пунктом для совсем другого экономического, а, следовательно, и культурного развития.

Вот как характеризует Маркс роль естественных условий («Капитал», I, 392, перевод Степанова-Скворцова):

«Внешние естественные условия экономически распадаются на два большие класса—естественное богатство средствами существования, следовательно плодородие почвы, обилие рыбы в водах и т. д., и естественное богатство средствами труда: водопады, судоходные реки, лес, металлы, уголь и т. д. На низших ступенях культуры первый род, на высших второй род естественного богатства имеет решающее значение. Сравните, например, Англию с Индией или в *античном мире Афины и Коринф с прибрежными странами Черного моря*» (подчеркнуто мною. Л. Р.).

¹ Между прочим, марксистов, сторонников исторического материализма, постоянно упрекают в «наивности», «шаблонности» за то, что они выводят всю духовную культуру из «одной причины»—из экономического строя. Однако ни один исторический материалист не позволил бы себе такого шаблонно-наивного *умозаключения по аналогии*—от «ограниченной» природы Греции прямо к «ограниченной» философии греков.

Несколько далее читаем:

«Необходимость общественно контролировать какую-либо силу природы в интересах хозяйства, необходимость в крупном масштабе использовать ее или сдерживать ее разрушительные действия при помощи сооружений, возведенных рукой человека, играет решающую роль в истории промышленности. Так это было, например, в Египте, Ломбардии, Голландии и т. д. или в Индии, Персии и т. д., где орошение искусственными каналами не только доставляет почве необходимую для растений воду, но в то же время приносит вместе с илом минеральное удобрение с гор».

К этому два важных примечания:

«Необходимость вычислять периоды разлития Нила создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей сельского хозяйства».

И другое:

«Одной из материальных основ государственной власти над несвязанными между собой производственными организациями Индии было регулирование водоснабжения»¹.

Эти глубокие замечания, брошенные Марксом вскользь только в виде иллюстрации, были блестяще подтверждены новейшей наукой.

Все культуры, возникшие до греческой, отличались тем, что в них либо богатство *средств существования* превышало богатство *средств труда*, либо эти последние было трудно использовать при данном уровне техники. Но во всех этих странах естественные условия требовали возведения крупных оросительных сооружений, а эта задача могла быть разрешена только коллективными усилиями. Мы видим поэтому, что после более или менее длительного периода раздробленности в Египте, Вавилонии, Индии и Китае (т. е. как раз в тех странах, в которых задолго до греков развилась значительная культура,—евреи со всей их культурой принадлежат к Ассирии и Вавилонии—) складывается в общем и целом один и тот же социальный строй: кастовая организация или по крайней мере сильная закреплённость всех профессий, которые передаются от отца к сыну и из круга которых никто или почти никто не может вырваться. Одинаковому социальному укладу соответствует одинаковая политическая организация, именно, основанная на рабском труде производящего населения, крестьян, абсолютная власть центрального правительства, большие централизованные государства, нуждающиеся в постоянных завоеваниях. Войны, которые они вели, не имели другой цели, кроме приобретения человеческого материала для рабского труда при постройке каналов. В результате возникла могущественная бюрократия (или каста жрецов, ибо первоначально это одно и то же), и отсюда преоб-

¹ Это место лишний раз показывает, как осторожно подходил даже такой мастер метода исторического материализма, как Маркс, к сведению политических явлений к их материальной основе. Он говорит: «одной из материальных основ» государственной власти в Индии было регулирование водоснабжения. И нас еще упрекают в «односторонности», когда противная сторона решает вопросы куда проще!

ладающая роль религии, что раньше или позже должно было, конечно, затормозить развитие наук, хотя первоначально власть жрецов-бюрократов основывалась именно на их научных знаниях, которые были необходимы для регулирования водоснабжения.

Вот как описывает, например, природу страны и происхождение культуры в Египте Эдуард Мейер («История древности», т. I, ч. 2, стр. 57):

«В своем естественном состоянии страна не могла быть особенно притягательной для охотничьих и кочевых племен. Она была пересечена множеством речных рукавов и в периоды разлива превращалась на целые месяцы в большое озеро; в болотах и тростниковых зарослях ютились самые жуткие фигуры животного царства—крокодилы, нильские лошади, змеи, слоны... далее страусы, а также львы и пантеры, спускавшиеся из пустыни к реке на водопой... Таким образом страна сама вынуждала к энергичной деятельности, к запруживанию рек и регулированию их течения, к превращению болот и зарослей в пахотную землю, к устройству поселков на высоких местах, не затоплявшихся при разливах и... связанных друг с другом посредством насыпных дорог,—все задачи, которых не мог разрешить отдельный поселенец или внутренне слабо связанный племенной союз и которые поэтому *вынуждали к созданию твердой государственной организации*. Так египтяне сделали *крестьянским народом под сильной монархической властью*; только таким путем могли быть вскрыты источники благосостояния, создавшие основу для более высокой культуры и превратившие нижнюю Нильскую долину в одну из благословеннейших стран земли» (курсив мой. Л. Р.).

Аналогично описывает тот же автор географическое положение и его последствия в Вавилонии (там же, стр. 429).

«Пересекши сирийско-месопотамскую степь многочисленными извилами с сильным течением, Евфрат сближается с Тигром на расстоянии нескольких миль и вместе с ним вступает в обширную низменность, образовавшуюся из наносов обеих рек. Более высоко расположенный Евфрат разделяется на множество рукавов и каналов, стекающих по большей части к Тигру и орошающих обширную площадь. В сухое, иногда определенно холодное время года вода стоит низко, и большинство каналов высыхает; в марте вода начинает прибывать в Тигре, а в апреле в Евфрате, и в период половодья (в июне и июле), когда огромные снежные массы устремляются с армянских гор к морю, обширные пространства превращаются в большие озера, из которых выступают только отдельные более высокие места, как это бывает в Египте двумя месяцами позже. Вода и ее осадки сообщают почве интенсивную плодородность,.... не превзойденную ни в какой другой стране. Правда, для ее использования нужен и здесь, как и в Египте, усиленный и внимательный труд человека. Неукротимая река приносит столько же вреда, сколько пользы, то слишком бурным течением, то застоєм своих вод, превращающихся в болото. Нужно запруживать плотинами ее рукава, прорывать и поддерживать в годном виде новые каналы, предупреждать их засорение илстыми массами, не допускать самовольного прорыва плотин окрестными жи-

телями, расточающими воду и отнимающими ее у тех, кто сидит ниже по течению... *Поэтому Вавилония бывала благоустроена только при наличии сильного правительства»* (курсив мой. Л. Р.).

О китайцах М. Вебер говорит:

«Первоначальное происхождение вотчинного чиновничества из работы над прорытием сточных рвов и каналов, происхождение власти монарха из необходимого барщинного труда подданных (как в Египте и Передней Азии), прежде всего в целях регулирования водоснабжения, происхождение единого государства из все более расширяющейся потребности в едином плане этого регулирования в связи с потребностью в политическом охранении благоустроенной страны от вторжения кочевников»,—все это нашло себе выражение в легендах и учреждениях Китая (Religionssoziologie, I, стр. 336).

Следы этого происхождения монархии и бюрократии из регулирования водоснабжения сохранились и в языке:

«Как в Египте фараон держит в руке жезл в качестве символа «правления», так и китайский иероглиф, означающий «править» (*чин*), означает вместе с тем «держат палку», и по старой терминологии он отождествляется с «регулированием воды», как понятие «закона» (*фа*) отождествляется с понятием об «отведении воды» (там же, стр. 294, прим.).

Не только земледельческие округа, но и города, когда они возникли, оказались в полной зависимости от водорегулирующей деятельности центрального правительства:

«Крупные передне-азиатские города, как Вавилон, рано попали в полную зависимость от бюрократической царской администрации по сооружению каналов. Несмотря на чрезвычайную слабость китайского центрального правления, то же самое приходится сказать и о китайском городе. И его преуспевание в большой степени зависело не от хозяйственной и политической отаги его жителей, а от функций императорской администрации, в первую голову речной администрации» (там же, стр. 294).

То же самое относится к Индии и даже к Японии (М. Вебер, Wirtschaftsgeschichte, стр. 64 сл. и 275 сл.).

«В период до бюрократической царской власти (было) несколько городов, пользовавшихся политической автономией и управлявшихся патрициатом, который рекрутировался из родов, поставивших слонов на войско. Но впоследствии это исчезло совершенно. Победа ритуальной кастовой замкнутости взорвала цеховое объединение, а царская бюрократия, заключившая союз с браминами, окончательно смела эти зачатки» (М. Вебер, Wirtschaft und Gesellschaft, стр. 524. Курсив мой. Л. Р.).

Такова основная причина, помешавшая в этих странах развитию сильного городского населения: последнее было слишком прикреплено, в силу условий самого хозяйства, к мощному центральному правительству, чтобы быть в состоянии добиться независимости. Вебер, с поразительным трудолюбием собравший все относящиеся сюда данные, ищет причину в другом—в религиях, которые будто бы препят-

ствовали в этих странах развитию «капиталистического духа», и в «кастовой замкнутости». Но оба эти фактора не только не препятствуют теперь развитию капитализма в Индии, а оказываются вынужденными уступить ему дорогу. Что касается религий, то они отнюдь не были чем-то первичным, а развивались в теснейшей зависимости от экономической основы, от регулирования водоснабжения, как мы это сейчас докажем цитатами из самого Вебера. Но для нас во всяком случае важно отметить эту зависимость городов от центральной власти и от жрецов-бюрократов, потому что здесь перед нами одна из причин, помешавших горожанам приобрести как политическую независимость от центральной власти, так и (что для нас еще важнее) *идеологическую независимость от религии*.

В самом деле, во всех рассматриваемых странах религия сделалась той идеологией, которая, наполнила и должна была заполнить все мышление. Хозяйство этих стран было очень несложно (как мы покажем ниже на цитатах из Маркса и других знатоков этих обществ). Данные условия хозяйства не менялись веками; если хозяйство почему-либо распалось, оно затем восстанавливалось снова в неизменном виде. Это уже само по себе вызывало некоторую *неподвижность* всего общественного уклада. К этому присоединились еще два уже отмеченные нами обстоятельства, теснейшим образом связанные с хозяйством. Природа, естественные богатства почвы приносили, при надлежащих хозяйственных мероприятиях, обильные плоды. Но из этих мероприятий два играли решающую роль: во-первых, для успешной обработки почвы было недостаточно индивидуальной рабочей силы одного крестьянина или крестьянской семьи и даже рабочей силы целой крестьянской общины; только при *максимально планомерном* и концентрированном использовании рабочей силы можно было разрешить задачу канализации и искусственного орошения. Но и этого одного было, в конце концов, недостаточно: требовалась еще *техника* (в самом широком смысле слова, охватывающем и *технические знания*).

Первое из этих условий, вызывавшееся характером самого хозяйства, было достигнуто введением системы *принуждения*: *все общественные классы были в самых широких размерах прикреплены к своему занятию* (кастовая система), отдельное лицо было прикреплено к коллективному хозяйству. Если это чрезвычайно усиливало и без того уже существовавшую неподвижность общественного уклада, то в результате усиливалась и власть религиозных идеологий, все время черпавших новую силу из передававшегося из поколения в поколение, от отца к сыну, изолированного и отъединенного социального положения как отдельных лиц, так и целых слоев и классов. Ведь эта связанность и изолированность, это господство кастовой системы принимает форму религиозных заповедей, религиозной традиции. *Неизменность социального положения и господство религиозной идеологии, неподвижность экономического и социального положения и неподвижность идеологии идут рука об руку.*

Преобладание религиозной идеологии было еще в огромной степени усилено вторым обстоятельством: вся техника, все технические

знания были сосредоточены в руках жрецов и царской бюрократии. Техника тоже облекается в форму традиции, *предписывающей* способ хозяйства, в форму *заповеди*. Традиция оказывается *религиозной* традицией. Религиозная традиция охраняется жрецами и усиливает политическое влияние и политическую власть жрецов. Последние следят в свою очередь за тем, чтобы религия оставалась полновластной, чтобы появление других идеологий не подорвало ее могущества. Там, где образуется до некоторой степени независимая от жрецов бюрократия, как в Вавилонии, она об'единяется с жрецами (как мы это видели выше в случае Индии) для совместного господства над народом и царем, принимая в качестве своей идеологии ту же религию¹.

Так религия становится всеоб'емлющей и *всеподавляющей* идеологией. «Царь сам становится богом, который из ничего (т. е. из пустыни—Л. Р.) «творит» урожай (посредством искусственного орошения—Л. Р.) «Легенда о сотворении мира связана с искусственным орошением и с относящейся к нему функцией царя» (М. Вебер).

Или вот что говорит, например, тот же автор в другом месте (Wirtschaft und Gesellschaft, стр. 55—56):

«Сверхмирный, личный, этический бог есть передне-азиатская концепция. Она до такой степени соответствует всемогущему земному царю с его рациональной системой бюрократического управления, что едва ли можно отрицать здесь причинную связь».

Удивительно ли после всего сказанного, что религия неизбежно должна была определять все мирозерцание народов, которым приходилось работать на разных самодержавных владык в этих огромных «каторжных домах» (как евреи с ужасом называли Египет)? Даже евреи неизбежно оказались под властью этих представлений, хотя они жили в совсем других экономических условиях (первоначаль-

¹ Как глубоко религия укоренена в работе над сооружением каналов и как, с другой стороны, эта хозяйственная необходимость определяла всю жизнь египтянина, показывает один египетский обычай, о котором Плеханов рассказывает следующим (Собр. соч., т. XVII, стр. 228):

«Египет—земледельческая страна, зависящая в своем существовании от разливов Нила. Чтобы упорядочить эти разливы, уже в самой глубокой древности была создана целая система каналов. Работа на этих каналах являлась натуральной повинностью египетского крестьянина. Но люди высших классов отделивались от нее, поставив вместо себя заместителей. Это обстоятельство отразилось и на представлениях египтян о загробном существовании.

Египетский крестьянин был убежден, что его и на том свете заставят рыть и чистить каналы, но он мирился с этим, утешая себя, вероятно, тем соображением, что ему «некуда податься». Людям же высших классов не нравилась такая перспектива, и для их успокоения было придумано очень простое средство: в их могилы клали множество кукол («ушебти»), души которых и должны были за них работать на том свете. Но самых предусмотрительных людей не успокаивала и такая предосторожность; они спрашивали себя: «а что будет, если души этих кукол откажутся работать за меня и перейдут к моим врагам?» Чтобы этого не случилось, некоторые из них, очевидно, самые благоразумные и самые изобретательные, приказывали делать на куклах такую, назидательную надпись: «слушайся только того, кто тебя сделал; не слушайся врага».

Плеханов не сообщает, к сожалению, увенчивалось ли это наставление успехом, или нет.

чально они были горцами, занимавшимися скотоводством, и впоследствии искусственное орошение тоже играло в их сельском хозяйстве ничтожную роль сравнительно с дождем, почему их бог и был дождевым богом пустыни); главная причина этого явления заключалась в том, что евреи во внешнеполитическом отношении находились в полной зависимости от могущественных соседних царств,—от Египта и Вавилонии.

Этим объясняется не только общий характер влияния географических условий на мирозерцание народа (именно его *косвенный* характер, опосредствованный экономикой и вырастающими из нее политическими образованиями), но также и та особенная его черта, в силу которой на Востоке философия, поскольку она там зарождалась, неизбежно должна была быть поглощена религией. Религиозным должно было навсегда остаться и общее мировоззрение древних народов Востока и мышление тех классов, которые могли бы создать философию. Впрочем правильнее было бы сказать, что такого класса вообще не существовало. Жреческое сословие и бюрократия, даже там, где они не сливались и имели некоторые противоположные интересы, были слишком заинтересованы в сохранении единодержавного господства религии, чтобы расшатывать ее философскими тонкостями; а с другой стороны, они были слишком незаменимы в хозяйственной жизни, чтобы против них и представляемой ими идеологии могла выступить серьезная и, главное, победоносная реакция. Напомним, что города, население которых и явилось в Греции носителем этой реакции и тем самым создателем философии, были на Востоке в такой же зависимости от всемогущей центральной власти и ее бюрократии, как и вся остальная страна (главным образом вследствие жизненной важности искусственного орошения и для них), и их население никогда не осмелилось бы поднять идеологический бунт против власти и теснейшим образом связанной с ней касты жрецов, даже если бы имелись необходимые для этого психологические предпосылки. Но этих предпосылок большей частью не было, и всякий протест против власти жрецов сам облекался в религиозные формы (явление пророчества, существовавшее не у одних евреев). Так же обстояло дело с зачатками философии. Ведь даже сама центральная власть никогда не могла освободиться от власти жрецов: так, египетский фараон Эхнатон, попытавшийся затронуть религию египетских жрецов, пал жертвой их неограниченного могущества.

V.

Ясно, таким образом, какую роль может сыграть природа страны в образовании мировоззрения населяющего ее народа и какова была ее фактическая роль в истории всех восточных народов, для которых искусственное орошение было предпосылкой всякой более высокой хозяйственной жизни. Религия сделалась у них господствующей идеологией, заглушившей ростки всех других форм мышления и не допускавшей на ряду с собой появления других идеологий. Теперь мы должны показать, что греки находились в противоположных условиях, что страна, в которой они жили, определила их эконо-

мику таким образом, что—в противоположность Востоку—высшей руководящей идеологией сделалась у них не религия, а именно философия. Это относится, впрочем, как известно, не ко всем грекам. Но это последнее обстоятельство только лишний раз доказывает, что суть дела не в природе страны, а в экономике.

Если Восток вел борьбу с пустыней и с едой (которая уничтожила бы там возможность всякой хозяйственной жизни, если бы ее не покорил упорнейший *общественно-напряженный* труд) и если для одоления этой задачи он создал большие абсолютистские государства и, в качестве увенчания и опоры экономики и выросшего из нее политического строя, *абсолютистскую идеологию*,—то в жизни греков вода играет совершенно иную роль.

Если мы взглянем на географическое положение населенных греками областей, то тотчас же заметим существенную разницу между ними и теми восточными территориями, о которых мы говорили выше.

Вот как описывает географическое положение Греции один исследователь социально-экономического развития этой страны (Тюменев, *Очерки по экономической и социальной истории древней Греции*, 1, стр. 30): «Одного взгляда на карту Средиземного моря достаточно, чтобы видеть, насколько северное его побережье уже по одному своему очертанию пригоднее для мореплавания, чем южное. Тогда как последнее, за исключением двух крупных полуостровов, из которых на одном был расположен в древности Карфаген, а на другом—греческий город Кирена, представляет почти сплошную прямую линию, тогда как и самое море во всей южной своей половине совершенно лишено островов,—с северной стороны, напротив, берег не только образует ряд больших выступов, далеко вдающихся в море, но и самая линия его представляется крайне причудливо изрезанной и, вследствие этого, изобилует множеством бухт и заливов, представляющих естественные безопасные убежища для стоянки судов. Море, в свою очередь, особенно в восточной его половине, усеяно большими и маленькими островами, что также при несовершенстве морского дела в древности составляло немалое облегчение для мореплавателей, создавая возможность частых остановок в пути».

К этому присоединяется еще следующее обстоятельство:

«В то время как на африканском берегу лишь узкая береговая полоса представляется более или менее пригодной для заселения, за этой же полосой начинается безграничное пространство песчаных пустынь, местами подходящих даже к самому берегу (Ливийская пустыня), европейское побережье уже в древности было довольно густо заселено, причем заселенное пространство не ограничивалось только самой береговой полосой, но и уходило более или менее вглубь континента».

Это географическое положение должно было рано толкнуть греков к морю (тем более, что большая часть их земли была неплодородна) и превратить их в народ мореплавателей и торговцев.

И действительно, бывшие первоначально пастухами и земледельцами, греки вскоре сделались торговым народом, оставившим позади

себя все остальные торговые народы древности. Географическое положение определило при этом и характер их торговли: это была транзитная торговля между Востоком, т. е. Египтом, большими азиатскими государствами вавилонян, лидийцев и т. д., еще задолго до греков создавшими значительную культуру, с одной стороны, и Западом, т. е. Италией, Сицилией и т. д., с их примитивными экономическими и социальными условиями,—с другой. На долю малоазиатских греческих колоний выпала при этом специальная роль посредников между более культурным Востоком и собственно Грецией. Поэтому как в хозяйственном, так и в культурном отношении, они шли впереди метрополии.

Этому экономическому развитию от скотоводства и земледелия к морской торговле соответствовало, конечно, и совсем другое, чем на Востоке, социально-политическое развитие. Подчеркиваю: *развитие*, ибо этот момент для нас особенно важен, т. к. развитие и к тому же, как мы увидим, *очень быстрое* развитие экономики и социально-политического строя повлекло за собой, разумеется, и *очень быстрое развитие духовной культуры*.

На Востоке экономический строй оставался неизменным в течение тысячелетий. Вот что говорит по этому поводу Маркс («Kapital», I, стр. 305):

«Простой производственный организм этих самодовлеющих обществ, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи случайно разрушены, восстанавливаются снова на том же месте и под тем же названием, дает ключ к тайне неизменяемости азиатских обществ, с которой так резко контрастирует постоянное распадание и новообразование азиатских государств и непрерывная смена династий. Структура основных экономических элементов общества остается незатронутой бурями на политических высотах».

Другие исследователи (см. М. Вебер, Agrargeschichte des Altertums) приводят еще другие причины, которые нас в данный момент не интересуют, так как для нас важен здесь только факт застойного характера азиатских хозяйственных укладов по сравнению с чрезвычайно быстрым развитием Греции. Фактические смены «на политических высотах» были тоже, несмотря на все бури, только видимостью. «При насильственных захватах трона, как и при удачных вторжениях извне, для подданных менялся только их владыка, и в обоих случаях это было исключительно лишь переменной лица, собиравшего налоги, а не переменной социального уклада» (М. Вебер, Religionssoziologie, I, стр. 305, курсив мой. Л. Р.)—и, разумеется, не переменной политического строя или тенденций духовной жизни.

Наоборот, греки быстро прошли ряд различных ступеней экономического развития и в связи с этим много раз меняли свой политический строй среди ожесточеннейших классовых битв. В результате чрезвычайно быстрого развития (с VII в. до нашей эры) основанный на натуральном хозяйстве «феодализм» был у них вытеснен еще до того, как он успел полностью развиться или закрепиться (беру слово феодализм в кавычках, потому что под ним следует здесь разуметь не

развернутый феодализм средневековой Европы с его иммунитетами, бенефициями и т. д., хотя *по существу* это был тот же порядок, почему, например, Э. Мейер, М. Вебер и другие и говорят постоянно о греческом средневековьи). Возник ряд мощных торговых городов, что помешало об'единению Греции под властью феодального или абсолютного монарха, как это с неизбежностью должно было произойти на Востоке при его экономическом укладе, и вызвало, наоборот, раздробление Греции (на определенный период, и именно на период ее расцвета). Правда, впоследствии как раз эволюция торгового капитализма привела к монархическому об'единению,—но к об'единению в мировую монархию, охватившую весь тогдашний мир, а не только Грецию. При этом центр греческой культуры передвинулся из Греции на Восток, показавши, таким образом, что вопреки географическим условиям и на его почве может процветать высокоразвитая наука (Александрия), когда изменяется, хотя бы при помощи извне, его экономический уклад. С такой же быстротой, с какой была пройдена стадия раздробленного на небольшие села и племена пастушеского и земледельческого народа и, далее, стадия натурального хозяйства, произошел у греков переход от менового и денежного хозяйства к хозяйству, основанному на рабском труде, с высокоразвитым торговым капитализмом, который уже на протяжении столетия стал обнаруживать признаки упадка и наконец погиб, пережив, правда, перед этим довольно продолжительный период застоя.

Столь же стремительно протекает развитие в социальной и политической области. К первоначальным классам греческого общества—землевладельческой аристократии и крестьянству, соответствовавшим стадиям натурального хозяйства, прибавляется торговая знать, выделившаяся из землевладельческой аристократии. Но ожесточенные классовые битвы между землевладельцами и поддержанным торговой знатью крестьянством, очутившимся в полной кабальной зависимости от первых, явились для крестьян только похоронным звоном. Дело в том, что по мере развития торговли и рабства, с одной стороны, быстро падает значение сельского хозяйства, а с другой—крестьяне вытесняются из производства рабами и окончательно гибнут; все общественное развитие направлено к социальному уничтожению крестьянства, бывшего в более раннюю эпоху основным классом общества. Крестьянство в большинстве своем «урбанизируется», и его место заступает образовавшийся из него и из других разоренных системой рабства элементов (ремесленников и т. д.) *античный пролетариат*. Это был по самому своему существу *паразитический класс*, находившийся на содержании у государства и живший за счет огромных масс рабов и «варваров», т. е. окружающих народов, на спине которых и разыгрывались его классовые бои с господствующими классами—с аристократией и торговой знатью. Эта классовая борьба осложняется тем, что постепенно возникает торговый капитализм плебейского происхождения, об'единяющийся с пролетариатом. Чем больше хозяйство заходит в тупик в силу внутренних законов основанной на рабском труде экономики (об этих законах мы еще будем гово-

рять), тем ожесточеннее, но и безнадежнее становятся эти классовые бои.

В связи с описанными изменениями классового состава греческого общества, осложненными еще тем обстоятельством, что часть Греции развивается гораздо медленнее и сохраняет поэтому как свою старую классовую структуру, так и старую политическую форму (под руководством Спарты), в охваченных переворотом частях Греции происходит быстрая смена политических форм: патриархальная царская власть уступает место господству аристократии, которая, в свою очередь, скоро низвергается. Затем быстро следует один политический переворот за другим: наступает эпоха тиранов (диктаторы, своего рода античный «бонапартизм»), начинается борьба за античную демократию, которая после короткого расцвета погибает в абсолютной монархии македонян и, позже, преемников Александра Великого.

Менее 150 лет понадобилось, например, Афинам для прохождения через эти различные политические формы: от господства землевладельческой аристократии (евпатридов) до вполне развернутой античной демократии. Перед нами совершенно иная картина, чем на Востоке: там неподвижность экономического уклада, отсутствие каких-либо изменений в классовом составе общества; политическая форма не меняется, сохраняясь в руках одних и тех же господствующих классов, и остается по существу одной и той же даже в случае низвержения правящего класса вторгшимися иноземцами. Эта застывшая неподвижность общественного уклада влечет за собой такую же неподвижность в области духовной жизни, скованной узами религии, в теснейшей зависимости от которой находится и развитие науки.

Наоборот, в Греции—стремительная смена форм: здесь нет всепокоряющей необходимости в центральном руководстве хозяйством, нет поэтому и барщинного труда в массовом масштабе, а следовательно нет предпосылок для образования абсолютной монархии с могущественной бюрократией и кастой жрецов во главе об'единенного государства. Образующие общество классы не остаются неподвижными, наоборот,—старые классы исчезают один за другим, уступая место новым, благодаря чему совершенно меняется характер классовых боев; один господствующий класс сменяется другим, но не по имени только, как на Востоке, а в результате социально-экономических переворотов, изменяющих всю структуру общества и вместе с нею его политическую форму. Соответственно этому и в духовном развитии общества мы наблюдаем стремительно-быструю смену самых различных форм.

Прежде всего (и это мы должны подчеркнуть с самого начала, потому что эта черта характерна не только для духовной жизни греков вообще, но и особенно для возникновения и развития философии) духовная жизнь греков приобретает все более светский характер (wird verweltlicht). Она не только все больше освобождается от религии и религиозной идеологии и становится поэтому более богатой, разнообразной, трезвой, логичной, словом, более рационалистичной, чем в какой бы-то ни было другой стране древнего мира,—она

вступает в прямой конфликт с религией. Решающее значение этого обстоятельства для развития науки и особенно философии ясно само собой. Это было *прямое восстание против религии*, как это между прочим уже отметил Ф. А. Ланге.

Достаточно только бросить взгляд например на развитие греческой литературы, чтобы убедиться в правильности сказанного. Литература всех народов Востока: египтян, индусов, вавилонян, евреев и китайцев, пережив более краткий или более длительный *эпический* период, произведения которого либо погибли, либо растворились в позднейшей религиозной литературе (например у индусов в Ведах, у евреев в Библии, в которой сюда между прочим относится песнь Деборы), застыла в форме религиозной литературы. Так называемое священное писание (Веды у индусов, Ветхий Завет у евреев) было завершением литературы в том смысле, что все дальнейшее литературное творчество этих народов должно было сообразоваться с ним и даже включалось в него. После сказанного выше ясно, почему это было неизбежно. И столь же ясно, что греки должны были скоро оставить позади себя этот эпически-религиозный период своей литературы. Он соответствовал «феодалному» периоду социального развития Греции, это была аристократически-придворная литература, пришедшая в упадок одновременно с упадком господства царей и аристократов. Гомер и Гесиод (VIII век до н. э.)—представители именно этой литературы. Впрочем, Гесиод уже обнаруживает весьма заметные следы наступившей перемены: в противоположность поэту аристократов Гомеру, он—«крестьянский» поэт, враждебно относящийся к царям и аристократам и, несмотря на всю свою религиозность, уже проявляющий признаки обмирщения. Как только в связи с экономическим переворотом наступает эра ожесточенных классовых битв между аристократией, с одной стороны, и крестьянством и торговой знатью—с другой (VII и VI вв. до н. э.),—эта эпическая литература исчезает совершенно, уступив место не канонизованным «священным книгам», как на Востоке, а *лирике* и *политической сатире*. При этом совершенно ясно влияние экономики: хозяйственный порядок, покоящийся на обмене и на денежном обращении, повсеместно освобождает личность, бывшую до того в полном плену у родового коллектива. Одновременно разрушение и распад всех старых традиционных связей, ожесточенные классовые бои и политические перевороты вызывают *чувство растерянности* прежде всего конечно среди аристократии, с негодованием *взирающей* на гибель своей дотеле прочной и освященной власти. Из рядов аристократии и вышли все эти лирики. С другой стороны, она ищет идеологического оружия против своего противника, народа, и находит его в политической сатире.

По мере развития демократии, и еще раньше в борьбе за нее, эта аристократическая лирика *демократизируется* и превращается в *хорошую лирику*, переходя затем, в эпоху развернутой демократии, в типичную и преобладающую художественную форму, в *драму*, которая по справедливости может быть названа демократической формой искусства, так как в ней народ не только формально выступает действующим

лицом в хоре, но и ее темой всегда является конфликт между индивидом и обществом. Известно, до какой степени театральные зрелища были в Афинах общественным делом всего народа. Упадок демократии привел и к упадку драмы, которая была сначала вытеснена реакционной комедией (Аристофан), а затем исчезла совершенно вместе с демократией.

Если таким образом в литературе процесс превращения ее из религиозной в светскую (*Verweltlichungsprozess*) очевиден и протекает в теснейшей связи с социально-экономическими переворотами и вызываемой ими классово-борьбой, то нет надобности еще отдельно доказывать, что происхождение философии было обусловлено той же общественной психологией. Лирическое настроение аристократии в VI в. до н. э. было вызвано ее падением, «философское настроение» торговой знати—ее победой. Низвергнутая аристократия изливает свои жалобы в *скорбной лирике* (*Klagende Lyrik*) и прибегает в борьбе к оружию политической сатиры. В чем же выразит свое победное ликование торговая знать? Может быть, в победных гимнах? Для этого она *слишком трезва*. Она состоит из расчетливых купцов, об'ездивших весь свет и закаленных в опасностях тогдашнего неотделимого от пиратства мореплавания. Эти купцы занимались поэзией только в виде исключения, и это всегда бывала в таком случае, как у Солона, очень трезвая поэзия. Их оружие было *знание, наука*. Это давало им, в противоположность растерянности аристократов, чувство уверенности, сознания собственной силы. Таким образом, философия, которая является здесь только увенчанной мировоззрением, расширенной до мировоззрения наукой, была таким же идеологическим оружием торговой знати, каким лирика и политическая сатира была для аристократии. И поэтому она тотчас же направилась своим острием против религии, против традиций. Только благодаря этому последнему обстоятельству она и могла возникнуть, более того—она возникла, как мировоззрение именно для того, чтобы служить орудием борьбы против религии и традиции,—этих старых союзниц аристократии, которая ведь и здесь, как повсюду, состояла из знатных жреческих семейств (см. Robertson, *Evolution of State*, стр. 42).

Философия греков возникла, разумеется, не только из общей психологии той эпохи, в которой она родилась, она запечатлена также чертами создавшего ее класса, она носит на себе следы особого образа жизни этого класса.

Решающим пунктом для духовного развития, вернее—для духовного застоя Востока, было, как мы видели, отсутствие независимых городов и городской буржуазии, которая была бы в состоянии сломить политическую монополию монархов и духовную монополию духовенства, а тем самым и господствующую роль религии, и могла бы создать самостоятельную идеологию. В Греции мы видим обратное. Здесь возник и развился ряд могущественных независимых торговых городов, развилась городская буржуазия, которая своим экономическим ростом была обязана единственно только собственной энергии, мужеству, решительности, предприимчивости и известной склонности к риску. Чтобы достичь экономического преуспевания, эта буржуазия

должна была быть в политическом и умственном отношении вполне независимой, свободной от всякой опеки. И в противоположность Востоку, обстоятельства сложились так, что в Греции этот новый класс не только стал независимым от центральной власти (каковой вообще не существовало), но и создал себе в лице тирании вполне соответствующую его потребностям и благоприятную для него форму центрального правления. Здесь образовался, таким образом, класс, который был способен стать самостоятельным не только политически, но—и это в данной связи наиболее важно—сумел также приобрести и умственную самостоятельность и, в противоположность традиционному религиозному способу мышления прежних классов, усвоить способ мышления, черты которого заключали в себе предпосылку независимого от религии и ей диаметрально противоположного, научного и философского мировоззрения.

Попытаемся наметить важнейшие из этих черт.

Вождем духовного развития в Греции был класс торговцев. Торговец той эпохи не был человеком от прилавка, неподвижно сидевшим за конторкой и оттуда наблюдавшим мир. Нет, это был человек, снаряжавший сам свой корабль и об'езжавший на нем весь мир. Он покидает традиционную обстановку, рискуя подвергнуться неизвестным опасностям, он изучает чужие языки, страны, и нравы; знакомится с новым политическим строем, с новой техникой, наукой, искусством, с новыми для него видами религии и новыми богами,—словом, он порывает со всеми традициями своей родины и теряет прежнюю веру в святость и единственность своих отечественных учреждений. Его стихия—*движение*, и не только движение физическое, путешествие, но прежде всего, движение духовное: новые впечатления, новые сведения, новые познания—в этом его жизненная стихия, его сущность. Взгляды его становятся, поэтому, более свободными и широкими, его ум—более подвижным. Чтобы не погибнуть на чужбине, где он предоставлен самому себе, он должен принимать быстрые решения в совершенно непривычных условиях, где ни рутина, ни традиция не могут прийти к нему на помощь и где они даже могут оказаться прямо губительными для него. Он должен решительно порвать со всякой традицией, должен самостоятельно учесть обстановку, пустить в ход всю свою дальновидность, напрягать свои умственные силы. Словом, он должен уметь *калькулировать*, и хорошо калькулировать, если не хочет поплатиться всем своим достоянием, а поднас и жизнью.

Уже во всем этом мы можем констатировать некоторые черты, являющиеся предпосылками научного и даже философского мышления: начинает преобладать интеллект, разум овладевает сначала личностью, а потом и всем миропониманием, вырабатывается привычка к изысканиям и расчету—предпосылка строго логического мышления—и, наконец, мы имеем движение, привычку к непрерывным переменам. Налицо все психологические элементы философского представления о мире в движении, в становлении, в противоположность религиозному представлению о традиционно неизменном, раз навсегда созданном, покоящемся на чувстве.

Другие обстоятельства доставляют дальнейшие, еще более важные данные. Развитие торговли уничтожает и на родине старинные социальные отношения, разрушает прежние формы хозяйства и ставит на их место товарное и денежное хозяйство. Товарное хозяйство, в особенности же абстрактная форма товара, деньги, создает дальнейшие предпосылки для философского мышления. Если натуральное хозяйство, натуральный обмен продуктов и система феодальных повинностей является благоприятной почвой для развития конкретного мышления и в состоянии выявить абстрактное в конкретном, всеобщее в единичном и приучить таким образом мышление к абстрактному и всеобщему, то товар и в еще большей мере, деньги, является: первый— всеобщей формой продуктов, а вторые— абстрактной формой товара, т. е. той экономической базой, которая способна оторвать, отделить мышление хозяйствующих в этих условиях суб'ектов от натурального и конкретного и поднять их до абстрактного мышления, до понимания всеобщего в единичном. Купец, выносящий на рынок сегодня одни, а завтра другие потребительные стоимости, вынужденный выражать различные потребительные стоимости в деньгах, приучается видеть в конкретных предметах связывающее их всеобщее, он научается абстрагировать от их конкретной физической формы. Если для купца потребительная стоимость является только видимостью, а стоимость и деньги—сущностью, то для философа, который, не забудем этого, совпадает в данном случае с купцом, единичное явление становится видимостью, а всеобщее, абстрактное, закон—сущностью.

Кроме, того, купец, об'езжавший все известные в то время страны, владел и несколькими языками, а это «является могучим рычагом рационализации, так как для полиглота слово отделяется от вещи и становится таким образом понятием в самом строгом смысле» (Оппенгеймер, Система социологии, II, стр. 405).

Этим исчерпывается почти все психологические и логические предпосылки для образования науки философии в условиях существования нового класса. Носителем нового миропонимания является не такой купец, которому нет дела до науки и философии, а патриций, член господствующего класса, который желает применять и умеет использовать свои широкие знания и свою идеологическую гегемонию и в политической области. Опираясь на свои хозяйственные успехи, не стесненный путами традиции, он побеждает старую аристократию не только приобретенными путем торговли богатствами, но также и богатством своей идеологии, гордо возвещающей им в его новом миропонимании, в философии, ибо он вооружен всеми чужестранными науками и является не только закаленным в опасностях практиком, техником, человеком науки, но также политическим деятелем, борющимся с помощью идеологического оружия, о котором его противники, аристократы «старого закала», не имеют никакого понятия.

Новый класс становится не только политическим, но и духовным гегемоном, и самым могущественным его орудием в надвигающейся политической борьбе становится новая наука, новое миропонимание— философия.

Не смешно ли после всего сказанного, когда возникновение греческой философии приводится в связь с мистикой (Иозель, «Возникновение натурфилософии из духа мистики»? Верно, что одновременно с возникновением философии по Греции прокатывается волна религиозного увлечения, носителями которого было, с одной стороны, доведенное до отчаяния помещичьим гнетом крестьянство (тираны сделали потом все возможное для усиления этой крестьянской религиозности, справедливо усматривая в ней одну из опор своей власти), а с другой— аристократия, искавшая забвения от печальной действительности в различных мистериях. В непосредственной связи с этими тайными культурами находится и особая форма философии (пифагорейство). Но пифагорейство— аристократическая философия. Ибо и аристократия должна была приспособиться к общему направлению и обзавестись более пригодным идеологическим оружием, чем религия, традиция и поэзия; новой науке она должна была противопоставить науку же. Так наряду с материалистической философией торговой знати возникает другая, уже носившая в себе зародыши идеализма (только, разумеется, без того принципиального противопоставления материализма и идеализма, которое возникло позже и сохраняется до сих пор), переплетенная с религиозными моментами (переселение душ и т. д.). Если этот процесс разделения философии на «буржуазно»-материалистическую и «аристократически»-идеалистическую можно наблюдать уже у Пифагора, то Сократом-Платоном оно осуществляется совершенно сознательно. Но тут перед нами уже процесс обратный тому, которому философия обязана своим возникновением: она, возникшая в результате восстания против религии, в идеализме снова сочетается с религией; призванная в форме материализма научно низвергнуть религию, она теперь превращается, наоборот, в «научную опору» последней. Как известно, идеализм так и не порвал этой связи с религией; та же почва, которая питала и питает религию, питает и идеализм— почва классовой борьбы, ибо тот и другая были и остаются идеологическими орудиями одних и тех же реакционных классов. Такова основная черта идеализма, и именно здесь, в классовых битвах греческого общества, он и зародился. В сущности говоря, идеализм навсегда остался с тех пор аристократической, реакционной философией— в противовес плебейской, революционной философии материализма. И если в классической немецкой философии он все же имел и революционную сторону, то это случилось неожиданно, вопреки его существу, и об'ясняется тем особым положением германской буржуазии в конце XVIII и в первой четверть XIX века, в силу которого она могла воспринять материализм англичан и французов только в перевернутой форме идеализма (см. Фр. Энгельс, Л. Фейербах и т. д.: «... но и идеалистические системы все больше наполнялись материалистическим содержанием, стремясь пантеистически примирить противоположность духа и материи,— так что в конце-концов гегелевская система представляет собою лишь идеалистически поставленный на голову по своему методу и содержанию материализм» (курсив мой.— Л. Р.).

VI.

Всем вышеизложенным дан, думается мне, ответ на вопрос, почему в Греции возникла и должна была возникнуть философия, и почему наоборот на Востоке этого не могло случиться.

Теперь остается рассмотреть еще два вопроса: во-первых, вскрыть элементы, воспринятые греческой философией с Востока; и, во-вторых, вкратце наметить различные стадии греческой философии.

Что касается первого пункта, то большинство историков греческой философии отрицает, чтобы греки могли заимствовать что-либо существенное у Востока. Главным их аргументом служит при этом, во-первых, указание на незначительность результатов, достигнутых наукой на Востоке по сравнению с достижениями греков в этой области, и, во-вторых, совершенно специфический характер научного мышления, отличающий греков с самого начала. Выяснение этого вопроса важно впрочем не потому, что он должен быть «по обязанности» поставлен каждым историком греческой философии, и не потому, что до сих пор на него большей частью давался отрицательный ответ, а потому, что именно столь отличный по своему характеру Восток *расплатал отечественную традицию* у ездивших в восточные страны, а в Малой Азии находившихся под непосредственным восточным влиянием греческих купцов, и доставил им первоначальные научные элементы для построения их нового мировоззрения. Да иначе и быть не могло при той экономической роли, которую играла малоазиатская торговая знать в качестве посредницы между Востоком и греческим материком; отрицать это мог бы только тот, кто считает греков отмеченным свыше народом, черпавшим все из самого себя. Первые греческие философы были сплошь торговыми людьми, об'ездившими много стран. Как таковые, они впитали в себя всю тогдашнюю культуру Востока и главным образом его научные достижения, которые могли им пригодиться для их основного занятия—мореплавания, и для их торговых расчетов. Это влияние Востока доказывается уже *хронологически*, поскольку возникновение греческой философии совпадает по времени с оживлением сношений с Египтом и Вавилонией; в это же время возникли и более прочные связи с лидийским царством. Как-раз в VII в. до н. э. ядро египетской армии (при Псамметихе и после него) состояло из греческих наемников; тогда же Милетом (родиной греческой философии) была основана колония у устья Нила, а несколько позже, совместно с другими греческими торговыми городами, был основан город Навкратис (тоже у устья Нила), игравший в VI в. ту же роль в миниатюре, какую впоследствии стала играть Александрия (см. *Белох*, История Греции, I, стр. 156). Белох решает даже утверждать, что греки вскоре же сделали бы господами Египта, если бы персидское завоевание не задержало этого успеха на целое столетие. Греческие наемники составляли также часть вавилонского войска.

При таких обстоятельствах малоазиатские греческие города должны были испытать на себе сильнейшее влияние Востока. Это влияние про-

явилось в различных направлениях: в области техники и экономики (ионийские города, особенно Милет, заимствовали текстильную промышленность из Египта и Лидии, алфавит и деньги из Лидии), а затем— в политическом и общекультурном отношении. Здесь мы ограничимся только описанием того, что было достигнуто Востоком в области науки и могло быть использовано греками.

У египтян и вавилонян наука достигла уже значительной высоты. Особенно развилась у них математика и астрономия. Теперь обыкновенно указывают на то, как «слаба» и «ненаучна» («эмпирична») была математика у египтян, как у вавилонян астрономия выродилась в «суеверную» астрологию и искусство ставить гороскопы. Что науки носили у этих народов «практический»¹ характер, не подлежит ни малейшему сомнению; не даром они возникли в интересах регулирования течения рек, сооружения каналов и измерения полевых участков, а позднее служили для расчета строящихся пирамид и т. д. и для управления большими государствами, централизованными в экономическом и других отношениях. Обладание научными знаниями было основой могущества жрецов и бюрократов, и хотя наука отчасти выродилась в их руках в религиозное пустословие, все же необходимые для хозяйственной жизни знания не погибли и не оскудели под этой религиозной оболочкой. И если по сравнению с тем, что мы теперь знаем в этих областях, их знания не были слишком высоки, то не следует забывать, какое впечатление они должны были произвести на греков, ничего этого вообще не знавших и, наверное с изумлением взиравших на великие достижения египтян и вавилонян. Знания этих последних надо сравнивать не с нашими современными знаниями и не с тем, что стало известно грекам позднее, а с невежеством греков в тот момент, когда они впервые познакомились с наукой Востока. Какое значение приобрело для них то обстоятельство, что начало науки уже было положено другими, какое благоговение внушала им новая наука, видно на примере Пифагора с его мистикой чисел. Незначительные, по сравнению с нашей наукой, научные достижения Востока были колоссальны по сравнению с невежеством греков, как и столь чреватый последствиями торговый капитализм греков был ничтожен, если сравнивать его с нашей торговлей и промышленностью, но колоссален по сравнению с тем, что было достигнуто в этой области до них². И многие из этих научных

¹ Не могу удержаться, чтобы не привести здесь нескольких слов *М. Кант-ра* о происхождении математики (*Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik*, I стр. 65). Он ставит вопрос о том, как возникло в Египте исчисление дробей и приходит к следующему выводу: «Постепенное возникновение, при котором удавалось разложить то одну, то другую дробь, то одну, то другую группу дробей, и найденные таким образом путем опыта результаты сохранялись и накапливались, настолько вероятно, что чувствуешь себя в праве, не вдаваясь в спорные вопросы о философском обосновании простейших понятий математики, назвать ее *опытной наукой по ее историческому происхождению*» (курсив мой. Л. Р.)

² *Белох* оценивает годовой оборот афинского порта Пирея вскоре после Пелопоннесской войны (401/0 г.) в 2 000 талантов, т. е. в 13 млн. франков, что составляет десятую часть годового торгового оборота Греческого королевства накануне мировой войны.

достижений приобрели огромное значение для греков, особенно для их мореплавания, бывшего основой всей их жизни. Приведем несколько примеров.

Вавилоняне знали десятичную систему и уже считали сотнями тысяч, изображая эти числа в «математически прозрачной» форме (*М. Кантор*, там же, стр. 22; приводимые ниже данные заимствованы из этой же книги), например, $100 \times 1\ 000 + 20 \times 1\ 000$. Они умели вычислять квадраты, кубы и квадратные корни, а также производить действия с дробями. Вавилонская шестидесятеричная система (употреблявшаяся ими наряду с десятичной) оставила некоторые следы и у греков (*там же*, стр. 35). О вавилонской астрономии тот же автор говорит следующее:

«Птоломей знал об одном вавилонском перечне лунных затмений с 747 г. Солнечное затмение от 15 июля 763 г. отмечено в государственных архивах Ассирии. Для царя Саргона, жившего приблизительно в 3700 г. до н. э., было составлено сочинение по астрономии. Для очень многих дней в году в этом сочинении... указано, каковы будут последствия затмения, если оно случится в этот день. Как велик должен был быть статистический материал, чтобы можно было установить подобное правило вероятности! Должно быть, за несколько тысячелетий до Александра уже существовала вавилонская астрономия, а при царе Саргоне наблюдательная наука о звездах, давным-давно установившие календарный год». Вавилоняне открыли планеты и знали их кажущееся движение, и т. д. и т. д.

С другой стороны, египтяне обладали довольно высокими математическими познаниями, даже в области тригонометрии. Скучные остатки, известные нам из так назыв. папируса Ринда (в Британском музее), дают конечно лишь слабое представление о знаниях, которыми фактически располагали египтяне. Дошедшие до нас, благодаря этому папирусу, примеры относятся к распределению определенных количеств между разными лицами и к вычислению главным образом треугольников и квадратов, что указывает на их происхождение из землемерия. Египтянам удалось вычислить угол между основанием и боковой стеной пирамид, могил и т. д., и найденный ими метод вычисления (seqt) был, как доказано, использован греками для определения расстояния недостижимых объектов, например, кораблей на море.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что первоначальную основу своей науки греки получили с Востока. И если они потом построили из этих элементов могучее здание евклидовой геометрии и философии, то это бесспорно их заслуга, обусловленная особым развитием их экономики (как, с другой стороны, та же экономика—основанное на рабском труде хозяйство—поставила границы их «гениальности»: я имею в виду слабое, отчасти даже отставшее от Востока развитие техники и в связи с этим слабое развитие естествознания в собственном смысле). Но не следует забывать, что толчок к развитию науки, а следовательно и философии, греки получили от Востока.

VII.

Сущность греческого хозяйства заключалась, как известно, в рабском труде. Это было последствием той экономической роли, которую греки играли в древнем мире, как посредники между Востоком и Западом. Эта основная черта греческого хозяйства предопределила судьбу всего общественного развития греков. После беспримерного в те времена под'ема и недостижимого расцвета греческое общество неминуемо должно было погибнуть. Все хозяйство и вместе с тем вся культура греков находилась с самого начала в порочном круге и должна была раньше или позже зайти в безвыходный тупик.

Транзитная торговля греков жила за счет варварства окружавшего их мира.

«Торговые народы древности существовали, как боги Эпикура в междумировых пространствах или, вернее, как евреи в порах польского общества. Торговля первых самостоятельных, великолепно развившихся торговых городов и торговых народов покоилась, как чисто транзитная торговля, на варварстве производящих народов, между которыми они являлись посредниками» (*Marx K., Kapital, III, 1, стр. 314*).

Но экономическая база таких чисто торговых народов лежит вне их собственного хозяйственного организма, «торговый капитал является вначале лишь посредствующим движением между крайностями, которыми он не владеет, и предпосылками, которых он не создает» (*там же*; подчеркнуто мною.—Л. Р.). Дело в том, что при транзитной торговле «главный доход получается не от вывоза продуктов собственной страны, а через посредство обмена продуктов коммерчески и вообще экономически неразвитых обществ и в результате эксплуатации обеих производящих стран» (*там же*, стр. 313; курсив мой.—Л. Р.).

Рабство, явившееся в античном мире последствием этого расцвета торговли, еще необычайно усилило эти отрицательные тенденции, и без того лежащие в природе транзитной торговли. Оно не только погубило свободное ремесло, но, благодаря образованию крупных латифундий, обрабатывавшихся рабами, вырвало почву из-под ног крестьянства. Но тем самым был обречен на упадок класс, составлявший военную силу античных государств, а это уничтожало в свою очередь возможность победоносной военной экспансии, поддерживавшей систему рабства, поскольку лишь путем постоянных войн можно было приобретать все новые и дешевые массы рабов, и войны часто бывали лишь гигантской охотой за рабами, снаряженной на государственной счет. А если бы удалось покорить «мир» еще до окончательной гибели боеспособного населения и установить в пределах империи мирную эру, как это впоследствии и сделали римляне (рах готапа—римский мир), то и это отнюдь не могло спасти основанное на рабском труде хозяйство. Ибо чем большая часть известного мира оказалась «умиротворенной», тем меньше становилась область, против которой можно было воевать (наличного солдатского материала начинало хватать

только для оборонительных войн, да и то все меньше), и, стало быть, тем скуднее источник, из которого могло питаться хозяйство путем приобретения дешевых рабов. Но основанное на рабском труде хозяйство не может, в силу самой природы рабского труда, держаться на естественном размножении рабов.

Экономика античного общества висит таким образом в воздухе, она не укоренена *внутри* самого хозяйственного организма, не развивает внутреннее производство, внутренний рынок, а имеет свою опору вовне, в том, что лежит за ее пределами и чего она не может контролировать, и поэтому при каждом решающем изменении в этой неподдающейся контролю внешней области ей грозит неминуемая гибель. Это относится даже к таким хозяйственным укладам, которые не были основаны на рабском труде, а сводились к чисто транзитной торговле, как об этом свидетельствует судьба итальянских торговых городов в конце средневековья, погибших из-за того, что Константинополь был завоеван турками и что они оказались поэтому отрезанными от своих источников сырья на Леванте. Были попытки помочь делу силой оружия и насильственно овладеть внешними рынками (Александр Великий, крестовые походы в средние века), но мы уже видели, что это средство только оттягивает гибель, но не спасает от нее. Таким образом, внутренние и внешние моменты одинаково содействовали в античном мире внезапной остановке дальнейшего развития и затем переходу к упадку.

Если основанное на рабском труде хозяйство обречено на гибель в результате непрестанных внешних войн, то ему грозит гибель еще и с другой стороны. Поскольку его основой является транзитная торговля, оно распадается на ряд государств-городов, ожесточенно конкурирующих друг с другом и противящихся всякому объединению в большое, единое хозяйственное целое. Но хозяйственное объединение является для торгового капитала уже на этой ступени жизненно необходимым, хотя бы для того, чтобы справиться с все более сложными военными задачами. Это внутреннее противоречие античный торговый капитализм может разрешить только при помощи военной диктатуры (внешней, как у греков, в лице македонян, или внутренней, как у римлян, в лице Цезаря и Августа). Но как только поставленная задача разрешена, общество оказывается жертвой своекорыстных целей военной диктатуры: она все больше становится паразитической самоцелью и после периода застоя приводит к окончательной гибели. А между тем это был единственный выход из положения! Так Перикл пытался созвать панэллинский конгресс в Афинах, чтобы обеспечить свободу торговли и сношений (*Плутарх*, Перикл, гл. 17), но этот план сорвался в виду сопротивления конкурентов, и вместо мирного соглашения разразилась Пелопоннесская война, положившая конец афинской державе.

Мы имеем таким образом пять периодов социально-экономического развития хозяйства, основанного на рабском труде:

I. Разрушение натурального хозяйства торговцев и под'ем торгового капитализма—борьба торговой знати и крестьянства с земледельческой аристократией—тирания (VI в. до н. э.).

II. Расцвет хозяйства на основе рабского труда, классовая борьба античного пролетариата и торгового капитала с аристократией—античная демократия (V в. до н. э.).

III. Борьба за объединение Греции и начало упадка—классовая борьба античного пролетариата с торговым капиталом—«вырождение» античной демократии и олигархические контрреволюции (IV в. до н. э.).

IV. Период застоя—абсолютная военная монархия (IV и III вв. до н. э.).

V. Упадок—борьба с Римом и подчинение римскому владычеству.

Этот ход развития *типичен*; в такой же последовательности он повторяется еще раз в древности в судьбе римской империи, с которой сливается конечная стадия общественного развития Греции, и с упадком которой Греция переживает шестой период своей истории, ибо она погибает лишь вместе с римской империей или, вернее, даже переживает ее.

Исходным пунктом основанного на рабском труде хозяйства, с которого и начинается его под'ем, служит натуральное хозяйство,—после блестящего расцвета и долгого умирания оно возвращается снова к натуральному хозяйству.

Философия тоже разумеется проделывает этот круг, и не только философия, но и вся духовная жизнь.

Выше мы уже упомянули о литературе. Она достигает своей вершины в драме и заканчивается Лукианом, насмешником и мистиком, чтобы затем окончательно застыть в виде религиозной литературы. Такова же судьба философии.

Она возникает, трезвая и полная жизни, в форме материализма, в форме единства науки и мировоззрения, т. е. в форме материалистического мировоззрения. Торговый капитализм революционизирует весь известный тогда мир изнутри и извне, вызывая ожесточенные политические битвы. Параллельно с этим Гераклит открывает мировые законы диалектики. Но самым характерным порождением торгового капитализма являются софисты, эти «просветители» античного мира. Как развитие античного капитализма разрушает все установленные связи, освобождает личность от оков коллектива, но, освобождая, отдает ее в то же время в жертву превратностям рынка и политической борьбы, «релятивизирует» ее,—так и софисты «релятивизируют» и индивидуализируют мировоззрение, которое у первых материалистов, соответственно преобладавшей тогда политической форме—тирании—было еще абсолютистским. Одновременно материализм, в лице Демокрита, приближается к своей совершеннейшей форме.

Но вот начинается упадок и вместе с ним политическая и философская реакция в лице Сократа и Платона. Наконец, греческое общество застывает в абсолютной монархии преемников Александра. Блеск и богатство, максимальное проникновение греческой торговли в весь известный тогда мир, искусство и наука не могут скрыть того факта, что греческая экономика достигла своей *границы*; она растет еще шире, но не растет вглубь; она расширяется, но уже не развивается

больше. Этому периоду *застоя* соответствует философия Аристотеля, с ее *застывшими*, неизменяемыми видами на *застывшей*, неподвижной земле, в *застывшем*, невозникшем, непреходящем, *ограниченном* мире. На место диалектики Гераклита, непрестанного движения Демокрита и относительности софистов (ибо относительность есть тоже диалектика хотя и выродившаяся) становится метафизика. Наконец, и философия растворяется в мистицизме и религии; подобно хозяйству, она возвращается к своей наинизшей точке, проделывает общий порочный круг всего общественного развития.

Но как это общественное развитие не пропало даром, а явилось ступенью в процессе общечеловеческого развития, ибо, как говорит Энгельс, без античного рабства не было бы современного социализма, так и античная философия, и в особенности античный материализм, служат основой для современной философии, а также для осуществленного в мировоззрении современного пролетариата воссоединения философии и науки.

Л. Рудаш

Е. ДЮРКГЕЙМ О ПРЕДМЕТЕ И МЕТОДЕ СОЦИОЛОГИИ

Бурное, противоречивое развитие общественной жизни Франции конца XIX века, сопровождавшееся экономическими кризисами, столкновениями социальных сил, не могло не вызвать попыток обществоведов к ее об'яснению. Создавались различные теории общественного развития, предлагалась общественному вниманию не одна социология. Одна попытка сменяла другую, и каждая новая, привлекая на время внимание своей новизной и кажущейся глубиной, сходила со сцены, подтачиваемая своей собственной слабостью. Лишь одна марксистская теория общества продолжала выдерживать испытание жизни и оставалась действительно научной теорией, дававшей ключ к пониманию сложных общественных явлений и процессов. Вполне понятно, что наиболее проницательные из буржуазных социологов не могли пройти мимо этого направления и не извлечь из него ряда положений, которые могли бы несколько подправить их теории общества. Среди этих мыслителей Е. Дюркгейм занимает исключительное место. Оценивая состояние современной ему общественной науки, он с беспристрастностью констатировал ее печальное положение. Призванная к об'яснению социальных явлений социология, по его мнению, меньше всего говорила о *действительности*, о том, «каковы они (социальные явления.—Ф. Т.) в данный момент на деле, или каковы они были на деле». Нет, все свое внимание она обращала на выяснение того, «чем должны быть общества». Прежняя социология игнорировала ясное и точное определение об'екта и метода общественных наук. По выражению одного из учеников Е. Дюркгейма, Марселя Деа, «то социология стремится раствориться в ранее образовавшихся дисциплинах, то она превращается не более как в этикетку совокупности частных социальных наук, из которых каждая вполне самостоятельна»¹. Поэтому вполне понятно, что старая социология в лучшем случае предлагала лишь широкие схемы, априорно построенные, которые далеко не соответствовали специфичности социальной жизни и законам ее развития. Отсюда бесплодность социологии, отсюда недоверчивое к ней отношение, отсюда наконец систематические крахи возникавших направлений. Ненормальное положение вещей могло быть устранено, по Дюркгейму, не ликвидацией социологии как особой науки об обществе и общественных явлениях,

¹ Sociologie, стр. 27.

а ее реформированием. Это реформирование должно начаться с точного определения объекта социальной науки, затем установления ее методов. Доказательство же возможности и необходимости научной социологии должно осуществляться через применение ее методов к исследованию специальных областей и выявлению в них особых закономерностей. «Когда социология откроет законы социальной действительности,—говорит Дюркгейм,— то она даст нам возможность руководить исторической эволюцией разумнее, чем это происходило в прошлом, ибо мы можем изменять природу как физическую, так и моральную, лишь подчиняясь ее законам».

Задачу создания новой социологии взялся решить Е. Дюркгейм. Он начал с того, что было основным и что являлось слабым местом прежних попыток,—с выяснения объекта социологии. Разрешение этого вопроса представляло известные трудности. Приходилось, вопреки установившемуся мнению, находить признаки объекта, которые бы служили действительным основанием для создания особой науки о социальной жизни, которые радикально отличали бы объект социологии от объектов других наук. Объектом социологии, по Дюркгейму, являются социальные факты, т. е. явления, которые имели или имеют место в обществе. Но подобное констатирование еще не решало вопроса. Поэтому Дюркгейм стремится отыскать такие характерные черты социального факта, которые бы позволили отличить последний от явлений индивидуально-психических и естественных. Таким отличительным признаком социального явления может быть отмечена его принудительность по отношению к индивиду и его сознанию. «Социальным фактом, по Дюркгейму, является всякий образ действий, резко определенный или нет, но способный оказывать на индивида внешнее принуждение, или иначе: распространенный на всем протяжении данного общества, но имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от его индивидуальных проявлений»¹. Момент внешней принудительности, независимости от индивида придает социальному факту характер об'ективной реальности и отличает его от органического и психических, «существующих лишь в индивидуальном сознании и благодаря ему». Подобный характер социальный факт получает в силу ассоциации множества индивидуальных проявлений. В результате этой ассоциации получается новый синтез, несводимый к индивидуальным проявлениям и изучаемый особой наукой—социологией. «Индивидуальные сознания, группируясь устойчивым образом, приобретают, благодаря своим взаимодействиям, новую жизнь, весьма отличную от той, которая развилась бы в них, если бы они оставались изолированными друг от друга: это общественная, социальная жизнь»². Если же значение момента синтеза упустить, то мы должны, по Дюркгейму, утверждать, что «биология представляет лишь особую главу из физики и химии, ибо живая клетка состоит исключительно из атомов углерода, азота и т. д.»³. В приве-

¹ Метод в социологии, стр. 19.

² Метод в науках, изд. «Образование», стр. 232.

³ Там же.

денном рассуждении Дюркгейма мы узнаем тот принцип, который позволил ему разграничить индивидуальные и коллективные представления.

Именно последние, т. е. коллективные представления, составляют предмет социальной науки. Коллективные представления, коллективное сознание об'ективны, реальны. «Все покоится,—пишет тот же Марсель Деа,—на идее об'ективной реальности социальных фактов»¹. Своеобразие социальных фактов необходимо понимать в том смысле, что они «пребывают в том же самом обществе, которое их производит, но не в его частях, т. е. в составляющих его членах... Факты социальные только качественно различаются от фактов психических, они имеют иной субстрат, они не развиваются в той же самой среде, они не зависят от тех же самых условий. Этим нельзя сказать, что они не были некоторым образом психическими, так как они состоят все из способов мышления и действия. Но состояние коллективного сознания другой природы, чем состояния индивидуального сознания; mentalité групп не является mentalité частей, она имеет свои собственные законы»². Человек, рождаясь, подвергается воздействию общества и его проявлений. Мораль, право, привычки, коллективные представления и т. д. принудительно навязываются индивиду. Они развиваются часто помимо него и вопреки его желанию. Одна и та же вещь может представлять интерес для различных ученых. К примеру храм как таковой интересует архитектора, в то время как религиозная роль храма составляет предмет социологии. Она также принудительно воздействует на человека. Как только индивид в той или иной мере попытается сопротивляться социальному факту, последний выявляет свою принудительную силу. «Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или употреблять установленную монету, но я не могу поступить иначе. Если бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной»³. Примеры, приводимые Дюркгеймом, могут быть умножены. Итак, предметом социологии являются социальные факты. Momentами, конституирующими последние, по Дюркгейму, являются: спиритуальность социальных фактов (они—коллективные представления), об'ективная реальность, внешность в отношении индивидуума, принудительность для индивидуального сознания. Эти определения представляются наиболее важными и отличающимися социальными факты от психических и естественных явлений. Дюркгейм не возражает против использования и других возможных определений. К примеру, можно говорить о известной роли подражания в вопросе о распространении социальных фактов, но большим заблуждением Тарда было выдвигать подражание в качестве основного определения сущности социальных явлений⁴.

¹ Sociologie, стр. 33.

² Règles, préface de la 2^e édit., стр. XVI.

³ Метод в социологии, стр. 9.

⁴ Там же, стр. 16—17.

Тем не менее из указанных признаков социального факта *принудительность* в отношении индивидуального сознания выдвигается Дюркгеймом как основной и наиболее характерный.

Сущность социального факта определена. Найдено следовательно и об'ект социологии. Существует следовательно и должна существовать социология как самостоятельная наука, на ряду с существованием психологии, биологии и т. д.

Каковы же задачи реформированной социальной науки?

В качестве основной задачи Дюркгейм ставит изучение явлений, как они существуют в действительности, а не в фантазии людей, отыскание причин, вызывавших явления, и законов, по которым они совершаются. Подобная цель представляет не только голый теоретический интерес. Дюркгейм, а за ним плеяда его сотрудников видят в социологии науку, призванную содействовать прогрессивному развитию человечества. Обоснование морали как науки было страстным желанием Дюркгейма, когда он писал свое «О разделении общественного труда». «Социальная философия,—пишет Бугле,—может с пользой бросить пучок света не только на пути науки, но еще и в особенной степени на пути действия»¹. Раскрывая сущность общественных явлений, «социальная философия в состоянии не только вооружить наш ум, но, что является наиболее важным, ориентировать наши сознания» (там же, стр. XXIII). Поэтому, с точки зрения Бугле, представляется чрезвычайно важным введение преподавания социологии в школах. Общество заинтересовано в том, чтобы воспитать «молодые еще души» в духе «общего идеала». Подобное стремление к практическому использованию теории при разрешении наболевших вопросов общественной жизни представляет любопытный момент в учении социологической школы. Одна из работ Е. Дюркгейма—«О самоубийстве» пытается особенно поставить вопрос о практических шагах и рецептах для устранения самоубийств—этого большого зла современной ему действительности. Насколько удалось Дюркгейму разрешить этот вопрос, об этом несколько далее.

Констатирование наличности социальной науки и выяснение ее об'екта есть только часть задачи, которая лежит перед социологом, взявшим на себя труд обоснования новой науки. Для того, чтобы социология могла быть использована для изучения фактов и событий общественной жизни, необходимо, чтобы она обладала научным методом. На эту сторону обращалось, по мнению Дюркгейма, очень мало внимания. Это зависело от того, как полагает Дюркгейм, что социологи далее общих рассуждений о природе обществ и их законов не шли. С того момента, как выдвинулись задачи изучения отдельных сторон общественной жизни, проработка вопроса о сравнительном достоинстве дедукции и индукции становится уже недостаточной. Появляется настоятельная необходимость в постановке и разрешении вопроса о специфическом методе изучения общественных явлений, ме-

¹ Qu'est ce que sociologie? стр. X.

тоде, который бы позволил проникнуть в природу социальной жизни и дать ключ к об'яснению ее проявлений.

И нужно отдать справедливость Дюркгейму, он один из первых буржуазных социологов попытался дать теорию метода изучения общественных явлений. И не только дал теорию, но и применял ее при исследовании отдельных вопросов генетической социологии: проблем морали, права, религии, первобытного мышления. Основные черты намеченного Дюркгеймом метода тесно связаны с трактовкой социального факта. Метод изучения социальных явлений, с точки зрения Дюркгейма, должен обладать следующими отличительными признаками: быть об'ективным, социологическим, внепартийным, исходить из всеобщности закона причинности. Метод формулируется в различных правилах. Дюркгейм различает: правила наблюдения социальных фактов, правила, относящиеся к различению нормальных и патологических явлений, правила составления социальных типов, правила, относящиеся к об'яснению социальных фактов и, наконец, правила доказательства.

Каковы правила наблюдения? Основное из них, которое придает своеобразие концепции Дюркгейма, заключается в требовании рассматривать социальные факты как предметы, как вещи. Это правило не соблюдалось ни Контом, ни Спенсером, ни другими. Исходным пунктом их рассуждений были не сами вещи, а идеи. И вместо науки о реальностях получается, по мнению Дюркгейма, лишь анализ идей. Социология имела дело с представлениями, но не вещами. Если же принять во внимание, что к изучению фактов подходили с точки зрения должного, то еще более станет понятным тот плачевный результат, к которому приходили старые социологи. «Между тем, социальные явления суть предметы, и о них нужно рассуждать, как о предметах. Рассуждать о явлениях как о предметах значит рассуждать о них, как о *данных*, составляющих точку отправления науки»¹. Далее Дюркгейм поясняет свою мысль: «Наблюдению открыта не идея, составляемая людьми о ценности, она ему недоступна, а ценности, действительно обменивающиеся в сфере экономических отношений. Нам дано не то или иное представление о нравственном идеале, а совокупность правил, действительно определяющих поведение. Нам дано не понятие о полезном или о богатстве, а экономическая организация во всей ее полноте»². Формулированное таким образом требование переносит изучение социальных явлений с суб'ективной почвы на об'ективную. Сам метод становится, по Дюркгейму, об'ективным. Прежде социологи, по мнению Дюркгейма, «прибегали исключительно к самонаблюдению». Новая социология будет подходить к явлениям «самим по себе», как внешним предметам, так как они предстают перед нами со всеми своими свойствами. Для того, чтобы осуществлять это важнейшее правило, Дюркгейм предлагает строго держаться следующих правил. Первая задача социолога заключается в том, чтобы,

¹ Метод социологии, стр. 33.

² Там же, стр. 33.

приступая к исследованию той или иной области общественной жизни, стремиться к устранению всех, как он называет, «предпонятий», или «идолов», по выражению Бэкона, *praenotiones, idola*, т. е. понятий, которые образованы «без помощи науки, для нужд, не имеющих ничего общего с наукой». Освобождение затруднено в соц ологии, потому что «здесь часто бывает замешано чувство». Между тем, «чувство—об'ект науки, а не критерий научной истины» (39). Это правило носит отрицательный характер. Следующее правило положительное. Оно рекомендует при наблюдении социальных явлений не соединять в одну рубрику разнообразные факты, а только те, которые об'единены «некоторыми общими, внешними им признаками». Подобный способ классификации зависит не от воли исследователя, а от природы самих вещей. Игнорирование этого правила приводило к тому, «что под одним и тем же термином и в одном и том же об'яснении соединяют вещи, в действительности очень различные» (43). Последнее правило предохраняет от суб'ективности в суждениях. В своем познании люди исходят от полученных ощущений. Но «ощущение легко может быть суб'ективным»,—говорит Дюркгейм. Поэтому для того, чтобы быть об'ективным, необходимо рассматривать факты «с той стороны, с которой они представляются изолированными от своих индивидуальных проявлений» (51). Исследователи должны обратиться к различного рода памятникам, юридическим постановлениям, обычаям, пословицам, народным поговоркам и т. д.

Все эти правила обеспечивают об'ективность исследования. «Наш метод об'ективен»,—воскликает Дюркгейм. В этом он прежде всего отличается от методов старой социологии.

Далее Дюркгейм переходит к выяснению правил, помогающих различать патологическое от нормального. Рассматривая современное ему общество, Дюркгейм видит в нем много отрицательных явлений: самоубийства, кризисы, пауперизм. В «Самоубийстве» он прямо заявляет «о глубокой испорченности нашего социального строя» (535). Задача науки заключается в том, чтобы содействовать изживанию этих болезненных проявлений. А для этого наука должна твердо установить понятия патологического и нормального и способы их различения. Нормальными могут быть названы те факты, которые обладают «формами, наиболее общими». Нельзя абстрактно установить признаки здорового и патологического. Что является нормальным для дикаря, то может быть патологическим для современного цивилизованного человека. Правило для различения в формулировке Дюркгейма гласит: «социальный факт нормален для данного социального типа, рассматриваемого в определенном фазисе его развития, когда он имеет место в большинстве принадлежащих к этому виду обществ, взятых в соответствующем фазисе их эволюции» (70). Если же данный социальный вид еще не сложился, то критерий распространенности, всеобщности уже недостаточен. Необходима проверка. Она заключается в том, что исследователь обращается к условиям коллективной жизни данного социального типа. Если условия прошлого, обусловившие всеобщее распространение данного явления, продолжают существо-

вать и в настоящем, то необходимо данный факт считать нормальным. Знание правил определения патологического позволяет, найдя его корни, лечить его и предупреждать в будущем «хорошей гигиеной».

Каждый данный социальный факт может быть определен нормальным или патологическим только по отношению к определенному социальному виду. Поэтому Дюркгейм считает установление понятия вида чрезвычайно важным. С его точки зрения, существует много социальных видов, «качественно отличающихся друг от друга». Отношение к социальному виду того или иного социального явления должно существенно отличать метод новой социологии от практиковавшихся ранее психологического и аналогического. Исходным пунктом для изучения социальных явлений должно быть общество, социальный вид, социальная среда, но не индивидуальный психический суб'ект Тарда, не индивидуальный человек Спенсера. Методологию Тарда Дюркгейм рассматривал как реакционную. Социальные явления, как явления *sui generis*, не могут быть рассматриваемы при помощи методов суб'ективной психологии. «Определяющая причина данного социального факта,—пишет Дюркгейм,—должна быть отыскиваема среди предшествующих социальных фактов, а не в состояниях индивидуального сознания» (97). Дюркгейм много страниц посвящает тому, чтоб установить полную несостоятельность методов индивидуальной психологии при об'яснении общественной жизни. Он подчеркивает, что социальная среда, изменения в ней являются источниками изменения социальных явлений. Это не значит, что человек с его способностями оставлен в стороне. Общие свойства человеческой природы участвуют, по Дюркгейму, в образовании социальной жизни. Только не они ее вызывают и не они дают ей особую форму, они лишь делают ее возможной (92). Если мы примем индивида за исходный пункт при об'яснении социальных явлений, то нам совершенно непонятны будут пружины социальной эволюции. Лежит ли инстинкт в основе общественного развития, как думал Конт? «Но признать это—значило бы ответить вопросом на вопрос и об'яснить прогресс врожденной склонностью к прогрессу» (96). Или потребности наибольшего счастья, как полагал Спенсер? «Тогда следовало бы,—продолжает Дюркгейм,—доказать, что счастье возрастает вместе с цивилизацией». Между тем, действительность этого не оправдывает и не оправдывала. Еще со-мнительнее подход к социальным явлениям с расовой точки зрения. Если принимают ее, то «поступают не лучше, чем в средние века, когда об'ясняли огонь флогистоном, а действие опиума—его снотворной силой». Только социологический метод дает ключ к правильному исследованию явлений общественной жизни. Его Дюркгейм применил при анализе самоубийств. Шаг за шагом, вполне последовательно, Дюркгейм отрицает возможность об'яснения самоубийств внесоциальными факторами. Ни психопатологическое состояние самоубийцы, ни расовая его принадлежность, ни наследственность, ни космические силы, ни тардовское подражание не являются действительными причинами самоубийства. Причину его нужно искать в социальной среде, в обществе. Далее мы увидим, насколько удалась французскому со-

циологу его попытка. Здесь же нужно подчеркнуть, что сама идея Дюркгейма, сама постановка вопроса о социологическом методе представляется прогрессивной и выгодно отличающей социологическую школу и ее основателя от других буржуазных социологических школ и направлений. Все охарактеризованные выше приемы методологии Дюркгейма являются предварительными моментами в научном исследовании социальных явлений.

Задача социальной науки, по Дюркгейму, заключается в объяснении того или иного общественного явления или группы явлений. При этом сущность объяснения он видит не в том, чтоб выяснить, «чему служат последние, какую роль они играют», а в «установлении причинной связи или в открытии причины явления или в определении полезных следствий данной причины» (112). Законы социальной жизни должны выражать по Дюркгейму, отношения причинности. Объяснение на основе отыскания причин, получившее всеобщее признание в области естественных явлений, должно быть распространено и на область социальных отношений. Социология должна решительно покончить с телеологическим методом и стать на точку зрения признания всеобщности закона причинности. Последний не является постулатом разума, но есть «начало эмпирическое, законный продукт правильной индукции» (18) и в то же время основа для различных дедукций. Дюркгейм далее кратко останавливается на выяснении природы причинной связи. Его не удовлетворяет положение о множественности причин, развитое Миллем. Причина и следствие не гетерогенны, и связь, их соединяющая, не хронологическая, как то полагает Милль. «Она,—говорит Дюркгейм,—представляет собой отношение, вытекающее из природы вещей». Отсюда «одному и тому же следствию соответствует всегда одна и та же причина» (116). Связь причин и следствий носит характер «взаимной солидарности». Следствие и причина друг без друга не существуют. Дюркгейм подчеркивает, что одно из основных его положений—это признание детерминизма, детерминированности общественной жизни. Но это утверждение детерминизма не мешает ему отвести определенную роль активной воле людей. Последние «могут ускорить или задержать» наступление какого-либо факта. Но «они ни в коем случае не могут создать нечто из ничего, и самое вмешательство их, каковы бы ни были его следствия, может произойти лишь в силу производящих причин» (139).

От правил объяснения Дюркгейм переходит к правилам доказательства. Мало констатировать и определить сущность объяснения, необходимо установить те приемы, при помощи которых исследователь в состоянии раскрыть причинную связь, отыскать причину данного явления. Действительным средством отыскания причинных связей является, по Дюркгейму, историко-сравнительный метод. Основное правило последнего требует «рассматривать сравнимые общества в одинаковом периоде их развития» (147). Социолог для того, чтобы понять какое-либо социальное явление, анализирует его в данной представляющей ему форме. Но этого мало. «Недостаточно рассматривать разбираемое учреждение в его законченной форме», необходимо обра-

титься к истории его возникновения, дальнейшего развития. Тогда мы увидим «обособленными, отделенными те различные элементы, из которых оно состоит»¹. Сравнительное изучение истории является для Дюркгейма, как мы уже упомянули, основным средством для получения социологом искомого данных. Но не все приемы сравнительного метода в одинаковой степени эффективны при социологическом исследовании. Ни метод остатков, ни метод согласия, различия не могут гарантировать необходимого успеха. Лишь метод сопутствующих изменений в состоянии в лучшей степени содействовать открытию причинных связей. «Преимущество этого метода заключается в том, что с помощью его причинная связь постигается не извне, как в предыдущих методах, а изнутри». Этот прием «обнаруживает их соответствие друг другу и соответствие постоянное, по крайней мере в количественном отношении». Если первые сравнения не приводят к выявлению причинного отношения, то задача социолога заключается в проведении дополнительных сравнений. Другое условие, делающее метод сопутствующих изменений главным орудием социологических исследований, заключается в том, что он не требует исследования множества фактов. Для того, чтобы получить надежные результаты, достаточно нескольких фактов. «Как только доказано, что в известном числе случаев два явления изменяются одинаково, можно быть уверенным в существовании в данном случае известного закона» (120).

Таковы приемы, правила научного познания социальных явлений. Эти приемы, по Дюркгейму, поставят социологию на необходимую научную высоту и превратят ее в науку, которая будет содействовать рационализации общественной жизни.

Социология едина, в представлении Дюркгейма, с точки зрения предмета и метода. В этом смысле она представляет «одну науку». Если же подойти к социологии со стороны тех вопросов, которые она рассматривает, со стороны аспекта, под которым может быть исследована социальная жизнь, то она должна представлять «свод» отдельных общественных наук. Так как социальная жизнь сложна, так как существует моральная, правовая, эстетическая, экономическая жизнь и т. д., то должны существовать различные виды социологии. Прежде всего Дюркгейм, идя по следам Конта, делит социологию на изучающую строение общества, т. е. социальную морфологию и исследующую его развитие социальную физиологию. Первая изучает географическую основу народов в ее отношении к социальной организации и проблемы, связанные с народонаселением. При этом социальная морфология «не должна ограничиваться одним описательным анализом», но «должна также объяснять», т. е. отыскивать причины данного изучаемого явления. Что касается социальной физиологии, то она, вследствие большой сложности, расчленяется на ряд отдельных общественных наук, т. е. социологий. Социальная физиология включает: социологию религиозную, моральную, юридическую, экономическую, лингвистическую, эстетическую. Каждая из этих социологий имеет целью из-

¹ Метод в науках, стр. 240.

учить законы, свойственные данной области. Помимо специальных социологий, по Дюркгейму, можно говорить и об общей социологии, «как синтетической науке, пытающейся собрать те общие заключения, которые вытекают из всех частных наук»¹. Возможность эта обусловлена тем, что, несмотря на своеобразие социальных проявлений, социальные факты по существу «представляют различные виды одного и того же рода». Содержанием общей социологии, по Дюркгейму, будет выявление того, что составляет единство всех социальных наук, характеристика социального факта *in abstracto*, выявление отдельных специальных закономерностей, как частных случаев «некоторых весьма общих законов» и т. д. Упомянутый выше Марсель Деа в своем учебнике социологии идет по пути, указанному Дюркгеймом. Его классификация предполагает десять различных видов социологий. К набросанному Дюркгеймом он прибавляет еще социологию политическую, изучающую происхождение цивилизации и исследующую домашний быт. Издаваемый социологической школой «Социологический ежегодник» также следует принципам Дюркгейма и классифицирует социологические книги по семи отделам. Сам Дюркгейм не претендовал на исчерпывающую классификацию. Он говорил, что последняя является еще «преждевременной». «В действительности имеется столько же различных отраслей социологии, сколько же особых социальных наук, сколько есть различных видов социальных фактов». Каковы же те мотивы, которыми руководствовался основатель социологической школы, давая различным наукам наименование социологии. Это, с его точки зрения, не простая «перемена ярлычка». Ставши социологией, любая общественная наука должна изменить свой «дух» и «применяемые ею методы». Она станет действительной наукой, которая имеет дело с действительным, а не воображаемым. «Политическая экономия,—пишет Дюркгейм,—осталась до сих пор ублюдочной дисциплиной, чем-то средним между искусством и наукой. Она не столько занимается тем, что наблюдает промышленную и торговую жизнь такой, какова она есть и какова она была в действительности, чтобы познать и определить ее законы, сколько трудится над тем, чтобы перестроить ее и сделать такой, какой она должна быть. Экономисты плохо сознают, что экономическая реальность принудительно навязывается наблюдателю, как и физические реальности, и что, следовательно, прежде чем проводить реформы, надо создать чисто теоретическую науку об экономических явлениях»². Одним словом, вооружив различные социальные науки социологическим методом, тем самым социолог превращает их в действительные науки, могущие указать путь для устранения общественных пороков и патологий.

Таковы основные мысли Е. Дюркгейма о предмете, задачах, методе и классификации реформированной им социологии. Нельзя не признать, что путь, намеченный Дюркгеймом для разрешения важнейших вопросов социологии, правилен, а рассуждения и аргумента-

¹ Метод социологии, стр. 117.

² Метод в науках, стр. 239.

ция своей новизной и тонкостью анализа должны вызвать пристальное внимание.

Дюркгейм пытается обойти или своеобразно решить все препятствия, послужившие источником краха многих социологических теорий. Прежде всего он стремится выяснить основной момент в вопросе создания той или иной науки: объект социальной науки. Что предметом социологии являются социальные факты, а не биологические, физические и т. п. явления, это утверждение не может вызвать никаких возражений. Разногласия начинаются с того момента, когда делается попытка определения социального факта. Соответствующее понимание социального факта, человеческого общества, является фундаментальным, исходным пунктом, разграничивающим различные социологические направления. Последние в буржуазной социологической мысли представлены в лице органического, психологического и, наконец, социологического. Большое число социологов без оговорок не могут быть причислены к одному из указанных основных течений. Они занимают смешанную позицию. Современное состояние буржуазной социологии таково, что органическое направление и сходные с ним попытки игнорирования специфичности общественных явлений и сведения их к физико-химическим процессам мало привлекают внимание и осуждены быть памятниками заблуждения человеческих умов. По общему убеждению, международный социологический конгресс 1897 года подвел итоги органической школе и устами Тарда констатировал ее окончательное жестокое поражение. Более живучими оказались попытки механистов, энергетистов. Остальды, Сольвей и др. пытались рассматривать социальные явления как физико-химические. Барсело и Харе рассматривали взаимоотношения людей с точки зрения законов механики. Наиболее же распространенным является течение, которое психологизирует общественные отношения. Под социальным явлением оно понимает психическое взаимодействие. На основе этого принципа социологи развивают детали своих построений. Одни, как де-Роберти, видят социальное во всяком психологическом взаимодействии, другие же в психическом взаимодействии, отличающемся определенными признаками. Сюда могут быть отнесены, к примеру, Тард, Гиддинс, Теннис и др.

На своеобразно трактуемой психологической позиции стоит и Дюркгейм. В своем разрешении проблемы социального факта он продвинулся значительно далее, чем ряд его коллег. Подчеркивание, что социальное явление представляет об'ективную реальность, что социальный факт не зависит от индивидуального сознания, что он принудительно навязывается единицам общества, говорило о том, что Дюркгейм пытается действительно поставить науку об обществе на более твердый фундамент. Это же обстоятельство заставило некоторых настаивать на общности дюркгеймовских положений с марксистскими. Действительно, марксистская теория общества определяет социальный факт как об'ективно-реальный, внешний по отношению к индивидам, принудительно им навязывающийся. Но доказательство об'ективности покоится в марксистской социологии на ином

основании и аргументации, чем мы это видели у Дюркгейма. Об'ективность всякого социального явления вытекает из того, что оно не может быть по индивидуальному произволу изменено или устроено. Ибо социальный факт наступает или исчезает тогда, когда возникают или изменяются порождающие его производственные отношения. Всякий социальный факт получает об'ективность в силу связанности его с определенными отношениями производства, с характером средств производства. Маркс постоянно не переставал напоминать, что «общественные отношения тесно связаны с производительными силами», что, «приобретая новые производительные силы, люди изменяют свои способы производства, способы обеспечения своей жизни, они изменяют все свои общественные отношения» («Ницета философии»), что «также принципы, идеи, категории» люди производят соответственно «своим общественным отношениям». Коль скоро вопрос об об'ективности социального явления будет поставлен на материалистическую почву, не будет выглядеть замысловатым и необоснованным тот характер принудительности, который присущ социальным явлениям. А таким он представляется в аргументации Дюркгейма. В самом деле, Дюркгейм говорит: «социальный факт узнается лишь по той внешней принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над индивидами, а присутствие этой власти узнается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида разойтись с ним»¹. Но констатирование принудительной власти общества и его проявлений еще недостаточно. Исследователь проблемы должен выяснить источник, природу принуждения. Дюркгейм же удовлетворяется положением, что общество и общественные явления имеют существование, независимое от индивидов, что общество представляет субстрат социальных явлений. Само по себе это утверждение еще ничего не говорит, хотя в нем имеется очень привлекательная мысль, что общество является приматом в отношении индивида. Важным представляется поэтому понимание общества Дюркгеймом. Общество в представлении Дюркгейма—психический коллектив. «Общество не является системой органов или функций... оно очаг моральной жизни». «Сплачиваясь друг с другом, взаимно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души дают начало новому существу, если угодно психическому, но представляющему психическую индивидуальность иного рода»². В ряде других мест Дюркгейм говорит об обществе как «высшей духовной реальности»³, об обществе как системе верований, чувств всяких родов⁴. Тот самый факт, что Дюркгейм упоминает, что общество состоит не только из индивидов, но что в него входят материальные моменты⁵, основ его концепции не изменяет.

¹ Метод социологии, стр. 16.

² Там же, стр. 90.

³ Самоубийство, стр. 7.

⁴ Sociologie et Philosophie.

⁵ Самоубийство, стр. 426.

Общество для него—это сознающий себя коллектив. Коллективное сознание, т. е. совокупность систематизированных чувств и идей данного общества, имеющих «собственную жизнь»,—вот что составляет, по Дюркгейму, сущность общества¹. Один из виднейших сторонников и учеников Дюркгейма, Бугле, в ответ на попытки сблизить учение учителя с марксизмом, вполне правильно утверждает, что «общество для Дюркгейма прежде всего—совокупность идей»². Если общество, по Дюркгейму, коллективный психический суб'ект, то, очевидно, разрешение проблемы сущности социального явления, тоже психического по своему содержанию, встречает непреодолимое препятствие. Утверждение об об'ективности, принудительности не находит солидного обоснования. Сам же отправной пункт дюркгеймовских положений, что общество живет вне индивидов, приобретает характер метафизического, необоснованного положения. Одиноким кажется поэтому положительный момент в концепции французского социолога, что общество больше суммы своих частей, что оно представляет реальность особого рода. Это положение остается недоказанным. Решение проблемы эклектизма не терпит. Будучи недоведенным до конца в духе материалистического понимания истории, оно неизбежно оказывается неубедительным и вызывает с различных сторон возражения и попытки нового, более убедительного обоснования сущности социальных явлений. В частности, Вормс остался неудовлетворенным решением Дюркгейма. Оно ему кажется узким. «Признаки подражания и принуждения,—говорил он,—оба страдают недостатками, ибо они не охватывают, вопреки логическому правилу, полностью определенный об'ект». Единственно адекватно выражающим сущность социального явления является, по Вормсу, *сопсуарс*. «Случаи *сопсуарс* более многочисленны, чем факты подражания или принуждения»³. Так как термин *сопсуарс* достаточно широк, чтобы охватить все разнообразие социального явления, то он является наиболее подходящим для определения социальных фактов. Но для того, чтобы дать полное представление и об'яснение социального факта, Вормс считает необходимым указать на целый ряд других моментов, характерных для всякого социального факта. «Существо социального факта,—подражание, принуждение, особенно *сопсуарс*. Внешние общие признаки социальных фактов: множественность, сложность, разнообразие в пространстве, изменимость во времени. Внутренние общие признаки социальных фактов—*mentalité*, причинность, правильность, внутренняя *finalité*»⁴. В нашу задачу не входит сейчас разбор теории социального явления Вормса. Но уже поверхностное сличение аргументаций и формулировок обоих социологов должно показать, что предложение Вормса представляет не шаг вперед по сравнению с учением Дюркгейма, а несомненный шаг назад. Вормс не подчеркивает специфичность обще-

¹ Разделение труда, стр. 63.

² Предисловие к книге E. D. Sociologie et Philosophie.

³ Philosophie des sciences sociales, т. I, стр. 84.

⁴ Там же.

ства, его примат в отношении к индивидам, наоборот, он всюду, в противовес социологической школе, настаивает на нераздельности общества от составляющих его единиц. «С нашей точки зрения,—пишет он в той же работе,—не существует радикального различия между социальной *mentalité* и *mentalité* индивидуальной». Тем не менее, невзирая на существующие между двумя указанными социологами различия, они сходятся в одном чрезвычайно важном пункте: в понимании природы социального. Для обоих общество не трудовая связь людей на почве их борьбы с природой, а некоторый психический суб'ект. Мы уже приводили свидетельства Дюркгейма на этот счет. Вормс в своей позднейшей работе смягчил утверждения своего первого произведения «Организм и общество». Для него общество является, как сам он говорит, «сверхорганизмом». Имея многочисленные черты сходства с обыкновенными организмами, общество в то же время обладает некоторой специфичностью. «В чем заключается реальность социального существа?»—спрашивает Вормс. И тотчас отвечает: «Если не хотят принять теорию органицизма, согласно которой общество состоит одновременно из анатомической и физиологической связи его элементов, остается по меньшей мере признать его состоящим из психологической связи» (там же, стр. 58). По Вормсу, к обществу вполне можно применить термин, которым Эспинас хотел выразить сущность общества: «организм идей». Мы знаем, что и Дюркгейм считал в числе своих идейных предшественников Эспинаса, пытавшегося усмотреть в обществе более, чем живой организм. Но все же попытки обоснования специфичности не удалась ни Дюркгейму, ни тем более Вормсу. Психичность не кладет радикально водораздела между животным царством и обществом. Ни в малой степени не подвигает решение проблемы и утверждение Дюркгейма, что «крупное различие между человеком и животным, именно большее развитие его психической деятельности, сводится к его большей общественности»¹. И в другом месте: «У животных организм ассимилирует социальные данные и лишает их социальной природы, превращая в биологические данные. Социальная жизнь материализуется. В человечестве, наоборот (особенно в высших обществах), социальные причины становятся на место органических, организм спиритуализуется»². Количественное различие вопроса не решает. Дюркгейм попытался обосновать специфичность общественного своеобразным толкованием социального, как коллективно психического. Но это толкование при всем его своеобразии не выходит по существу из сферы буржуазного идеалистического понимания общества и социального явления. Методологическое отличие общества от животного организма заключается, с марксистской точки зрения, в том, что люди производят и воспроизводят при помощи орудий производства. Активное приспособление к природе посредством системы искусственных орудий—вот что выделяет человека среди прочих органических существ. Поэтому общество не есть просто

¹ Sociologie et philosophie, стр. 85.

² Разделение труда, 276.

продукт взаимодействия людей. Под этим могут подписаться как материалист, так и идеалист. Общество, по выражению Маркса, есть «совокупность отношений, в которых носители этого производства находятся к природе и друг к другу, отношений, при которых они производят»¹. Общество—это совокупность производственных отношений, притом не абстрактных, но определенных, соответствующих определенной ступени развития производительных сил. Точно так же под социальным отношением нельзя понимать просто взаимодействие людей. Это определение формально и может удовлетворить представителей различных социологических направлений. Когда же в определение будет включен момент связи с производственной деятельностью, на почве которой вырастают все социальные отношения и их снимки в форме идей, чувств и т. д., то тогда оно, будучи содержательным, приобретет единственно правильный материалистический смысл. Социальное явление представляет взаимодействие людей на почве их производственной деятельности. Поэтому-то нельзя признать вполне правильным определение общества (Солнцева и других, ограничивающихся формальным определением), как взаимодействия или взаимоотношения.

Марксистское понимание социального факта позволит обосновать то, что в теории Дюркгейма оставалось хотя и правильным, но бездоказательным, именно об'ективность и принудительность социальных явлений. Марксистское понимание социального явления и общества дает возможность установить ясную границу между естественным, психическим и социальным, ту границу, которую пытался установить Дюркгейм, но которую провести ему не удалось. На такой позиции Дюркгейм остановился вполне сознательно. Его не удовлетворяли «крайность» ни психологизма, ни исторического материализма. Истина, с его точки зрения, лежит посредине, в учении социологической школы. Она, как мы уже видели в отношении важнейшего вопроса—понимания сущности социального факта, носит на себе печать компромисса, незаконченности.

Подобным же характером отличается и учение социологической школы о методе изучения общественных явлений. Вормс, намечая классификацию встречавшихся в социологической литературе методов, причисляет метод Дюркгейма, во-первых, к числу априорных, а затем физических. Наименование физического оправдывается, по мнению Вормса, тем, что метод Дюркгейма об'ективен, коллективен, механистичен. Подобные черты как раз характерны для методов, обращенных к изучению «мира неорганического». В результате что получается: «отдаляя социальные науки от психологии и наук о жизни, Дюркгейм приближает их к физическим наукам»². Иначе говоря, по Вормсу, метод Дюркгейма не может рассматриваться как надежный и правильный. Методу Дюркгейма Вормс противопоставляет иной, который он называет апостериорным. В приведенном выше суждении

¹ «Капитал», т. I.

² Philosophie des sciences sociales, т. II, стр. 26.

Вормса выявляется полная его неспособность дать правильную постановку вопроса о методе. Неверно положение, что метод Дюркгейма априорен. Вормс выдвигает в качестве основной характерной черты своего метода именно то, что он основывается на наблюдении. Между тем, и Дюркгейм начинает свое изложение метода анализом правил наблюдения общественных явлений. Научное исследование должно отправляться от вещей, от наблюдения вещей, явлений. Тот факт, что сам Дюркгейм называет себя рационалистом, еще ничего не говорит об априорности его метода. Дюркгейм придает большое значение в научном познании рациональному моменту. И это обстоятельство, при господстве в науке голого эмпиризма и психологизма, скорее может быть рассматриваемо как плюс, но во всяком случае не как минус.

Не менее сомнительна в своей правильности попытка Вормса провести аналогию между методом Дюркгейма и методами физических наук. Метод Дюркгейма не физический, как то утверждает Вормс, но своеобразный, имеющий применение только в отношении общественных явлений, именно метод социологический. Указанное выше мнение Вормса было возможно потому, что метод для него—это то, что в марксистской методологии носит название подсобных приемов научного исследования. Между тем, основное положение дюркгеймовского метода заключается в признании «собственных», особых законов общественной жизни. Мы уже отмечали сильную сторону учения Дюркгейма: утверждение, что общество является первичным в отношении индивидов. Общество—другое качество, чем природа. Мало того, Дюркгейм развивает свою мысль дальше. Он выдвигает понятие социального вида, т. е. общества на определенной ступени общественного развития. Его социологический метод начинает походить некоторыми своими сторонами на исторический материализм. Но это сходство приблизительное, далеко не полное. Марксизм, иначе понимая общество, также требует, чтобы то или иное явление социальной жизни об'яснялось как явление, обусловленное не индивидуальным, но общественным развитием. Социальная точка зрения резко отличает марксизм от буржуазной методологии и роднит с точкой зрения Дюркгейма. Марксизм также считает чрезвычайно важным установление понятия социального вида или, выражаясь иначе, понятия общественно-экономической формации. Но на этом сходство его с социологической школой кончается. Для Дюркгейма есть общество данного социального вида, но общество абстрактное, не расчлененное на классы, общество, как коллективное сознание. Для марксистской школы общество—определенным образом производящее общество, общество, в определенные периоды человеческой истории расчлененное на классы. Исследователь тех или иных социальных явлений обязан подойти к ним не только с социальной точки зрения. Он обязан в целях полной научности установить их причинную зависимость от общественного базиса и их классовое содержание. На наличие этого пробела в концепции Дюркгейма указывает даже один буржуазный критик—Лакомб. Лакомбу совершенно непонятно, почему Дюркгейм прошел ми-

мо такого явления в обществе, как факт расчлененности его на классы. Для марксиста-критика наличие игнорирования классового подхода со стороны социологической школы не может представлять чего-либо загадочного. Ни одна буржуазная теория не в состоянии открыто признать классовую свою сущность. Всякая буржуазная социология, в том числе и дюркгейзм, рядится в тогу беспристрастности, непартийности. Дюркгейм считает одной из отличительных черт своего метода—внепартийность. Между тем наиболее видные представители социологической школы были и являются не только учеными, но и педагогами, не только педагогами, но и политическими деятелями. Бугле, Дюркгейм и др. не переставали настаивать на использовании социологии при воспитании молодого подрастающего поколения, притом в духе общественного-определенного идеала. Поль Фоконе, один из учеников Дюркгейма, говорит, что «по Дюркгейму основными элементами нашей моральности являются дух дисциплины, дух d'abnégation и дух автономии»¹. Все эти моменты, вместе с требованием светской культуры, были знаменем прогрессивной буржуазии в ее борьбе с клерикализмом и военщиной. Под словесной маской внепартийности скрывалась идеология определенного общественного класса, одинаково враждебного силам империи Наполеона III, и идеологии и мощи выходящего на арену общественной жизни нового класса. Сказанного достаточно. В дальнейшем мы более подробно в третьей части работы остановимся на общественном идеале представителей социологической школы. Итак, провозглашение метода внепартийным, внеклассовым было, несомненно, хотя и искренним жестом, но по существу фальшивым и неправильным. Всякий метод в классовом обществе является классовым методом. Не может рассматриваться удовлетворительно разрешенным вопрос о социальной точке зрения и с другой стороны. Дюркгейм считает необходимым рассматривать каждое общественное явление, как порождение определенного социального вида. В конечном счете определяющим является для Д. моральная и материальная плотность данного общества. В первых своих работах Дюркгейм настаивает на том, что материальная плотность может служить точным выражением моральной плотности. Позднее,— об этом свидетельствует и Бугле,—Дюркгейм значительно смягчил свое первоначальное мнение. Материальная плотность может заменить моральную только в отношении экономических феноменов. Это обстоятельство говорит о том, что Дюркгейм все же был далек от той односторонности при об'яснении общественных явлений, в которой его хотят обвинить некоторые социологи, к примеру тот же Вормс. Дюркгейм устанавливает причинную связь между данным социальным фактом и социальной средой, но не между социальным явлением и производительными силами общества. Марксову постановку вопроса он не принимает. «Мы считаем,—говорит он,—плодотворной ту идею, что общественная жизнь должна об'ясняться не тем воззрением, которое вырабатывают себе относительно нее люди, участвующие в ней,

¹ Введение к книге Е. Д. «Education et sociologie», стр. 17.

но глубокими причинами, которые ускользают от сознания. И мы думаем, что эти причины должны отыскиваться, главным образом, в способе, каким сгруппировываются люди, живущие в ассоциации... Что касается до нас, мы пришли к такому воззрению прежде, чем познакомились с Марксом, который отнюдь не влиял на нас... Но насколько нам кажется верным, что причины общественных явлений должно отыскивать вне индивидуальных представлений, настолько же нам кажется ложным, что они в последней инстанции сводятся к состоянию промышленной техники и что экономический фактор является источником прогресса»¹. Социальная среда в представлении Дюркгейма не исчерпывается экономической жизнью. Важнейшей ее особенностью является «нравственная сплоченность» агрегата. Каковы другие «особенности социальной среды, имеющие значение при объяснении социальных фактов», Дюркгейм умалчивает, хотя и считает не единственными. Если принять во внимание вышеприведенное определение социальной жизни Дюркгейма, «что она по существу своему состоит из представлений»², то идеалистический, в лучшем случае эклектический характер его социологизма станет совершенно очевидным. На антиматериалистическом характере своей социологии настаивает Дюркгейм в предисловии ко второму изданию своей работы «Метод в социологии», предисловии, посвященном анализу возражений его критиков³. При этом характерно, что Дюркгейм, а за ним и Бугле имеют в виду механический материализм Фохта, Бюхнера и др., обращающих психическую жизнь в эпифеномен. О существовании другого рода материализма—диалектического—представители социологической школы, видимо, и не подозревают.

Недостатки непоследовательного социологизма, как метода, вскрываются с особенной четкостью в сфере практического его применения, в частности, при выяснении Дюркгеймом природы самоубийства. Социологическая точка зрения в вопросе о причинах самоубийства привлекла к его труду заслуженное пристальное внимание. Дюркгейм считает самоубийство социальным фактом. Причины его в меньшей степени нужно искать в физиологии и анатомии индивидуального человека. Причины самоубийств—факторы социального порядка. Постановка вопроса и линия ее разрешения намечены Дюркгеймом вполне правильно. Волны самоубийств, из года в год повторяющиеся число покончивших с собой могут быть правильно и научно объяснены лишь с социальной точки зрения. В этом пункте с положением Дюркгейма необходимо согласиться. Но коль скоро анализ идет дальше, а он не может остановиться на утверждении зависимости от социальной среды, разногласия вырастают в непримиримые друг с другом социологические учения.

Дюркгейм основную причину самоубийства видит в нарушении связи между индивидом и обществом. Общество перестает влиять на

¹ «Revue philosophique», 1897, № 12.

² Самоубийство, стр. 423.

³ Там же, стр. IX.

индивида. Чем плотнее морально человек связан с обществом, тем менее у него шансов попасть в число самоубийц. «Контингент добровольных смертей определяется моральной организацией общества. У каждого народа существует известная коллективная сила определенной интенсивности, толкающая человека на самоубийство»¹. И далее: «наклонность к самоубийству проистекает из морального настроения общественных групп... Коллективные наклонности имеют свое особенное бытие, это—силы настолько же реальные, насколько реальны силы космические, хотя они и различной природы»². Средством для устранения самоубийств может быть только установление более тесной моральной связанности членов общества друг с другом. Это достигается, по Дюркгейму, организацией профессиональных корпораций. Рассуждение Дюркгейма о природе и причинах самоубийств выявляет все слабые стороны его социологической точки зрения. Его метод вращается в сфере психологического и идеологического процессов. Моральная сплоченность вместе с материальной составляет конечный пункт исследования. Но тогда перед исследователем встает вопрос: чем объясняется определенное моральное состояние данной группы или общества. Дюркгейм говорит о нем, как о данном; иначе говоря, исследование не доканчивается, но искусственно прерывается. Вполне законный вопрос о причинах определенного состояния моральной группы остается без ответа. По Дюркгейму, социальный факт, будь то моральный, политический или какой-либо другой, объясняется определенным состоянием социальной среды. Социальная же среда состоит по существу своему из идей, верований, привычек, общих стремлений, т. е. социальный факт, психический по существу, объясняется тоже психическим, идеологическим. Тот факт, что среда—область коллективного сознания, дело меняет в очень малой степени. В лучшем случае в концепции социологической школы мы можем усмотреть порочное взаимодействие. Об этом взаимодействии говорит, в частности, и последователь Дюркгейма—Бугле. «Если бы мы попытались определить, в какой мере мораль общества зависит от форм его, нужно было бы определить, в какой мере формы зависят от морали»³. Налицо типичный эклектизм в области методологии. Приведем еще несколько примеров из рассуждений Дюркгейма. Объясняя большую частоту самоубийств среди протестантов по сравнению с другими вероисповеданиями, Дюркгейм основную причину находит в меньшей моральной сплоченности протестантов, как религиозного коллектива. Но это утверждение стоит в противоречии с фактами, утверждающими более значительный процент самоубийств среди верующих, принадлежащих к Восточной церкви. Касаясь имевшегося в древности обычая самоубийства стариков, Дюркгейм полагает, что «по всей вероятности, этот обычай, по крайней мере в большинстве случаев, покоится на мотивах религиозного порядка»⁴. Между тем, целый ряд буржуаз-

¹ Самоубийство, стр. 403.

² Там же, стр. 412 и 419.

³ Qu'est ce que la sociologie, стр. 30.

⁴ Самоубийство, стр. 283.

ных социологов дал совершенно иное, не идеалистическое толкование данному факту. Те же недостатки имеет социологический метод и в применении к другим областям конкретной социологии, в частности, к вопросу о происхождении религии.

В тесной связи с социологической точкой зрения стоит и другой характерный момент метода социологической школы—требования об'ективного исследования.

Дюркгейм выступает решительным противником идеологического, как он называет, и психологического метода. Не мнения о предметах, но сами предметы должны быть об'ектом научного познания. Иначе говоря, исследование должно носить об'ективный характер. Метод исследования должен быть об'ективным. Нет никакого сомнения в том, что постановка вопроса Дюркгеймом верна. Суб'ективный метод уже достаточно скомпрометировал себя, чтобы находить себе серьезных защитников и последователей. И взор Дюркгейма невольно направляется на науки, которые уже давно используют приемы и методы, гарантирующие в большей степени результаты научного исследования от индивидуальных погрешностей и произвола. Чем характерен, по мнению Дюркгейма, метод естественных наук? Во-первых, тем, что об'екты исследования в них не зависят от сознания людей, а во-вторых в них применяются такие приемы, как взвешивание, наблюдение через микроскоп и т. д. И Дюркгейм, вполне сознавая своеобразность социальных явлений, не нарушая свой социологизм, говорит о необходимости пользования приемами естественных наук и в науках общественных. Этот момент, вопреки мнению Вормса, ни в коем случае не может быть поставлен в упрек основателю социологической школы. Дюркгейм, признавая различие, притом качественное, отдельных сфер природы и общества, тем не менее хочет установить их единство в методологическом отношении. Таким об'единяющим моментом является признание об'ективности явлений природы и общества, признание в них детерминизма. Если принять во внимание, что почти вся буржуазная мысль признавала наличие пропасти между двумя указанными областями и сферу истории делала ареной произвольной деятельности человеческого духа, то требование Дюркгейма должно быть рассматриваемо, как большой шаг вперед. Марксистская методология также требует об'ективизма при исследовании общественных явлений. Но понимание об'ективного метода в марксизме существенно отлично от понимания Дюркгейма. Точка зрения Дюркгейма—точка зрения буржуазного об'ективиста. Что к социальным фактам необходимо подходить, как существующим вне индивидуального сознания,—это верно. Что нужно освободиться от предпонятий, также верно, но этим содержание об'ективного подхода не исчерпывается. Что социальные факты опричинены—опять-таки правильно. Истинно-научный об'ективный метод заключается, во-первых, в том, что он об'ясняет источник необходимости данного факта, т. е. он говорит об отыскании тех производительных сил и производственных отношений, которые породили его, часто вопреки желанию людей. Далее. Он обязывает отыскивать классовое содержание об'ясняемого факта.

Между тем Дюркгейм этого источника не раскрывает. Его об'ективный метод получает характер метафизического утверждения, а понимание детерминированности общественных явлений и процессов—характер голой, необ'ясненной необходимости.

Основная задача научного познания, по Дюркгейму, как мы уже видели, заключается в отыскании причинных связей, в определении причин данного явления. Телеологический метод должен уступить место тому методу, который нашел себе признание в естествознании. Вормс называет этот метод механическим. Наименование выдает целиком его автора. Он, очевидно, всякое причинное об'яснение подводит под механическое. Он не предполагает, что помимо механически-причинного об'яснения существует диалектическое, которое не отвергает целесообразности в природе, но которое ее об'ясняет. Дюркгейм полагает, что отыскание причины явления вместе с тем дает «определение полезных следствий данной причины». Иначе говоря он, возражая против телеологии, старается избежать другой крайности: полного устранения категории целесообразности. Мысль верная, но она, так сказать, стихийно навязывается ему. Ибо правильное решение вопроса предполагает диалектическое понимание причинности. Это как раз у Дюркгейма и отсутствует. Дюркгейм вполне основательно подмечает недостатки учения Милля о причинности. В противовес миллевскому пониманию Дюркгейм выдвигает свое, иное. Но оно также не может считаться правильным. Дюркгеймовское понимание причинности в целом носит механический характер. Верной является мысль о том, что между причиной и следствием имеется известное тождество, или, как Дюркгейм говорит, «взаимная солидарность». Положение Милля об абсолютной гетерогенности причины и следствия он считает—и вполне правильно—ненаучным. Верным нам кажется и другое положение Дюркгейма, что причинная связь—это связь, вытекающая из природы вещей. Т. е., говоря о причинности, нельзя ее видеть в фактах последования или хронологической связанности двух явлений. Причинная связь—нечто большее, чем следование или простое последование. Далее. Нельзя не признать правильным утверждение, что причина без следствия и обратно немислимы. «Следствие не может, говорит Дюркгейм,—существовать без своей причины, но эта последняя, в свою очередь, нуждается в своем следствии»¹. Следствие воздействует на причину. Отношение причинности превращается в отношение взаимодействия. Все эти приведенные черты дюркгеймовского понимания причинности составляют зерно истины. Но наряду с этими мыслями по поводу причинности Дюркгейм развивает другие, в правильности которых нельзя не усомниться. Для марксиста совершенно очевидно, что общественная жизнь является полем господства не механической причинности, но диалектической. Методологически является совершенно необходимым при анализе понятия причинности отделить причину от следствий и от поводов. Каждое явление имеет условия, причину, которая переводит предмет из возможности в дей-

¹ Метод в социологии, стр. 142.

ствительность, и, наконец, повод для осуществления причинного процесса. Между тем Дюркгейм несколько упрощает понимание причинности, утверждая, что одному и тому же следствию соответствует одна и та же причина. Диалектическое понимание причинности характеризуется тем, что явление, выступающее в данный момент как причина, при других условиях может явиться следствием. Данный факт не всегда и не при всех обстоятельствах может быть причиной. Возможны случаи, когда данный факт при наличии ряда условий уже не может выявиться как причина. Игнорирование Дюркгеймом различия причины, условия и повода отражается на формулировке понятия причинности. Другим, не менее существенным недостатком его трактовки причинности, является механическое понимание соотношения причины и действия. Одним из характернейших черт механического взгляда на причинность является утверждение, что причина равна следствию. Дюркгейм, правда, не говорит о равенстве двух звеньев причинного ряда. Но он мыслит возможным существование «пропорциональности между причиной и следствием»¹. При анализе общественных явлений всякая попытка подойти с количественной точкой зрения заранее обречена на неудачу. Никакой пропорциональности, а тем более равенства между причиной и следствием в социальной области установить невозможно. Такая операция применима лишь к областям природы, подчиненным действиям только законов механики. В высших областях, в частности в обществе, эти законы механики снимаются другими законами, характерными для данной специфической категории явлений.

Сказанным ограничиваются наши замечания о причинности у Дюркгейма. К сожалению, Дюркгейм не остановился более подробно на этом важнейшем методологическом вопросе. О некоторых вопросах, к примеру, о соотношении причины и действия, он пишет вскользь, ограничиваясь подчас лаконичными замечаниями. Но уже и высказанного достаточно, чтоб выразить убеждение, что и в этом вопросе Дюркгейм остановился на полпути, допустив эклектическое сочетание положений диалектического метода с непомерными претензиями механической концепции.

Всякая претендующая на научность социологическая теория должна оперировать, во-первых, тем, что составляет собственно метод, т. е. должна обладать определенным идейным материалом, образующим отправную точку зрения при социальном исследовании. В марксизме данную сторону представляет материалистическое понимание истории, или исторический материализм. Социология Дюркгейма, в противовес многим социологическим школам, пытается свою методологию наполнить социально-методологическим содержанием. Мы уже видели, насколько удалась эта попытка. Но помимо того, всякое научное познание не может обойтись без применения формально-логических приемов. В некоторых, вернее, большинстве буржуазных социологий учение о методе ограничивается анализом того, что по существу входит в понятие подсобных технических приемов. Дюрк-

¹ Там же, стр. 114.

гейм, правда, в меньшей степени, повинен в преувеличении роли технических способов исследования.

Говоря о доказательстве отысканной зависимости как причинной, он выдвигает в качестве действительно-научного приема сравнительно-исторический метод и его частность—метод сопутствующих изменений.

Но прежде два слова относительно формулировки всей главы, как главы, посвященной трактовке правил доказательств. Исследователь при отыскании причинных связей не только обязан иметь ясную точку зрения на содержание причинности, но он должен поставить вопрос о путях нахождения причинных связей. И все рассуждения Дюркгейма о сравнительно-историческом методе по существу являются формулированием тех приемов, при помощи которых можно определять причины данного явления. Никакого доказательства существования в данном случае причинного отношения метод сопутствующих изменений не дает. Нельзя безусловно говорить о наличии причинной связи, если мы видим два явления, сопутствующих друг другу. Мы можем лишь предполагать наличие известной зависимости. Но, что эта зависимость носит причинный характер между двумя или многими друг другу сопутствующими явлениями, сказать это наверняка невозможно. Минто в своей логике относит метод сопутствующих изменений не к числу методов доказательства, но методов наблюдения, а затем к числу второстепенных методов. «Необходимо помнить,—говорит он,—что сопутствующие изменения сами по себе лишь указывают на существование некоторой причинной связи. Природа этой связи должна быть установлена при помощи других методов... Пока сопутствующие изменения не получили полного объяснения, они представляют собой лишь эмпирический закон, и выводы, распространяющие их применение за пределы наблюдений, следует делать осторожно». И прибавляет, что Бэн утверждает, что «параллельные изменения»... «иногда прерываются критическими пунктами». Свидетельство Минто мы должны исправить в сторону подчеркивания малой эффективности метода сопутствующих изменений и при отыскании причинных отношений. Признание метода сопутствующих изменений в качестве главного лишает научную мысль возможности изучать те явления и факты, которые не имеют себе подобных в жизни других государств или народов. А может случиться и так, что подобные общественные явления просто неизвестны. Что должен делать в этих случаях исследователь? Очевидно, прием, почитаемый Дюркгеймом за основной, таковым считаться не может. Необходимо целая совокупность приемов—как дополнение к основному методу научного познания.

Метод сопутствующих изменений Дюркгеймом рассматривается, как один из приемов сравнительно-исторического метода. В целом последнему Дюркгейм уделяет большое внимание. Целый ряд рассуждений Дюркгейма нельзя не признать ценными как, напр., его требование рассматривать общества в одинаковом периоде их развития, каждое явление в его развитии, а не только в законченной форме. Но

в целом все же историзм Дюркгейма не может не вызвать отрицательно-критического отношения. Во-первых, историческая точка зрения не может привести к правильным результатам, если она не сопровождается научной методологией. Характеристику существенным сторонам методологии Дюркгейма мы уже дали. Во-вторых, необходимо отличать буржуазный историзм от историзма в понимании марксизма. Последний представляет историческое развитие, как развитие диалектическое. Не то в концепции Дюркгейма. Мы вовсе не склонны отождествлять историзм Дюркгейма хотя бы с историзмом исторической школы. Совсем нет. Мы хотели бы констатировать, что его историческая точка зрения не преодолевает буржуазной ограниченности, не пронизывается диалектикой. Дюркгейм не требует изучения явлений в плоскости развития их через противоречия, он не ставит вопроса о разграничении сущности от явления, он рассматривает ход истории механически, т. е. «как различные комбинации одного и того же первичного общества», он понимает историческое изучение данного явления как изучение по отдельности элементов, его составляющих в их развитии, а не в их диалектическом единстве на почве экономической—монистической обусловленности. Это обстоятельство необходимо отражается на научных выводах в отношении того или иного изучаемого вопроса (к примеру, смотреть рассуждения о ценности сторонника социологической школы—М. F. Simiand—в его работе «La méthode positive en science économique», стр. 147, о нации M. Davy—«Eléments de sociologie», стр. 199).

С особой яркостью сущность—и социальная и методологическая—Дюркгейма проявляется в его рассуждениях о патологическом и нормальном. Мы приводили выше свидетельство Дюркгейма по этому вопросу. Определение нормального и патологического Дюркгейм относит к числу правил наблюдения. Это объясняется тем, что нормальное для него—это то, что является наиболее распространенным. С указанными положениями марксистская мысль ни в коем случае не может согласиться. И вовсе не потому, что невозможно вообще ставить вопрос об отыскании нормального и патологического в общественной жизни. Один из критиков Дюркгейма, Байе, полагает, что сама постановка вопроса о нормальном и патологическом неуместна, ибо она перенесена из совершенно иной области—из естествознания. Едва ли можно считать выдерживающей критику подобного рода аргументацию. Мы можем пытаться различать патологические явления от нормальных. Но правила для этого различения должны быть иные, чем предлагаемые методологией Дюркгейма. Во-первых, различие патологического от нормального достигается не в результате только наблюдения. Без наблюдения, конечно, не обойтись. Всякое познание начинается с наблюдения. Оно получается в конце исследования, в результате определенной тщательной рациональной обработки наблюденных фактов. Сам Дюркгейм это чувствует, когда говорит: «нормальный характер явления будет более несомненен, раз будет доказано, что внешний признак, его обнаруживший, не только нагляден, но и обусловлен природой вещей, раз эту нормальность можно будет превратить из факта в пра-

во»¹. Во-вторых, и это является особо существенным, нельзя считать нормальным то, что наиболее распространено. Нельзя признать с двух точек зрения—методологической и социальной—значимости. Дюркгейм относит всякое явление к данному социальному типу. Мы не можем не относиться сочувственно к таким положениям Дюркгейма, как: нельзя определять патологическое «in abstracto и абсолютно», что нормально для дикаря, не всегда нормально для чело- века цивилизованного и т. д. Но требование отнесения к данному социальному типу мы не можем считать за достаточное, соответствующее требованиям научной методологии. Ведь мы должны помнить, что современное общество является обществом классовым. То, что является здоровым, нормальным для одного социального слоя, другим рассматривается, как болезненное, отжившее. И это несмотря на то, что данное явление может быть чрезвычайно распространенным. Введение классовой точки зрения при разграничении нормального и патологического является долгом каждого исследователя. Этот момент отсутствует в методологии Дюркгейма. Не изменяет дела требование Дюркгейма рассматривать данный факт в «большинстве принадлежащих к данному типу обществ, взятых в соответствующем фазисе их развития». То, что в качестве аргументации привлекаются для сравнительного рассмотрения многие общества, сможет лишь затруднить исследователя, затемнить ему картину данного типа.

Каждый отдельный общественный вид представляет некоторое своеобразие, которое накладывает свою печать на отдельные явления, имеющие место в нем. Это обязывает всякого исследователя иметь такое методологическое орудие, которое позволило бы наивозможно полнее объяснить факты определенной общественной формации, не прибегая к помощи того, что получило наименование сравнительно-исторического метода и не ставило бы результаты исследования в зависимость от сравнительного изучения других формаций. Методология Дюркгейма не дает настоящего и верного ключа к различению патологического от нормального. Она ставит этот вопрос на субъективный фундамент. В самом деле, проследим рассуждение Дюркгейма о нормальности или патологичности самоубийства в современной Франции. Он полагает, что для общества свойственна определенная цифра самоубийств. Если эта цифра сильно повышается, то Дюркгейм склонен тогда рассматривать самоубийство как аномальное явление. Повышение числа самоубийств является результатом сильнейшего недуга, которым охвачено современное общество. Поэтому Дюркгейм настаивает на необходимости проведения реформы, которая бы восстановила моральную связь человека с группой. Объяснение, данное Дюркгеймом, не может нас удовлетворить. Самоубийства в капиталистическом обществе, в каком бы количестве они ни выражались, как и прочие явления, как-то: преступления, проституция и т. д., являются вполне нормальным следствием тех отношений, которые сложились на базе частной собственности на средства произ-

¹ Метод в социологии, стр. 65.

водства. Дело в конечном счете не в разрыве моральной сплоченности, как то полагает Дюркгейм. Число самоубийств может периодически возрастать или уменьшаться. Этому соответствуют определенные причины. Вспомним волну самоубийств после революции 1905 года в России. Основание для самоубийств и тому подобных явлений коренится в условиях современного капиталистического общества. Реформы даже при помощи рецептов Дюркгейма вопроса разрешить не в состоянии (см. «Самоубийство», последнюю главу), Дюркгейм в данном случае остается на почве капиталистического строя. Он проникнут психологией доброго буржуа, болеющего за недостатки капиталистического общества, но в то же время презирующего социалистов, для которых «капиталистическая организация, несмотря на всеобщее распространение, составляет уклонение от нормального состояния, вызванное насилием и хитростью»¹. Методологическое требование, «чтоб всеобщность явлений принималась за критерий их нормальности», связано с апологией буржуазных общественных отношений. Капиталистическое общество является нормальным для идеологов буржуазии, но оно ненормально с точки зрения пролетариата и его философии. И нельзя утверждать, что признание аномальности является результатом только страстного желания смены существующей общественной формы. Нет, оно покоится на об'ективном основании, на самосознании себя как представителя новой общественной организации, вырастающей в результате снятия старой. Это признание покоится на изучении тех законов, которые с неумолимой последовательностью приводят капиталистическое общество к своему собственному отрицанию. Оно основывается на уяснении, на основании серьезнейшего анализа, что «действительность» капиталистического общества стала «неразумной», вопреки тому, что она еще является наиболее распространенной.

Мы исчерпали важнейшие моменты учения Дюркгейма о методе общественных наук. Наш анализ показал, что Дюркгейм сделал значительный шаг вперед в вопросе обоснования действительно научной социологии. Но развитая им теория метода, несмотря на социологизм, об'ективизм, детерминизм, не может рассматриваться как действительно научная теория метода, ибо она страдает недостатками, которые свойственны формально-логическим и эклектическим течениям. В вопросе о методе Дюркгейм избежал мистицизма, против которого он направил острое оружие своих построений. Но вопреки собственному мнению, ему не удалось освободиться от пут идеологизма, следовательно, идеализма. Рационализм Дюркгейма (так наименовал он свой метод), оторванный от материализма и диалектики, неизбежно должен отличаться существенной чертой всякого идеологического метода, идеализмом в понимании общественных явлений.

Все вышесказанное позволяет нам перейти к оценке последнего, в данный момент нас интересующего, момента в учении Дюркгейма — его взгляда на социологию. Для Дюркгейма термин социология — соби-

¹ Метод в социологии, стр. 80.

рательное понятие. Он насчитывает, как мы уже видели в начале нашей статьи, несколько видов социологий. Право, к примеру, является для Дюркгейма ничем иным, как правовой социологией и т. д. В трактовке этого вопроса мы не можем отказать Дюркгейму в последовательности. Два обстоятельства побудили Дюркгейма к утверждению многих видов социологии. Во-первых, понимание предмета социологии: предметом последней являются социальные факты. Во-вторых, желанием реформировать отдельные науки, признав для них, в качестве единственно научного метода, социологический метод. Оба мотива, с нашей точки зрения, оправдать попытку Дюркгейма не могут. Если предметом социологии являются социальные факты, то любая общественная наука превращается в социологию. И социология, как специфическая наука, с определенным предметом своего изучения, как наука самостоятельная, о создании которой мечтало не одно поколение исследователей общественной жизни, теряет свой *raison d'être*. Само же наименование является действительно ничем иным как этикеткой. Дюркгейм в первые годы своей научной деятельности, как бы в противовес старым социологам, отрицал возможность существования особой, «синтетической» науки об обществе. Этим он навлек на себя вполне заслуженный упрек со стороны ряда современных ему социологов. Позднее, он должен был признать ошибочность своего «радикализма» и констатировать возможность «синтетической общественной науки», «общей социологии», на ряду с другими видами социологии. Этот корректив не внес все же ясности в трактовку социологии, как науки. Да и сам Дюркгейм видимо не придавал значения своей поправке, потому что считал общую социологию «философской стороной науки» и требовал внимания к разработке отдельных общественных наук.

Более понятным, но еще в меньшей степени убедительным является, так сказать, практический мотив Дюркгейма: сделавшись социологией, изменятся «дух» и применяемые этими науками методы. Правильной у Дюркгейма является мысль, что общественные науки едины в своем методе. Но для того, чтобы они сделались действительно научными, нет необходимости именовать их социологиями. Что это так, доказывает вся практика социологической школы, все ее социологические построения. Из того, что отдельные общественные науки стали ветвями социологии, вовсе не следует, что они стали действительно научными при разрешении тех или иных вопросов. Науками они становятся при определенных условиях: когда они исходят из предположений материалистической философии, проникаются ими и основываются на материалистическом понимании общества и его истории.

Путь, намеченный Дюркгеймом для разрешения вопроса о социологии, как мы уже говорили, не вызывает возражений. Результаты же, к которым он пришел, могут почитаться столь же удовлетворительными, как и попытка его предшественников. Разрешение вопроса должно идти не по линии упразднения социологии или превращения ее в корпус социальных наук, а по пути определения точно отграниченного об'екта этой науки от других социальных наук. В настоящее

время вопрос о возможности марксистской социологии многими—далеко не всеми—настойчиво оспаривается. При этом в качестве основного аргумента выдвигается бесплодность буржуазной социологии, занимавшейся отысканием законов, общих для всех общественных формаций. Доводы противников марксистской социологии нами не могут быть признаны серьезными. Вся современная полемика по этому вопросу напоминает ожесточенный спор и борьбу по вопросу о возможности существования особой марксистской философии, имевшей место несколько лет тому назад. Мы не можем сейчас подробно заниматься этой проблемой. Ограничимся несколькими основными соображениями. Мы полагаем, что материалистическое понимание истории или исторический материализм является ничем иным, как марксистской социологией. Когда мы говорим так, то вовсе не хотим отрицать того факта, что исторический материализм представляет метод изучения общественных явлений. Конечно, он является методом. Но не только методом, но и теорией, и наукой, и социологией. Каждая наука имеет своей задачей отыскание законов данной области явлений. Спрашивается, какие законы открывает марксистская социология? Дайте пример таких законов, которые не противоречили бы тезису Маркса: нет законов свойственных всем общественным формациям—вполне резонно требуют противники социологии. На это необходимо ответить следующее: марксистская социология имеет дело с общими закономерностями, она устанавливает общие закономерности. При этом данное наше утверждение ни в какой степени не противоречит учению Маркса и не грешит против материалистической диалектики. Разве основатели марксизма были против установления общих закономерностей? Конечно, нет. Маркс в «Введении к критике политической экономии» упоминает об «определениях», общих всем «ступеням производства», но рядом же он подчеркивает, что для объяснения конкретных явлений определенной формации этих определений недостаточно. С оговоркой Маркса, конечно, нельзя не согласиться. Все дело в том, что существует множество законов и притом законов определенных качеств. Материальный мир в целом управляется общими законами материалистической диалектики. Изучение этих законов составляет предмет философии марксизма. Ведь никто не возражает сейчас против существования особой науки диалектического материализма, который в то же время является общей методологией. Область общественной жизни в целом, как нечто качественно отличное от области природы, также имеет общие определения, общие специфические для социального организма категории и формы связи этих категорий, иначе говоря—законы. Как мы понимаем закон? Для марксиста закон является «формой всеобщности», но всеобщности в пределах данного качества. Он является формой связи, выражающей не только отношение между явлениями, но и тенденцию развития явлений, форму перехода данного явления из одной формы в другую. Под такое определение закона, а оно нам представляется верным, подходят, конечно, общие формы связи, которые мы наблюдаем в обществе, как некоем особом качестве, формы связи между производительными силами и производственными

отношениями, между этими обоими и надстройкой и пр. Но помимо форм связи, общих для социального организма в целом, существуют и должны существовать частные закономерности, свойственные каждой общественной формации. Это утверждал Маркс, когда отрицал существование, к примеру, общего закона народонаселения. Основная ошибка буржуазной социологии заключалась в том, что она пыталась формулировать закон, который бы был общим для всех общественных формаций, и который бы выражал форму связи отдельных периодов истории человечества. Дюркгейм, хотя и установил понятие общественного вида, но все же он по существу не отошел от основной ошибки, характерной хотя бы для Спенсера, Конта, Михайловского, Лаврова и пр. Дюркгейм потопил все разнообразие общественных формаций в однотонности двух эпох, подчиненных механической и органической солидарности. Теории общественного развития Дюркгейма мы посвятим особую статью. Сейчас отметим, что рассуждения Дюркгейма о смене механической солидарности органической имеют характер больше интересной схемы, чем действительного процесса истории. Т. е. Дюркгейм, как и прочие буржуазные социологи, повинен в недialeктическом подходе к явлениям социальной жизни, игнорировании специфичности, качественности отдельных групп общественных фактов и законов, управляющих их соотношением и развитием, в формально-логическом понимании методологических категорий. Отсутствие диалектики вместе с психологическим (а не материалистическим) подходом к социальной жизни составляют две основные характерные черты всякой буржуазной социологии. Отсюда надисторичность, абстрактность, отрешенность от действительности и в конечном счете бесплодность предлагаемых законов и схем.

В противовес буржуазной социологии, марксизм «возвел социологию на степень науки». Исторический материализм и представляет единственно научную социологию. Он в то же время является методом других общественных наук, из которых каждая занимается изучением фактов и закономерностей качественно определенной области явлений.

Мы закончили изложение и оценку взглядов Дюркгейма на предмет и метод социологии. Подведем итоги.

Социология Дюркгейма представляет одну из серьезнейших и интересных попыток обоснования науки об общественной жизни. Правильно подмечая многие отрицательные стороны старой буржуазной социологии, дюркгейзм в общем удачно наметил путь создания научной социологии. В трактовке части вопросов он испытал на себе влияние марксизма. Но исходные идеалистические и формально-логические предпосылки не позволили ему создать действительно научную социологию.

В понимании социального факта—общества—дюркгейзм стоит на психологической позиции.

Его методология эклектична. При объяснении явлений с его точки зрения необходимо устанавливать связь с разнообразными фактами, не уделяя экономическим моментам определяющего внимания, т. е. налицо давно известная теория взаимодействия. Социоло-

гизм, об'ективизм метода теряют методологическую ценность и твердый фундамент, вследствие психологического понимания социальных явлений. Отсутствие диалектики приводит к формально-логическому пониманию категорий. Непомерное значение придается техническим приемам исследования, в частности, сравнительно-историческому методу.

В борьбе против психологизма, мистицизма Дюркгейм впал в другую крайность—рационализм. Он преувеличивал роль теории. Об этом писал один из его последователей—Бугле. Для Дюркгейма желательное открывается, коль скоро познана данная совокупность фактов. Познание таким образом, по Дюркгейму, определяет всякую цель, в том числе и общественную. Данная постановка вопроса далеко не верна. Конечно, правильное познание облегчает постановку и осуществление целей, но оно одно не об'ясняет, почему данный человек или общественная группа останавливают свой выбор на определенном идеале. Очевидно, отсутствие классового материалистического подхода к вопросам и в данном случае помешало Дюркгейму сделать правильное заключение. Единственное решение проблемы заключается в признании единства теории и практики на основе последней. Рационализм Дюркгейма явился здесь следствием абстрактного понимания общества, как идеала для индивидов.

Наконец, социология Дюркгейма, при всех попытках обосновать специфичность общественной жизни, представляет ничто иное, как коллективную психологию. Об этом пишет сам основатель социологической школы: «Мы не видим никакой несообразности в том мнении, что социология есть психология, если только при этом добавить, что социальная психология имеет свои собственные законы, отличающиеся от законов индивидуальной психологии» («Самоубийство», 423). Все отмеченные черты социологического учения Дюркгейма позволяют согласиться с Бугле и сказать: «Дюркгейм наследник, конечно, Конта, а не Маркса».

Социология дюркгейзма, пережив радужную юность, признанную буржуазией кипучую зрелость, подтачиваемая своим собственным теоретическим эклектизмом и беспомощностью, при исчезновении обусловивших ее социальных предпосылок, подвергнется той же участи, какая постигла все возникавшие до сих пор буржуазные теории общества.

Ф. Тележников

СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, ЧИТАЕМЫХ В КОММ. АКАДЕМИИ И ЕЕ СЕКЦИЯХ

СОЦИОЛОГИЯ ЮБИЛЕЯ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА¹

Юбилей Московского Художественного театра имел крупное общественное значение. Поэтому можно говорить о социологии юбилея. Под социологией юбилея МХТ следует разуметь вскрытие социального смысла тех событий, которые связаны с организацией и с проведением юбилея. Необходимо выяснить вопрос, какие социальные силы использовали юбилей Моск. Художественного театра в своих интересах. Необходимо выяснить, способствовал ли юбилей МХТ приближению этого театра к культурным задачам пролетарской революции, или же в результате юбилея театр укрепился на прежних позициях. Способствовал ли юбилей МХТ развитию советского театра или затормозил это развитие? И какую роль во всем этом процессе сыграла марксистская критика?

Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо вспомнить о культурной и общественной роли Моск. Худож. театра, как определенного исторического явления, в развитии нашего театра.

Художественный театр возник в ту эпоху, когда культурное самоопределение крупной городской буржуазии достигло высших своих форм. Это были 80-е и 90-е годы. Это были годы, когда ясно обозначилось преобладание частного почина и частной инициативы над правительственной и бюрократической в области культурного строительства. Купцы и фабриканты старались переделывать друг друга широким размахом культуртрегерских начинаний. В крупных центрах, в особенности в Москве, на частные средства меценатов-благодотворителей были выстроены больницы и клиники, психиатрические лечебницы и студенческие общежития. Началось строительство новых вузов (высших женских курсов, народного университета имени Шанявского, политехникума в Киеве, донского политехникума, саратовского университета). Земские и городские само-

¹ Доклад зачитан 20 ноября 1928 в подкомиссии театроведения Секции литературы и искусства Комм. академии. В виду невозможности из-за отсутствия места напечатать прения по докладу, подкомиссия театроведения считает необходимым сделать следующее замечание.

Дав совершенно правильную оценку юбилея МХТ, т. Новицкий поставил в своем докладе ряд чрезвычайно важных проблем, как напр., вопрос о социальном генезисе МХТ, о его дальнейших путях и о значении системы Станиславского для революционного театра. Все эти вопросы, однако, рассмотрены в докладе лишь в самой общей форме, и секция решила в ближайшее время заняться их более основательной проработкой.

управления старались всячески поддержать частную инициативу и развертывали свой план культурной работы. Частная инициатива преобладала и в области искусства. Вспомните историю Третьяковской галереи, Шукшинского и Морозовского музеев, частной оперы С. И. Мамонтова и оперы Зимина, крупную роль Рябушинского и Дягилева в истории нового русского искусства. Целые художественные направления развивались на средства крупнейших меценатов, субсидировавших объединение художников и издававших художественные журналы («Мир искусства», «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», «Старые годы»). Все эти факты вовсе не означают, что профессиональная художественная интеллигенция была использована крупной буржуазией исключительно в целях своего развлечения и украшения своих досугов. Профессиональная художественная интеллигенция должна была выразить идеологию прогрессивной мыслящей буржуазии, размышляющей о судьбах своего класса, о судьбах человеческой личности и о судьбах всего человечества.

Московский Художественный театр возник в результате этого большого процесса, возник на средства и в среде крупной буржуазии, создан частным починком и должен был обслуживать культурные потребности и нужды буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но одно возникновение в определенной социальной среде, конечно, не свидетельствует достаточно достоверно о классовой природе театра. Специфические особенности того или иного крупного художественного явления определяются не только социально-психологическими особенностями той социальной среды, культурные потребности которой обслуживает данная группа художников, но также и социально-психологическими особенностями этой самой профессиональной производящей художественной среды. Поэтому недостаточно указать, что Московский Художественный театр возник в среде крупной московской буржуазии; по ее почину и инициативе, необходимо еще указать и на особенности той группы художников, которая создала всю историю Московского Художественного театра. Кроме того, следует принять во внимание, что театр является живым и живущим организмом, создающим художественные ценности только в настоящем. Если в других областях искусства можно иметь дело с памятниками, вещественно закрепленными в том или другом материале, то в области театра мы имеем дело с чрезвычайно быстро текущим и исчезающим материалом, с трудом поддающимся тому или иному закреплению в вещественной форме. Театр не может не быть современным. Актер не может уйти от современности. Актер всегда играет самого себя, используя для этого любые материалы. Поэтому и к Художественному театру мы должны подойти, как к историческому явлению, созданному исторически определенной социальной средой. Мы должны рассмотреть особенности Художественного театра не только с точки зрения особенностей той социальной группы, потребности которой должен был удовлетворять этот театр, но и с точки зрения особенностей основной группы руководящих и производящих работников самого театра.

В истории Московского Художественного театра можно отметить 4 периода. Первый период—период *художественного и общественного становления и самоопределения* театра. Это, приблизительно, период с 1898-го по 1901-й год. Это период искания новых путей в области сценической формы, искания общественно-социальных связей и аудитории. В этот период был выдвинут знаменитый лозунг общедоступности и были провозглашены новые принципы, означающие разрыв со старыми традициями условного театрального реализма. Второй период—

с 1901 г. по 1907 г., от постановки «Мещан» и «Доктора Штокмана» до «Драмы жизни» Гамсуна. Это период *роста и зрелости театра*. Он совпал с периодом буржуазно-демократической революции, когда Художественный театр принужден был, под натиском стихийных сил, ярко отражать общественные настроения тогдашней эпохи. Именно этот период выдвинул в качестве основного драматургического материала Художественного театра пьесы Чехова и Горького, именно в этот период театр показал распад старой дворянской чиновничьей России и зарождение новой городской России. Именно в этот период Художественный театр выработал свои основные художественные особенности и утвердил основной свой принцип—принцип *жизненной правды*, детального изображения действительности, принцип *натурализма*. Этот период означает наибольший идеологический подъем театра. Именно в этом периоде Художественный театр и был театром широкой передовой демократической интеллигенции.

С 1907 г. начинается третий период—*период упадка*, период, связанный с наступлением буржуазной реакции в результате гибели революции 1905 г. Это был период крайнего *психологизма*. Предвестником этой идеологической реакции является постановка еще в 1904 г. маленьких, безотрадных и наиболее пессимистических пьес Метерлинка—«Слепые», «Там внутри» и «Непрощенная». После 1907 г. Художественный театр интересуется не глубокими социально-психологическими процессами, которые происходят в глубоких народных недрах, а вечные проблемы личности. Постановки, характеризующие этот период: «Драма жизни», «Жизнь человека», «Синяя птица», «Росмерсхольм», «Анатэма» и др. В этот период Художественный театр внутренне замкнулся в среде буржуазной интеллигенции и утерял связь с широкой живой средой. Этот период характеризуется условными стилизованными постановками.

Исследователи и журналисты той эпохи писали о Московском Художественном театре более об'ективно, без тени какого-либо политиканства. Они не боялись стоять на классовой точке зрения. В одном из сборников, который вышел как раз в начале этого периода буржуазной реакции, и который явился в значительной степени дополнением к сборнику «Литературный распад», один из участников его—т. Чарский—написал специальную статью о Художественном театре, в которой недостаточно глубоко, но в общем верно, формулировал те изменения, которые произошли в жизни Художественного театра.

«Поддаваясь по временам той революционности, которою жила тогда вся Россия, Художественный театр поддавался общественному настроению в той степени, в какой сам класс, представителем которого он был на ниве искусства, поддавался на политической арене натиску широких демократических слоев. Отразив в свое время под'ем общественного самопознания, он вместе с тем является и характерным отражением буржуазной реакции» («Кризис театра», 1908, 150).

Четвертый период, который совпал с периодом роста и развития пролетарской революции, был периодом *растерянности и колебаний*. По существу, он является продолжением третьего периода, только в условиях пролетарской революции. Какие особенности отличают Московский Художественный театр в этот период? Во-первых, стремление противопоставить классовому суб'ективизму рабочего класса художественный об'ективизм театра. Когда Художественный театр, после периода больших колебаний и растерянности, начал все-таки делать некоторые попытки связаться с новой социальной средой и как-то откликнуться

на революцию, то именно в подборе драматургического материала и в трактовании его руководителя Московского Художественного театра пытались одинаково беспристрастно и одинаково об'ективно изобразить и красных и белых, добиться единой художественной правды в изображении той и другой стороны. Но Художественный театр не смог удержаться на позициях такого художественного об'ективизма, так как никакой актер оторваться от современности не в состоянии и должен в своей игре отражать определенное социальное настроение, хочет он этого или не хочет. Этим об'ясняется элегический характер разработки эпических тем, который проявил Московский Художественный театр и в «Днях Турбиных» и в «Бронепоезде». Художественный театр понимает неизбежность разрушения и умирания прошлого, но изображает это умирание в тонах трагического недоумения и жалости. Это касается не только основных эмоциональных тонов и стиля постановки «Дней Турбиных», но также и наиболее революционной постановки Московского Художественного театра—«Бронепоезд». В театральной интерпретации этого произведения театр сумел подчеркнуть две силы: крестьянскую революционную стихию в лице Вершинина и глубокую трагедию неизбежного умирания прошлого в лице капитана Незеласова. Основная тема все та же: трагедия русской буржуазной интеллигенции, оказавшейся в трагическом положении между пролетариатом и буржуазией.

Затем следуют такие постановки Художественного театра, как «Унтиловск», и «Растратчики». Они являются попыткой дать спектакль большого художественного звучания, спектакль, который должен разрешить какие-то большие психологические и идеологические проблемы нашей эпохи. В «Унтиловске» показана патология обывательщины, в «Растратчиках»—безумие мещанина. Но театр в постановке этих проблем пользовался исключительно материалом личной психологии и вместо больших полотен создал спектакли небольшого идеологического значения: основным интересом театра, как и прежде, осталась только судьба личности. Конечно, было бы несправедливо не отметить, что в последних спектаклях Московского Художественного театра был показан бодрый темперамент созревшей мхатовской молодежи. Ее усилиями отдельные эпизоды и сцены такого интересного спектакля, как «Бронепоезд», были крепко увязаны с жизнью и прозвучали с достаточным мужеством.

Эти два периода,—период буржуазной реакции и период колебаний в эпоху пролетарской революции—и определяют физиономию Моск. Художественного театра в настоящее время.

Какими общими чертами отличается этот театр, как целостное художественное историческое явление? Прежде всего нужно отметить внутреннюю замкнутость этого театра в среде буржуазной интеллигенции. Эта замкнутость театром еще не изжита. Вторая отличительная черта театра—эклéктизм, стремление театра ставить на сцене проблемы различной идеологической и художественной ценности. Тут мы имеем дело с самыми противоположными пьесами: «Шейлок» и «Чайка», «Антигона» и «На дне», «Снегурочка» и «Штокман», «Бронепоезд» и «Квадратура круга».

Публика была почти всегда, или во всяком случае очень часто, радикальнее театра. Театр не вел за собою публику, театр часто не в состоянии был оценить момент и дать себе отчет в особенностях времени. И прежней своей публике иногда Худ. театр был чужд. Так, в 1900 г. в «Эрмитаже» Художественный Театр поставил «Снегурочку», и этот спектакль не встретил никакого отклика

в постоянной аудитории театра. Призыв к застою, к мифу, к неподвижному старинному укладу никак не мог взволновать публику в ту эпоху, когда наростало общественное возбуждение и революционный под'ем.

Третья черта, чрезвычайно характерная для последних периодов жизни МХТ, это—страх перед действительностью. Театр постоянно стремился уйти от жизни, в менее актуальные темы, после периода расцвета уйти в классику, в исторические иллюстративные пьесы, в музейно-реставрационные спектакли, в фантастику. Такими постановками, как «Драма жизни», «Жизнь человека», «Снегурочка», «Анатэма», «Синяя птица», театр хотел отгородиться и спастись от действительности.

И, наконец, четвертой чертой театра, может быть, самой для него основной, следует считать крайний индивидуализм. Основной принцип системы Станиславского, основной художественный принцип постановок Художественного театра всецело основан на культе индивидуальных переживаний. Душевная правда личности, интимная жизнь человека,—вот, что всегда интересовало Худ. театр более всего. Основная и постоянная единственная его тема—*судьба отдельной человеческой личности*. Поэтому МХТ и пришел перед революцией к так называемому панпсихизму, поэтому МХТ и должен был прийти от Горького к Достоевскому, и этот приход к Достоевскому означал не расширение путей Моск. Худож. театра, а идеологическую и художественную его ограниченность. Это прекрасно понимал в 1924 году один из теперешних идеологов МХТ—П. А. Марков. Он написал очень интересную книжку—«Новейшие театральные течения». В этой книжке он дал довольно обстоятельные характеристики всех главнейших театральных систем нашей страны. Как же характеризует Марков Моск. Худож. театр, в чем он видит художественную и идеологическую ограниченность путей этого театра?

Прежде всего, Марков подчеркивает глубоко индивидуалистический, камерный характер этого театра. «Художественный театр,—говорит Марков,—окончательно пришел к театру психологическому, т. е. театру, посвященному раскрытию душевной правды героев пьесы. Впервые этот «психологический» театр прозвучал на сцене Художественного театра, когда на ней появились пьесы новой драматургии—Чехова, Гауптмана, Ибсена... Эти драматурги обращали преимущественное внимание на скрытую и сложную внутреннюю жизнь своих современников, на их двойственность, на всю ту глубокую внутреннюю борьбу, которая происходила в людях «сумеречного конца века», «людях утонченных нервов и острого ума» (курсив мой. П. Н.).

Марков делает некоторые социологические выводы из подобной характеристики. «В противоположность старому театру, подчеркивавшему общие для всех образов приемы выражения их страстей, Худож. театр подчеркивал индивидуальные особенности героев и тем добивался совпадения жизненной и театральной правды». «Полнотой жизни для театра стала правда души каждого из героев. Его интересовали те ощущения и неслышимые чувства, которые таились в людях. Достигнув внешней правды, театр перешел к душевной правде. Это и сделало его театром интеллигенции. В этом была доля ограничения, не все области драмы были доступны Художественному театру». И, затем, в конце первого очерка, посвященного психологическому театру, Марков говорит, что Художественный театр «всегда оставался верен тому интересу к личным душевным переживаниям, которыми отмечено его искусство». «Перед ним открывались два пути. Выбирать

их было не нужно, потому что эти два пути были родственными: по существу, это был один путь. Первый путь—путь панпсихизма, который проповедывал Леонид Андреев. Театр выбирал только такие натуралистические детали, которые помогали вскрывать душевную интимную жизнь отдельной человеческой личности. Герой больше переживал, чем говорил и действовал. И вот театр постепенно освобождался от ненужных мелочей натуралистического театра». «Он приходит к *спокойствию созерцательности*,—говорит Марков,—*в нем нет ни правых, ни виноватых, он слушает душевную жизнь, оправдывающую все поступки и все ошибки. Театр становится оправданием жизни*» (с. 19. Курсив мой. П. Н.). Настоящая формулировка чрезвычайно интересна для идеолога сегодняшнего Московского Художественного театра. Второй путь, связанный с первым, лежит по линии углубления психологических и аналитических свойств «системы». «*Утверждение и углубление интереса к душевным загадкам и противоречиям* должно было привести к Достоевскому... Интрига и сюжет отступали на задний план—внимание было сосредоточено на душевных страстях героев Достоевского». Марков признается, что обращение к Достоевскому не было случайным. «К нему лежал весь путь психологического театра». «В самой своей основе психологический метод таил в себе ряд противоречий и ограничивал искусство театра... Классические трагедии не удавались театру. Исполнение приносило большие трагедийные масштабы. *Интерес к психологическим свойствам действующих лиц трагедии преобладал над раскрытием их трагических судеб*, актеры не находили трагической мощи. Театру был закрыт доступ к старой трагедии—*трагедии больших чувств и больших сценических эффектов*». Театр искал иной трагедии. Трагедии индивидуальной мысли, сложных индивидуальных переживаний были понятны театру, а массовые страсти, монументальность, пафос и большая театральность не удавались театру. «Тонкость и сложность чувств были совершенно ненужны там, где бушевали стихийность и страсть» (Марков, 20).

Несмотря на идеологическую и художественную ограниченность, характерную для последних периодов его жизни, Художественный театр сыграл в истории русского и мирового театра громадную положительную роль. Он дал нам уроки высокой театральной культуры и большого театрального мастерства (хотя, следует сказать в скобках, мастерство—вещь условная, и нет мастерства без социальной целеустремленности). Следует еще подчеркнуть художественную зрелость театра, его стремление к законченности, к системе, к твердой слаженности художественных форм. И наконец, следует отметить громаднейшую художественную добросовестность театра, громадную художественную требовательность и серьезность по отношению к своему ремеслу, по отношению к своему искусству. Это то, чему мы все должны учиться у Моск. Худ. театра.

Для того, чтобы социологически оценить события, связанные с тридцатилетним юбилеем МХТ, необходимо иметь в виду три важных обстоятельства.

Во-первых, не следует думать, что у нас существует только одна система советского театра. В области театра мы имеем дело с сосуществованием нескольких общественно-театральных культур. Это раз. А, во-вторых, за последнее время следует отметить крайнее обострение классовой борьбы во всех областях идеологии. Можно указать на чрезвычайно обострившуюся идеологическую борьбу на научном участке нашего фронта, в вузах, в печати, в искусстве. Следует подчеркнуть обозначившееся за последние три года, усиливающееся с каждым годом стремление овладеть театром в идеологических интересах бур-

жуазии. Захват некоторых секторов нашего советского театра буржуазией не следует понимать в буквальном смысле. Это не использование театра для политического нападения на рабочий класс. Это—использование театра для проведения буржуазных влияний на современную аудиторию. Когда драматург и режиссер протестуют против политики в искусстве, против политики в театре, когда театр рассматривается, как место отдыха и покоя, когда идеологи создают теорию искусства—сновидения, когда в пьесах проводится социальный скептицизм, пессимистические настроения и ироническое отношение к нашему строительству, то разве все это не является выражением идеологического захвата театра буржуазией и мещанством? Едва ли буржуазия и мещанство могут избрать более открытую и прямую форму нападения и борьбы. Они избирают самые тончайшие формы идеологической борьбы. И вопрос о методе научного исследования и методе преподавания становится, в сущности, глубочайшим и острейшим вопросом политической классовой борьбы.

Наконец, в-третьих, необходимо иметь в виду при социологической оценке юбилея Московского Художественного театра, что сейчас борются две линии театральной художественной политики. С одной стороны, выставлен тезис: планомерное развитие старого театра может дать нам новый революционный театр, соответствующий культурным потребностям и нуждам пролетариата. Методы, приемы и традиции театра, сложившегося до Октябрьской революции, в конце концов будут подчинены влиянию революции. Эти старые традиции постепенно, в результате внутренней длительной художественной и идеологической эволюции, сами собою выветрятся, и театр сделается пролетарским театром, будет обслуживать культурные нужды пролетарской революции.

Эта позиция грешит недостаточно активной (выражаясь мягко) поддержкой театров новаторских и революционных. Главная линия защитников этой позиции заключается в одностороннем покровительстве театрам традиционным, театрам установившихся и законченных художественных форм, и в пренебрежительном отношении к театрам революционным.

Вторая позиция заключается в активной поддержке театров новаторских, в стремлении дать классовое воспитание актерскому молодяку, организовать пролетарское окружение старых традиционных театров и таким путем—путем действительного выдвижения молодяка и усиления пролетарского влияния—превратить эти театры в новые театры.

Только принявши во внимание все эти особенности нашей нынешней идеологической борьбы, можно правильно оценить то, что произошло в связи с юбилеем Московского Художественного театра.

Прежде всего интересно выяснять отношение к юбилею МХТ марксистской критики. К сожалению, наиболее серьезные выступления марксистской критики ограничились статьями и речами А. В. Луначарского и П. С. Когана. Первою необходимо отметить речь А. В. Луначарского на торжественном заседании в помещении МХТ. Не случайно т. Луначарский начал с теоретических положений. «Мне кажется,—сказал А. В. Луначарский,—что основная потребность, с которой наша обновленная страна обращается сейчас к своим художникам, ранее уже проявившим себя и продолжающим свою более или менее плодотворную деятельность, и к художникам, теперь вышедшим из народных недр—это, прежде всего, *использовать искусство, как особый акт, особый метод познания, незаменимый никакими другими формами познания*» (курсив всюду мой. П. Н.).

Я считаю очень характерным, что юбилей Московского Художественного театра начался этим полемическим и воинственным утверждением, рассматривающим искусство, как метод незаинтересованного познания. Тов. Луначарский не обмолвился ни единым словом, что в понятие искусства входит и другой признак, что искусство не является одним познанием, т. е. пассивным воспроизведением настоящей действительности, как она есть, но также познанием действительности в ее поступательном движении, познанием с определенной целью, с целью воздействия на действительность. Когда утверждает, что искусство является методом познания и не делается больше никаких оговорок, указывающих на целеустремленность искусства, то мы имеем дело с фатальной теорией буржуазного искусствознания, с теорией познания ради познания. А нам кажется, что искусство не является самодовлеющим незаинтересованным познанием, а является *заинтересованным познанием с целью изменения действительности*. А нам кажется, что *познание является средством, а не целью, носит подсобный, подчиненный характер, одинаково и в науке, и в искусстве, и в политической борьбе*. Центр тяжести для пролетарской теории переносится с момента познания на непосредственное и опосредствованное строительство жизни. *В состав понятия искусства входит и должно входить понятие цели*, и отличие пролетарского искусствознания от буржуазного заключается в построении теории искусства на целевом признаке. А с тем определением, какое дал т. Луначарский, развивать искусство театра и подчинять его задачам и целям пролетарской революции нельзя, т. е. теоретически нельзя предъявить таких требований к театру, исходя из такого определения, потому что это определение подразумевает бездейственность и пассивность созерцания и восприятия, основано на принципе обезволения и увода от действия и действительности. Правда, потом т. Луначарский прибавил к первоначальному определению некоторые новые признаки, но не прибавил признака целеустремленности. Он говорит об «*эмоциональном самопознании*», которое «подается не только интеллектуальному учету, а окрашивается любовью, ненавистью и сотнями других чувств». Об этом говорил Валерьян Майков и против него полемизировал Плеханов. Кроме указания на эмоциональный характер художественного познания, т. Луначарский выдвигает еще симпатический признак искусства. «Художник обладает еще замечательной способностью *не только в себе слышать с особенной чуткостью такого рода (революционные) процессы и конфликты, но еще проникнуть в натуру всякой другой личности, иногда целой толпы, целой организации, и путем своей художественной интуиции вскрыть в них творчески те же процессы, как если бы он их переживал сам*».

Но с какой именно целью необходимо вскрыть эти процессы, не говорится ни слова. Волевого, целевого признака здесь нет. С точки зрения этой теоретической позиции, конечно, нельзя предъявить МХТ никаких требований волевого целеустремленного характера. «Худож. Театр,—устанавливает в своей речи А. В.,—не только ценный обломок старины, но также растение, которое может особенно пышно расцвести в наше время и дать особенно сладкие и особенно питательные плоды».

Это просто утверждается. Не говорится о путях, по которым должен развиваться Моск. Худож. театр. Не указывается, каким образом, при помощи какого организованного воздействия МХТ может дать эти особенно сладкие плоды. А пролетарская общественность могла бы поставить перед театром вопрос четко и честно о культурных задачах пролетарской революции и о том, в каком отно-

шении нужно изменить природу театра, чтобы он мог выполнить эти задачи, не отказываясь от своего художественного лица. Тов. Луначарский очень остро ставит в конце своей речи вопрос об отношении театра к современному несовершенному советскому репертуару. «Когда на Художественный театр постоянно напирала и говорили: ты должен все-таки подойти ближе к революции, ты должен выражать такое-то мнение, тогда театр пугался, и руководители его говорили: мы совсем не политики, мы даже не авторы пьесы, мы—актеры, режиссеры, декораторы, мы—исполнители. Мы хотим, чтобы всякий спектакль был искренним. Мы возьмем всякую пьесу, которая может пробудить искренность. Плохие пьесы и человеконенавистнические мы играть не можем... Но для всего остального мы служим совершенным рупором, мы являемся громкоговорителем для общества, пусть оно говорит». И А. В. приводит эту формулу, выражающую основное убеждение Моск. Художественного театра, в чрезвычайно сочувственных тонах. Но передавать без всякой критики эту формулу не значит оказывать театру услугу. Театр не может не быть современным. Какая-то социальная действительность должна быть основой театра, и актер не может уйти от своей современности. И кто утверждает, что театр может явиться совершенным рупором и громкоговорителем для всякого общества и отнюдь не делает никаких оговорок к этой общей формуле, тот едва ли оказывает большую идеологическую услугу этому театру. Никто и не требовал, чтобы Художественный театр был театром «горячо поданной агитации и простым резонатором». Я не помню (у нас были всякие уклоны: левые, ультра-левые и просто нигилистические), чтобы кто-нибудь предъявлял к МХТ подобные требования. Театр, по утверждению т. Луначарского, всегда, даже в весьма сомнительных своих постановках, всегда решал какие-то крупные задачи, которые стоят перед нашей культурой. «Даже в пьесах Булгакова, по существу весьма далеких от нас, театр смог показать в отдельных моментах свою способность отражать действительность».

Тут опять общая формула. Как отражать действительность, какую действительность? Да, МХТ никогда не был театром, который украшал досуги буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но вопрос так и не ставится. Вопрос ставится иначе: буржуазия сумела использовать Моск. Худож. театр в своих культурных интересах, а мы до сих пор не сумели. Как же не использовать этот театр в своих интересах пролетариату?

Кончается речь т. Луначарского вдохновенным утверждением, что МХТ, конечно, будет развиваться, что не может быть такого случая, который бы приостановил художественно-идеологический рост этого театра, а рост будет обозначать определенные изменения. Это правильно. Если театр сумеет изменить свою природу, если иные соки потекут по его жилам, то мы будем иметь дело с новым театром, обслуживающим новую эпоху и новый класс.

В соответствии с торжественной речью т. Луначарского находится его статья, которая была напечатана в «Правде» от 28 октября 1928 г. (№ 251). Эта статья в значительной степени повторяет основные положения его речи. Тем не менее, следует бегло остановиться и на статье. В чрезвычайно сложных и обостренных идеологических спорах нашего времени всякого рода журнальные и газетные формулировки должны представлять из себя первоклассный материал для определения наших позиций. В газетной статье А. В. Луначарский дает объяснение основной художественной позиции МХТ. При этом т. Луначарский высказывает очень оригинальную мысль о том, что именно благодаря этой позиции

чистого искусства, благодаря уходу театра от социальной действительности он смог достичь тех громадных художественных результатов, которых он действительно достиг.

«Ближе анализируя Художественный театр, можно отчетливо представить себе, почему он сыграл в общем положительную общественную роль и почему у него оказались силы к той эволюции, которую он переживает на наших глазах». Из эстетической позиции Худож. театра вытекают три принципа: «принцип торжественности и святости искусства, принцип законченности художественной формы и принцип искренности переживания».

Первый принцип—торжественности и святости искусства, т. е. принцип чистого искусства, объясняется исторической неизбежностью.

«Как и во всей эпохе упадка, на почве вынужденного отказа от реальной общественной деятельности, является не только уклон в фантазию, чисто художественное самопроявление, но еще при этом такой, в котором формальная сторона, чары, ведущие прочь от жизни или как бы вверх от нее, являются особенно драгоценными. Ясно, что вследствие такого отношения к делу этот театр дал эстетически более высокие результаты, чем все прежние театры».

Стало быть, уклон в фантазию, в чистое искусство и способствовал художественному расцвету театра. Это законная постановка вопроса, если ставить его исторически: в какую эпоху позиция чистого искусства может быть оправдана и может быть прогрессивным фактом? Сторонники и последователи Плеханова очень хорошо помнят, что им эта позиция была социологически великолепно истолкована. Плеханов говорил, что в определенные исторические эпохи позиция чистого искусства является прогрессивным фактом, когда она выражает разрыв между исторически ограниченной социальной средой и художником, когда художник отрывается от своей социальной среды и уходит от нее навстречу будущим поколениям. Такова была судьба Пушкина. Но поэзия 80-х годов, поэзия чистого искусства и метафизического преклонения перед вечными эстетическими ценностями, поэзия Случевского, Голенищева-Кутузова, Мережковского, Андриевского, К. Романова и др. была реакционным явлением. Она выражала отрыв от жизни и обреченность своего класса.

В истории Художественного театра эта позиция тоже была отрицательным явлением, потому что к ней театр пришел не в 1902 г., а после идеологического оживления и встряски 1905 года, после «Мещан» и «Детей солнца». Кроме того, неверно, что эта позиция дала более высокие эстетические результаты, чем прежние достижения этого театра.

Луначарский в своей статье очень правильно отмечает социальную обусловленность и классовую направленность чрезмерного психологизма Моск. Худож. театра и устанавливает тут ряд совершенно бесспорных положений.

В конце статьи А. В. Луначарский защищает духовную независимость театра. Он призывает грубых и неуклюжих современников не мешать глубоко интимному и медленному процессу внутреннего самоопределения театра. Но А. В. не ставит такого вопроса: а что, если это самоопределение дает отрицательные для нас результаты? Имеются у нас какие-нибудь положительные требования к театру, или нет? А если театр, в результате этого медленного процесса художественного и идеологического самоопределения, который происходит среди идеологических бурь и политических битв, становится средством буржуазного идеологического воздействия на сырую советскую аудиторию? А если буржуазия пытается исполь-

зовать этот театр в своих целях и интересах? А если мы играем только роль охранителей этого процесса, и под нашей охраной происходит взаимодействие между чрезвычайно ценным для нас театром и буржуазией? А если охранители, ограждающие театр от всякого воздействия на него пролетарской общественности, внушают театру мысль, что такое воздействие должно превратиться в грубое нашествие варваров, которое действительно может вспугнуть те глубокие процессы, которые происходят в недрах этого театра? Такая постановка вопроса глубоко ошибочна, вредна и губительна для самого театра.

Громадный интерес представляет чрезвычайно характерная для всего стиля юбилейных торжеств брошюра П. С. Когана, изданная «Театр-кино-печатью» под заглавием—«Общественное значение Московского Художественного театра».

Написана брошюра крупным историком литературы, Президентом Академии художественных наук и председателем общественного юбилейного комитета по организации празднеств в связи с юбилеем Моск. Худож. театра. В этой брошюре П. С. Коган пытается связать пути Художественного театра с различными изменениями, которые происходили в среде российской интеллигенции. Он, конечно, подчеркивает индивидуалистические стремления театра, подчеркивает, что «лучшая часть интеллигенции, оторванная победоносцевским режимом от участия в строительстве жизни, ушла в свой внутренний мир, искала спасения в глубоких и сложных переживаниях, рожденных одиночеством и вынужденным бездействием». П. С. Коган подчеркивает, что театр в третий (по номенклатуре, нами установленной) период своей художественной работы выбирал только такой драматургический материал, который соответствовал настроению его руководителей и большинства актеров. «Художественный театр воплотил в чарующие образы то, что составляло красоту эпохи» (это, между прочим, стиль всей брошюры). П. С. Коган утверждает, что театр исключительно выбирал узко индивидуалистические темы и поэтому заинтересовался Ибсеном, так как «вместе с Ницше Ибсен был величайшим поэтом замкнутой антисоциальной личности, непримиримым врагом организованной общественности». Поэтому в Гауптмане Худож. театр заинтересовался проблемами, которые «выражают тоску творческой личности, ее бегство от жизни». В «Драме жизни» театр был захвачен культуром иррационального, в «Жизни человека»—ужасом перед жизнью, «отчаянием перед железным предначертанием судьбы». И в то же время все эти постановки П. С. Коган трактует, как протест против мещанства. Как будто отчаяние перед железным предначертанием судьбы и крайний индивидуализм не являются характерными чертами мещанства. Но самое замечательное—впереди. П. С. Коган утверждает, что наиболее положительным достижением старого Художественного театра и выражением его общественной сущности является постановка пьес Достоевского. В популярной брошюре, конечно, необходимо было более глубоко обосновать этот тезис. П. С. Коган цитирует несколько фраз из известного исследования т. Переверзева о Достоевском. Прав Переверзев, когда он утверждает, что к Достоевскому нельзя подходить с обычными мерками и схемами, что Достоевский не может быть оценен только как идеолог самодержавия и как славянофил, что Достоевский является чрезвычайно сложной мятущейся натурой, глубочайшим мыслителем, в котором воплощалась какая-то двойственность социального бытия, который был величайшим апологетом христианства и в то же время—глубочайшим антихристом, который был индивидуалистом и анти-индивидуалистом, который носил в своем творчестве различные противо-

речивые антагонистические социальные системы и психологические стихии. Это совершенно правильно. Но когда Моск. Худож. театр ставит Достоевского в своем истолковании, которое ничего общего не имело с мятежной стихией Достоевского, с его богоборчеством и преодолением пессимистического индивидуализма, то такая сценическая интерпретация Достоевского была социальным злом и идеологической отравой. А П. С. Коган в своей популярной брошюре считает, что *«именно эти постановки можно считать величайшим достижением старого, Художественного театра, самым глубоким выражением его общественной сущности, венцом его беспокойных исканий»* (с. 29. Курсив, как и везде, мой. П. Н.). П. С. Коган вспоминает о знаменитой полемике между М. Горьким, который протестовал против постановок романов Достоевского, и В. И. Немирович-Данченко, эти постановки защищавшим. В этой полемике В. И. Немирович-Данченко дал классические формулировки художественной позиции тогдашнего Художественного театра. Немирович-Данченко протестовал против общественно-утилитарной роли, которую Горький отводил театру. «Театр,—говорил Немирович-Данченко,—сводится на роль чисто служебную, не на создание самостоятельных самодовлеющих художественных ценностей, а на проповедь определенных идей. С этой ролью Худ. театр не мирится. Художественный театр всегда и во всем искал и ищет именно этих взятых почему-то под подозрение высших запросов духа, лишь они его интересуют в его работе, все равно, что бы он ни ставил—Чехова ли, или «На всякого мудреца». Раз у нашего театра, у наших артистов отнять это, им не для чего и работать. Я бы тогда бросил свой театр, потому что он стал бы только ремеслом».

П. С. Коган считает этот спор простым недоразумением. Почему? Потому, что «в настоящее время никто не сомневается в том, что правильно понятое «служение» творческим классам эпохи является одновременно и служением «высшим запросам духа».

В настоящее время никто не сомневается. А в ту эпоху, когда ставили «Братьев Карамазовых» и «Николая Ставрогина», разве Горький и Немирович-Данченко не выражали антагонистических общественно-идеологических позиций? И П. С. Коган этого не видит и вводит теперешний Художественный театр в идеологическое заблуждение. Вместо указания, совместно со всей рабочей общественностью, ошибок театра и путей его развития,—некритическая беспринципная апология самых сомнительных его выступлений.

Этим оценкам, данным театру двумя крупными представителями современного марксистского искусствознания, вполне соответствуют все выступления на торжественном юбилейном заседании. Академик М. Н. Розанов, говоривший от имени Всесоюзной Академии Наук, тоже считал необходимым подчеркнуть, что *«всестороннее познание и истолкование мира и человека—конечная цель одинаково как науки, так и искусства»*. В конце своей речи академик Розанов, прося независимость художественной идеологии МХТ, призывал его отстаивать свою полную внутреннюю свободу (от кого? П. Н.).

Сускевич (МХТ 2) прославлял театр за его заповедь: *«жизнь в искусстве и жертвенность ему»*. Баратов (Музык. Театр) произнес тост за театр, «продливший искусство в вечность».

В. П. Полонский утверждал, что Моск. Худож. театр является *«последним словом»* громадной области театрального искусства, является носителем самых лучших традиций истории искусства».

Т. Орлинский, выступая от имени «революционных литературных организаций», обещал, что «советская литература все свои силы приложит к тому, чтобы наши театры нашли для нашей эпохи достаточно яркие, достаточно революционные пьесы, достойные искусства, представителем которого является Моск. Худ. театр».

Почти никто, за исключением одной М. М. Блюменталь-Тамариной, не вспомнил в течение всего юбилейного заседания о существовании нового рабочего зрителя. Празднество было замкнуто в узком интеллигентском кругу. Исключительно интересны были ответы К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Эти ответы являются классическим документом, который необходимо тщательно изучать.

К. С. Станиславский взволнованно благодарил правительство за все его заботы о театре, но благодарил в таких тонах, в каких можно благодарить всякое иное правительство, занимающееся меценатством. К. С. вспомнил и о новом зрителе. Он рассказал о чрезвычайно неприятных своих ощущениях, которые у него были связаны с появлением нового зрителя, приходившего в театр с продуктами, в галошах и шапке. Теперь этот новый зритель привык снимать шапку в театре и ведет себя вполне прилично. Речь К. С. Станиславского, который является выразителем всех стариков Моск. Худож. театра, показывает глубочайшую идеологическую беспомощность и духовную отчужденность этой группы от нашей эпохи. Они решительно не понимают, в какой эпохе они живут, и поэтому необычайно наивно предъявлять к ним какие-либо требования идеологического порядка (Худ. театр, понятно, отнюдь не исчерпывается этой группой).

Гораздо лучше понимает, в какую эпоху он живет, В. И. Немирович-Данченко. Он сказал чрезвычайно интересную речь, достаточно еще не оцененную до сих пор. Правда, он полностью присоединился к основным идеологическим установкам Станиславского. Но в то же время он постарался подчеркнуть и собственную позицию внутри Худож. театра. Он сказал, что самое радостное для него в приветствиях, это—выражение надежд на будущее театра. Он понимает, что будущее Художественного театра заключается не в органическом развитии его старых путей, а в радикальном его обновлении, и если можно ставить ставку, то исключительно на молодежь.

«Когда революция пришла, она ударила и по Художественному театру. Между теми *физическими ужасами*, которые революция принесла, между ними мы растерялись. *И прошлое, в котором мы жили,—гораздо ближе к тургеневским 40-м и 50-м годам, чем к нашим. До такой степени эти последние годы принесли много новых идей, новых понятий, в которые нужно было вложиться...* Когда мне предложили возобновить «Чайку» Чехова, я боялся, что мы не выберемся из той атмосферы, которая нас крепко окружала и густо залегла в наших душах. Отсюда я постепенно должен был самым решительным образом подойти к тому лозунгу, который я провозгласил несколько лет тому назад: *«курс на молодежь»*. Только через молодежь Художественный театр может жить после нашей смерти. Самый лучший мой поступок в Худож. театре—это именно *организация новой группы, курс на молодежь*».

Это честная постановка вопроса, которую мы должны уважать. Если хотите, чтобы Худ. театр служил революции, держите курс на молодежь, окружите ее своим влиянием, действуйте на нее убеждением, сумеете ее вдохновить тематикой, патетикой и идеологией пролетарской революции, не поддерживайте

в ней индивидуалистических, спептических, узко-эстетических склонностей и настроений.

Влад. Ив. говорил о курсе на молодежь вообще. Но мы должны поставить вопрос: на какую молодежь? В Моск. Худож. театре есть две группы молодежи. Есть одна группа, которая может нас заразить патетикой революции и могучей жизнерадостностью, и есть индивидуалистическая молодежь, настроенная скептически, которая в этом отношении перещеголяла даже и стариков. Мы должны поставить вопрос о пролетарском окружении этой молодежи, о воздействии на нее убеждением, об ее общественном воспитании. Мы должны настаивать на общении молодежи со стариками, но мы должны подчеркнуть, что это общение со стариками даст особенно благоприятные результаты, если влияние будет взаимным, если идеологически руководящее значение в театре будет принадлежать советской части молодежи. Тогда она будет учиться у стариков и создавать новый Художественный театр.

Кроме торжественного заседания и выступлений в печати, которые я отметил, было еще бесконечно много глупых и бестактных речей на разного рода торжественных банкетах, вечерах воспоминаний и т. п. Все эти вечера и поминки прошли без всякого участия рабочей общественности и носили сугубо интеллигентский характер. А не так давно Чехов зло и тонко высмеял ложный и лживый пафос, фальшь и напыщенную глупость юбилейных и поминальных речей. Юбилей Моск. Худ. театра, к сожалению, был насыщен этой патетической глупостью. Сам Художественный театр когда-то подчеркивал ненужность и фальшь подобного рода обращений к «многоуважаемому шкафу». И вот теперь Художественный театр обсели всякого рода старушки и старики, которые со всех сторон на него дули и не давали к нему приблизиться на пушечный выстрел представителям пролетарской общественности.

1 ноября для иностранцев был устроен вечер в ВОКС. После речи О. Д. Каменевой о величии МХТ были исполнены менуэты Рамо и Куперэна и романсы XV столетия в исполнении Зои Лодий. Эта великолепная эгегическая певица в заключение исполнила известный романс Глинки «Бедный певец», который оканчивается такими словами: «О, пристань горестных сердец, могила, верный путь к покою».

Кажется, впервые прозвучал голос пролетарской и советской общественности на вечере в ЦД Рабис, организованном Губотделом Союза. С довольно хорошими речами выступили там т. Шемардина и т. Керженцев, которые впервые за время юбилейных торжеств напомнили о миллионном новом зрителе и призывали Художественный театр переключить себя на служение этим миллионам. Вечер окончился, впрочем, фокстротом и шимми.

Необходимо подвести некоторые итоги. Как бы ни относились к Московскому Художественному театру отдельные течения художественной мысли, к нему должен быть обязателен серьезный социологический подход. Это крупнейший театральный организм, значение которого в истории русского и мирового театра исключительно. С этим никто не может спорить. Тем более необходимо подчеркнуть социологическое значение юбилея. В организации юбилея советские и пролетарские силы не принимали участия. Юбилей был использован полностью в культурно-идеологических интересах буржуазии и мещанства. Позиция панегиристов мало отличалась от позиции, которую заняли марксисты. Московский Художественный театр не рассматривался, как историческое явление, связанное

с определенной исторической средой, а рассматривался, как театр вечной ценности. Юбилей Художественного театра почему-то сосредоточился главным образом в интеллигентских салонах и принял форму банкетов, ресторанных и фокстротных вечеров. Марксистская и коммунистическая общественность или стояла в стороне от официальных празднований, или обнаружила исключительно панегирическое отношение к прошлому и настоящему путем Московского Художественного театра. Те примеры, которые я приводил, являются классическими образцами идеологической выразительности. Не было написано ни одной марксистской статьи и не было издано ни одной марксистской брошюры. В брошюре П. С. Когана марксизм и не ночевал. Следует отметить большую слабость марксистского театроведения и искусствоведения вообще, которые оказались не в состоянии в своем целом дать ни одной серьезной научно-марксистской статьи. Театр не почувствовал вокруг себя новой социальной среды на тридцатом году своего существования. Партийное общественное мнение не было организовано. Отдельные покровители театра выступали, как просвещенные знатоки и противопоставляли себя серой массе варваров, невежд и профанов.

Юбилей ограничился, главным образом, фирмамом, воспоминаниями и некоторым подведением итогов. Но социальные функции юбилеев заключаются еще в установлении путей дальнейшего развития. Эти пути не были намечены, не были никем сформулированы. Была проявлена чрезвычайная бестактность по отношению к театру и к рабочему зрителю. В результате юбилея укрепилась правая оппозиция в театре и укрепилась правая опасность на этом участке нашего идеологического фронта. Мы не руководили, но сами были пленены.

Юбилей с чрезвычайной остротой вскрыл то обстоятельство, что мы не поставили до сих пор серьезно вопроса о политическом и идеологическом воспитании актера, организационно не поставили вопроса о подготовке в наших школах нового актера, который бы действительно выражал «истинную сущность нашей эпохи».

Празднование юбилея должно было способствовать росту и развитию советского театра, а не приостановке этого развития. Между тем, характер юбилея Московского Худож. театра в значительной степени ударил по всем другим театрам.

Из уважения к Моск. Худож. театру мы должны отнестись к нему строже. Мы должны способствовать росту, развитию и укреплению связи театра с новой эпохой, с новой социальной средой. *Величайшая честь, которую мы можем оказать Моск. Худож. театру,—отнестись к нему честно, правдиво и строго, бороться против его использования буржуазией, заставить его послужить культурным задачам пролетарской революции.*

Павел Новицкий

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА

(Библиографический обзор)

За последние годы в народном хозяйстве Германии происходит ряд чрезвычайно интересных процессов, заслуживающих самого пристального внимания и основательного изучения. В этой стране капиталистическая стабилизация одержала наиболее серьезную и крупную победу. Из плацдарма максимального хаоса послевоенной эпохи Германия превращается в арену действия возрождающегося империализма.

В сознании активных агентов германского капитализма и их ученых обслуживателей многообразные процессы, имеющие место в современной экономике Германии, поскольку речь идет о внутренней стороне дела, представляются прежде всего в виде *рационализации*. Точно так же все проблемы стабилизации германского народного хозяйства с мировым обычно собираются и отображаются, как в зеркале, в *репарационной* проблеме. Рационализация и репарации— вот два несомненно самых популярных слова в современной немецкой экономической литературе и прессе.

Такое собирательное значение придает данному термину изрядную расплывчатость. Нередко самые различные явления фигурируют под общим знаменем «рационализации». Однако, этот недостаток имеет, пожалуй, и хорошую сторону: в большинстве случаев проблемы рационализации освещаются не только с узко-технической, а также и с обще-экономической точки зрения. Разумеется, речь идет при этом о рассмотрении под углом зрения специфических интересов капиталистического хозяйства.

Современная германская литература о рационализации может оказаться далеко небесполезной для многих категорий читателей. Среди многочисленных повторений, наряду с глубокомысленным теоретизированием, от которого уши вянут, среди избытка того, что немцы называют «Geschwätz», сплошь и рядом попадаются интереснейшие сообщения практического порядка или любопытные соображения, обобщения, указания. Этот материал может принести пользу как тому читателю, который интересуется *послевоенной экономикой капитализма*, так и тому, кто занят вопросами *рационализации* в наших *советских*— совершенно иных, нежели при капитализме— *условиях*. Исходя из этих соображений, мы считаем бесполезным дать обзор *важнейшей* литературы по данному вопросу.

Мы ограничиваем наш обзор следующим образом. Во-первых, мы берем здесь лишь произведения, появившиеся в виде книг или брошюр (включая сюда и отдельные оттиски—*Sonderabdrucke*), оставляя в стороне журнальные и газет-

ные статьи. Во-вторых, мы приводим лишь то, что появилось в промежутке 1925—28 г. Два-три исключения, необходимых в интересах дела, не меняют этих общих правил. В конце обзора мы указываем ряд *библиографических источников*, в которых читатель легко найдет интересующую его дополнительную литературу более раннего происхождения, а также важнейшие журнально-газетные статьи.

Начнем, как водится, с конца. Попытке подвести некоторые *итоги капиталистической рационализации в Германии* посвящена следующая работа:

1. Die Bedeutung der Rationalisierung für das deutsche Wirtschaftsleben, hrsg. v. d. I. und H. Kammer zu Berlin, Verlag G. Stilke, Berlin, 1928.

Эта книга представляет собой сборник стенограмм целого цикла докладов, организованных по почину берлинской торгово-промышленной палаты. За исключением нескольких профессоров-экономистов, освещающих преимущественно общие темы (*Бонн*—Техническая и хозяйственная рационализация; *Гирш*—Рационализация и безработица; *Брифс*—Рационализация труда; *Никлиш*—Рационализация конторского труда), большинство докладчиков-авторов принадлежит к числу активных руководителей отдельных отраслей капиталистического хозяйства, освещаемых в докладах-статьях.

Вопросы рационализации освещаются также и в другом сборнике статей-докладов, прочитанных осенью 1927 г. цветом германской экономической профессуры на своеобразных «курсах переподготовки хозяйственного актива» германского капитализма.

2. Strukturwandlungen der deutschen Volkswirtschaft, hrsg. v. Prof. B. Harms, Verlag R. Hobbing, Berlin 1928.

В этой объемистой коллективной работе, представляющей собою чрезвычайно любопытную попытку важнейших буржуазных экономистов Германии конкретно разобраться в послевоенных судьбах своей страны, вопросам рационализации посвящено три статьи (*Майенберг*—Техническая рационализация предприятия; *Кальверам*—Рационализация торгового предприятия; *Гайде*—Рационализация и рабочий класс). Однако, в той или иной мере вопросы рационализации затрагиваются в целом ряде других статей этого сборника.

Упомянем еще один сборник полуслужебно-полусправочного характера, вышедший совсем недавно:

3. Das Wirtschafts-Jahrbuch für Industrie und Handel des Deutschen Reiches, hrsg. v. K. Thalheim, Verlag Herbert Schultze. Leipzig, 1928.

Попытке дать *анализ рационализаторских стремлений во всех странах Европы* посвящена следующая работа:

4. Paul Devinat.—Wissenschaftliche Betriebsführung in Europa. Genf, 1927.

Эта работа представляет собою одну из публикаций Международного бюро Труда при Лиге наций в Женеве. Французское издание этой книги появилось годом раньше немецкого. Снабженное предисловием директора бюро труда при Лиге наций, Альбера Тома, это произведение производит впечатление весьма поверхностного описания учреждений, ставящих своей целью рационализацию в различных странах и в самых различных условиях.

Ряд произведений посвящен вопросам рационализации «вообще». Из их числа назовем:

5. R. Kobatsch, Wirtschaftlichkeitslehre. Systematische Darstellung und Begründung aller Arbeiten der Rationalisierung, Wien, 1928.

6. A. Görner.—Die Grundprobleme europäischer Rationalisierung, Graz—Wien—Leipzig, 1928.

7. G. Menz.—Irrationelles in der Rationalisierung. Mensch und Maschine, Breslau, 1928.

Из этих трех книг сплошной болтовней наполнено произведение венского профессора Кобача: глубокомысленные рассуждения о том, что, мол, сердиться—значит поступать нерационально,—перемежаются у него с изложением довольно элементарных положений НОТа. Работа Гернера представляет собой довольно беспомощную попытку разобраться в социально-экономической рационализации в обстановке версализированной Европы.

Более конкретный характер носят следующие книги, посвященные также проблеме рационализации в целом:

8. Honisch.—Die Rationalisierung des industriellen Produktions-Prozesses. Greifswalder Ratsbuchhandlung, 1924.

9. C. Schiffer.—Die ökonomische und sozialpolitische Bedeutung der industriellen Rationalisierungsbestrebungen, Verlag G. Braun, Karlsruhe, 1928.

10. A. Hellwig u. Fr. Mäckbach, Neue Wege wirtschaftlicher Betriebsführung.

Если первая работа носит довольно беспомощно-ученический характер, то несравнимо более серьезное впечатление производит вторая книга и в особенности третья. Книга Шифера представляет собой хорошо сделанный сжатый компендиум важнейших сведений, касающихся как технической, так и экономической стороны современной рационализации. Работа Дельвига и Мэкбаха носит, напротив, более практический характер. Написанная на основании ряда обследований предприятий, эта книга пытается осветить ряд важнейших практических вопросов и задач рационализации в их конкретном осуществлении.

Общие проблемы рационализации с упором на вопросы науки о труде и психотехнике освещаются в следующей книге:

11. Rationalisierung, Arbeitswissenschaft und Arbeiterschutz, hrsg. v. d. Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien, 1927.

Составленная референтами венской камеры труда, находящейся в руках наиболее правых элементов австрийской «левой» социал-демократии и реформистских профсоюзов, эта книга по своей идеологической установке мало чем отличается от обычных сочинений буржуазных авторов. Изложению общезвестных принципов научной организации труда посвящено три четверти книги, остальную четверть занимает весьма поверхностный обзор рационализаторских мероприятий во всех странах мира (особенно смехотворны здесь рассуждения о Советском Союзе) и глава о роли реформистских профсоюзов в капиталистической рационализации.

Напротив, проблема рационализации со специфически-коммерческой, если можно так выразиться, с капиталистически-балансовой точки зрения освещается у следующего автора:

12. Lehmann, M. Die Wirtschaftlichkeit des Betriebes und der Unternehmung, Nürnberg, 1928.

См. также сборник статей ряда деятелей, изданный в начале рационализаторского движения редакцией «Франкфуртской Газеты».

13. Wege zur Rationalisierung, Hrsg. v. d. Frankfurter Zeitung.

Определению самого понятия «рационализация» германские экономисты, обладающие вообще большой слабостью к дефинициям, посвящают непомерно много внимания. В частности, почти исключительно этой «проблеме» посвящена небольшая лепта, внесенная в обильную рационализаторскую литературу В. Зомбартом:

14. Prof. Sombart, W. Die Rationalisierung in der Wirtschaft. Vortrag auf dem 25. kirchlich-sozialen Kongress, mit der Aussprache. Leipzig—Erlangen, 1928.

См. также журнальную статью:

15. Vogel, H. Die Rationalisierung als Sanierungsmittel der modernen Industrie, «Nationalwirtschaft». № 6, 1928.

Впрочем, попытки дефиниции—более или менее удачные—заполняют собою вводные или первые главы почти всех названных нами общих сочинений по рационализации. См. в особенности: №№ 2, 4, 7, 8, 9 и 11, а также 17 и 18.

Некоторые апостолы рационализации идут в своих надеждах на всепасающую роль этого лекарства так далеко, что ожидают от него исцеления многих зол капиталистического строя, в том числе и от такой неприятности, как частая смена конъюнктур и периодическое наступление кризисов. В качестве образчика такой литературы, связывающей идею рационализации с утопией «бесконъюнктурного хозяйства» (Konjunkturlöse Wirtschaft) при капитализме, назовем:

16. Bernet, Fr. Konjunkturforschung und Wirtschaftsrationalisierung, Zürich, 1927.

Отметим еще брошюру:

17. Rationalisierung der privaten und öffentlichen Wirtschaft. Ihre Wege und Möglichkeiten. Mit einem Vorwort v. Hamm, E. Berlin, 1928.

Книжка составлена под руководством Гамма, одного из руководителей германского совета съездов промышленности и торговли. Давая в своих первых главах определение понятия рационализации, и довольно случайный подбор примеров из области рационализации различных сторон хозяйства, эта брошюра в своей последней части дает обзор учреждений, созданных для содействия рационализации в Германии.

Осуществляемая в течение последних лет рационализация вызвала к жизни ряд специальных организаций и учреждений, ставящих своей целью содействие рационализации с той или иной стороны. Краткий обзор деятельности этих учреждений можно найти в брошюре:

18. H. Hinnenthal. Die deutsche Rationalisierungsbewegung und das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit, Berlin, 1927.

См. также:

19. Zehn Jahre deutscher Normung, Beuth Verlag, Berlin, 1928.

20. Die Vorträge der R. K. W. Tagung vom 15. 3. 1927, Berlin, 1927.

См. также № 4, 11 и 17.

Рационализаторские стремления германских капиталистов росли в стабилизационный период в значительной степени под влиянием заразного американского примера. Это обстоятельство, связанное с ролью Америки в проведении германской стабилизации (план Дауза и пр.), нашло свое внешнее выражение в ряде путешествий германских экономистов и капиталистов-практиков в заокеанскую республику. Результатами этих путешествий являлись зачастую статьи, доклады и даже целые книги. Назовем наиболее любопытные:

21. С. Köttgen.—Das wirtschaftliche Amerika, VDI Verl., Berlin, 1925.
22. J. Hirsch.—Das amerikanische Wirtschaftswunder (есть русский перевод).
23. A. Feiler.—Amerika—Europa. Frankfurt a. Main, 1926.
24. Br. Birnbaum.—Organisation der Rationalisierung. Amerika—Deutschland. Verlag E. Hobbing, Berlin, 1927.
25. H. Ludwig.—Systematische Wirtschaft. Amerikanische Methoden—deutsche Verhältnisse, Verlag G. Stilke, Berlin, 1928.

Из числа этих книг первая принадлежит перу одного из директоров крупнейшего Сименсовского концерна, вторая—известному германскому экономисту, третья—редактору лево-буржуазной «Франкфуртской газеты», человеку наблюдательному и неглупому. В книжке Бирнбаума дается описание системы рационализаторских мероприятий, применяемых в Америке, после чего следует обзор германских учреждений, имеющих то или иное отношение к рационализации. Книжка Людвига составлена из фельетонов, печатавшихся в торговой части «Берлинер Тагеблатт».

Эпоха рационализации оживила интерес к практическим опытам двух американцев—Тейлора и Форда. Газетно-журнальная литература, посвященная этим двум представителям капиталистической рационализации в Америке, совершенно необозрима, при чем любопытно, что интерес к Тейлору, считавшемуся ранее чуть ли не единственным представителем так называемой научной организации производства за последние годы (примерно с 1923—24 гг.) все более вытесняется интересом к новому Мессии капитализма, к Форду. Впрочем, в самое последнее время этот Мессия все более выходит в тираж. Не будем здесь называть произведения самих Тейлора и Форда, а также учеников Тейлора и придворных писателей Форда; немецкие издания этих авторов представляют собой перевод с английского. Большинство этой литературы имеется и на русском языке. Отметим лишь оригинальные произведения немецких авторов:

26. Gottl. Ottilienfeld.—Fordismus, Jena, Fischer, 1926.
27. W. Vershofen.—Grenzen der Rationalisierung, Nürnberg, 1927.
28. F. Söllheim.—Taylor-System für Deutschland, München u. Berlin, 1922 (к книге приложена подробная библиография по тэйлоризму).
29. J. Witte.—Taylor, Gilbreth, Ford. München und Berlin, 1924 (с библиографией).
30. E. Honermeier.—Die Ford Motor Company, Leipzig, 1925.
31. P. Rieppel.—Fordbetriebe und Fordmethoden, München u. Berlin, 1925.
32. A. Friedrich.—Henry Ford (есть русский перевод).
33. P. Mennicken.—Anti-Ford oder von der Würde der Menschheit.
34. G. Winter.—Der falsche Messias (Ford), Leipzig, 1924.

35. H. Weiss.—Abbé und Ford, Verlag R. L. Prager, Berlin, 1927 (есть русский перевод).
36. W. Waffenschmidt.—Das Wirtschaftssystem Fords, J. Springer, Berlin, 1926.
37. Ford und wir. Fünf Vorträge. Berlin und Wien, 1926.
38. Bürger.—Die deutsche Industrie und Ford, Dresden, 1925.
39. J. Gerhardt.—Arbeitsrationalisierung und persönliche Abhängigkeit, Mohr, Tübingen, 1925.

Основными проблемами современной индустриальной рационализации являются: *массовое производство и конвейерная система*, со всеми связанными с ними явлениями. Эти проблемы освещаются в большей части приведенной нами литературы. Здесь назовем лишь работы, посвященные исключительно и специально этим вопросам.

По вопросам массового производства см.:

40. K. H. Schmidt.—Wirtschaftsfragen der Massenfertigung, Verlag K. Stilke, Berlin, 1927.

С проблемой массового производства тесно связан ряд вопросов, касающихся специализации, нормализации и стандартизации. Помимо вышеприведенной литературы, см. по этим вопросам специально:

41. Schulz-Mehrin. — Die industrielle Spezialisierung, Wesen, Wirkung, Durchführungsmöglichkeiten und Grenzen, Beuth-Verlag, Berlin, 1927.
42. W. Zimmermann u. F. Brinkmann.—Die Dinormen. Eine Einführung, Berlin, 1926.
43. G. Garbotz.—Vereinheitlichung in der Industrie, München und Berlin, 1920.

По вопросам конвейерной системы см.:

44. H. Mittelstaedt.—Fließende Fertigung, Verlag G. Stilke, Berlin, 1928.
45. A. Wallich.—Die Fließarbeit und ihre Nutzbarmachung für die deutsche Wirtschaft. Stuttgart, 1927.
46. F. Mäckbach u. O. Kienzle.—Fließarbeit. Beiträge zu ihrer Einführung, Berlin, 1926. (есть русск. перевод).
47. P. Setzermann.—Fließarbeit als Grundproblem der Rationalisierung, Beuth, Berlin, 1926.

По мере практического осуществления рационализации появляется ряд работ, специально посвященных проблемам рационализации *определенных отраслей хозяйства*. Эти работы подчас отличаются более конкретным характером и представляют несомненно практический интерес. См. в особенности:

48. Rationalisierung in Verkehrsbetrieben, Verlag G. Hackenbeil, Berlin, 1927.
49. Probleme der Wirtschaftlichkeit im Bauwesen. Vortragsreihe, Berlin, 1926.
50. W. Lübbert.—Rationeller Wohnungsbau. Typ. Normen. Beuth 1927.
51. Maschinenbau.—Gestaltung, Betrieb, Wirtschaft, hrsg. v. Verein Deutscher Ingenieure, Berlin.

Насчет рационализации в отдельных отраслях промышленности см. также серию сборников, издаваемую «Франкфуртской газетой»:

52. Wirtschaftshefte der Frankfurter Zeitung. Beiträge zur Wirtschaftserkenntnis.

До сих пор вышло пять выпусков, посвященных: 1) химической, 2) электрической, 3) строительной, 4) машиностроительной и 5) пищевкусовой промышленности. Интересные данные по рационализации встречаются прежде всего в четвертом и третьем выпусках.

Совершенно новой является проблема рационализации в области сельского хозяйства. Здесь вопросы рационализации производства непосредственно переплетаются с проблемой организации производства и сбыта, с проблемой объединения распыленных сел.-хоз. предприятий. С другой стороны стандартизация с.-х. продукции рассматривается многими экономистами как необходимая предпосылка для ряда мер (кредитование производства и сбыта и т. п.), необходимых для оздоровления сельского хозяйства. См. по этому поводу:

53. K. Ritter.—Staatshilfe oder Selbsthilfe zur Minderung der Agrarnot? P. Parey, Berlin, 1928.

54. Fr. Steding.—Die Kartellierung der Landwirtschaft. Deutscher Schriftverlag, Berlin, 1928.

Отметим еще доклад Sollmsen'a на кельнском съезде банкиров в сентябре с.г. См.

55. Verhandlungen des VII Allgemeinen deutschen Bankiertages zu Köln a. Rh., Verlag W. de Gruyter, Berlin, 1928.

Об отношении *рабочего класса* к капиталистической рационализации в Германии см.:

A. Позиция *компартии*.

56. J. Walcher.—Ford oder Marx? Neuer deutscher Verlag, Berlin, 1925 (есть русский перевод).

57. H. Weiss.—Rationalisierung und Arbeiterklasse, Berlin, 1926.

58. G. Reimann.—Das deutsche Wirtschaftswunder. Viva, Berlin, 1927 (есть русский перевод).

См. также решения руководящих органов Коминтерна и германской компартии за период 1924—28 гг.

B. Позиция *реформистов*.

59. Fr. Tarnow.—Die Gegenwartsaufgaben der Wirtschaftspolitik, Verlag des ADGB, Berlin, 1926.

60. W. Eggert.—Rationalisierung und Arbeiterschaft, Verlag des ADGB, Berlin, 1927.

См. помимо того, № 11.

B. Позиция *синдикалистов*.

61. R. Rocher.—Die Rationalisierung der Wirtschaft und die Arbeiterklasse, Verlag «Der Syndikalist», Berlin, 1927.

Отметим еще несколько произведений, трактующих этот вопрос с *буржуазной* точки зрения.

62. Br. Ranecker.—Rationalisierung und Sozialpolitik, Berlin, 1926.

63. Br. Ranecker.—Die soziale Bedeutung der Rationalisierung, Berlin, 1926.

64. E. Berger.—Wirtschaftsrationalisierung und Facharbeiterfrage, Berlin, 1926.

65. W. Zimmermann.—Psychische Wirkungen der Rationalisierung auf die Arbeiterschaft, Berlin, 1926.

В заключение несколько слов о библиографических источниках и журнальной литературе. Число статей, затрагивающих в той или иной степени интересующий нас круг проблем и помещенных в обще-экономических и специальных журналах Германии, поистине необозримо. Значительная часть этого материала лишена, однако, какого-либо интереса: их содержание сводится к общим местам, либо к повторению давно известной аргументации; все это излагается подчас с чрезвычайно глубокомысленным видом. Другая часть статейного материала представляет, напротив, весьма серьезный интерес: там сообщается иногда ряд конкретных деталей, часто не попадающих в общие и специальные сочинения.

Включение статейного материала увеличило бы наш обзор в несколько раз. Ограничившись поэтому лишь книжно-брошюрной литературой, мы по части журнальных (а отчасти и газетных) статей отсылаем читателя к библиографическим указателям.

Из числа приведенных нами книг библиографическими указателями снабжены №№ 2, 4, 9 и 11. Наиболее обширный и подробный указатель имеется в № 4; этот указатель представляет собой в сущности почти единственную ценность данного произведения, хотя группировка материала не может быть названа вполне удачной. Тем не менее этот указатель содержит ряд статей, помещенных не только в общей прессе, но и во многих специальных органах, посвященных отдельным отраслям индустрии. Указатель № 2 довольно элементарен и скуден. Несколько подробнее указатель в работе № 9; еще подробнее в № 11.

Имеется регулярно выходящий орган, специально посвященный библиографии по ряду проблем современной хозяйственной практики, в котором рационализация занимает весьма почетное место.—Das Betriebswirtschaftliche Schrifttum (выходит с 1926 г.)

Наконец наиболее полную библиографию читатель найдет в ежемесячнике, издаваемом имперским статистическим управлением:

Bibliographie der Staatswissenschaften, hrsg. v. d. Statistischen Reichsamt, Berlin.

Что касается периодических органов, которые *постоянно* уделяют вопросам рационализации *специальное* внимание, то мы могли бы здесь назвать следующие (наш список менее всего может быть назван исчерпывающим).

Mitteilungen des Institut für Rationalisierung (орган Института по Рационализации, существующий при секретариате Лиги наций в Женеве; выходит на трех языках).

Archiv der Fortschritte betriebswissenschaftlicher Forschung und Lehre, [выходит с 1925 г., орган Ausschuss für Wirtschaftliche Fertigung (AWF) при Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (RKW)].

Technik und Wirtschaft (орган союза германских инженеров VDI), Maschinenbau (также издание VDI), Wirtschaftlichkeit (издание RKW), Stahl und Eisen, Glückauf, Ruhr und Rhein.

И. А. ТРАХТЕНБЕРГ.—СОВРЕМЕННЫЙ КРЕДИТ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ.

Ч. I. Теория кредита. Изд. Комм. академии.

Проблема кредита, как известно, принадлежит к числу наименее систематически разработанных в марксистской экономической науке проблем. К. Маркс не дал систематического изложения теории кредита. Однако в его экономических сочинениях, в особенности в пятом отделе третьего тома «Капитала», заключается «достаточно элементов для построения марксистской теории кредита» (предисловие). До сих пор не было попыток систематизации взглядов Маркса на проблему кредита. Правда, начиная с 1924 года стали появляться в марксистских журналах («Под знаменем марксизма», «Вестник Комм. академии» и др.) статьи по кредиту, но они касались только отдельных моментов этой серьезной проблемы, не претендуя на ее систематическое изложение.

Заслуга И. А. Трахтенберга заключается в том, что он первый дал систематическое изложение марксистской теории кредита. Необходимо подчеркнуть, что научная ценность рецензируемой работы не ограничивается одной лишь систематизацией взглядов К. Маркса. Автор, вооруженный марксистским методом, разработал целый ряд вопросов, связанных с теорией кредита, которые Марксом совсем не были изучены. И надо прямо сказать, что автор удачно справился с этой трудной задачей. Марксистская экономическая литература обогатилась еще одной серьезной работой по проблеме, до сих пор мало изученной. Конечно, не все проблемы могли быть автором освещены с одинаковой степенью полноты, но основные марксистские вехи для дальнейшего изучения автором поставлены по всем вопросам теории кредита.

Рецензируемая работа разбивается на 9 глав: I—сущность кредита; II—ссудный капитал; III—формы кредита; IV—основание кредита; V—генезис ссудного капитала; VI—рынок ссудных капиталов; VII—банки и их функции; VIII—границы банковского кредита; IX—операции банков. В конце книги приложена в несколько измененном виде статья, напечатанная в «Плановом хозяйстве»: «Кредит в системе советского хозяйства». Важнейшую часть рецензируемой книги составляют первые две главы, в особенности вторая, посвященная анализу понятия ссудного капитала, как самостоятельной экономической категории.

Точное определение сущности кредита является важнейшей предпосылкой успешного исследования в области кредита. Между тем по этому вопросу в экономической науке нет общепризнанной точки зрения. «Очень часто ведутся споры не только по поводу конститутивных признаков кредита, как экономической категории, но и по поводу самого круга явлений, которые необходимо причислить к кредиту» (с. 10).

Большая часть экономистов рассматривает кредит, как техническую категорию, игнорируя социальное содержание изучаемого экономического явления. Эта группа экономистов кладет в основу определения кредита лишь совокупность формально-юридических признаков. Вот определение кредита Туган-Барановского: «Кредитом называется такая возмездная передача хозяйственных предметов, при которой уплата эквивалента за полученный хозяйственный предмет отсрочивается на некоторое время, или, говоря иначе, такая сделка, при которой момент получения какой-либо ценности отделен от момента возвращения ее эквивалента некоторым промежутком времени» («Основы полит. экон.», с. 422—423). Вагнер считает решающим при определении сущности кредита момент доверия. Коморжинский определяет кредит, как метод передачи имущества в чужое.

предприятие для пользования. Таким образом об'единяются одним и тем же понятием кредита такие различные по своему социальному содержанию экономические явления, как кредитная сделка при рабовладельческой системе хозяйства, в средние века, в эпоху промышленного капитализма и в эпоху финансового капитализма. Автор вскрывает методологическую ошибку такого рода определений кредита. «В многочисленных определениях понятия кредита можно наметить двоякого рода ошибки, которые вытекают из недостаточно критического отношения к обычной терминологии. Во-первых, смешиваются скрытые одинаковым наименованием исторически развивающиеся, трансформирующиеся и изменяющиеся типы социальных связей и, во-вторых, по тем же причинам смешиваются разнообразные типы социальных отношений, сожительствующих в пределах одного и того же общества, в пределах одного и того же отрезка времени» (с. 11). При анализе экономического явления необходимо строго различать социальное содержание и форму, сущность явления и его технико-юридическую оболочку. С точки зрения формально-технической сделка ссуды при рабовладельческой системе хозяйства ничем не отличается от ссуды в капиталистическом хозяйстве. В обоих случаях имеет место движение определенной ценности без получения собственником при ее передаче эквивалента. Но единство формы не должно скрывать различия социально-экономического содержания, форма не должна приниматься за сущность явления. Сущность кредита не может определяться формально-техническими признаками. «Анализ явлений кредита—подчеркивает И. Трахтенберг—должен исходить из того, что кредит есть социальное отношение, что под кредитом надо разуметь определенный тип социальной связи. Кредит, как экономическая категория, не может быть охарактеризован специфическими технико-юридическими признаками кредитной сделки, как своеобразной формы обмена, ибо он представляет собой общественное отношение, вырастающее и развивающееся на основе этих специфических сделок» (с. 15). Изучая явление кредита в его возникновении, движении и развитии, автор устанавливает, что только в развитом товарном хозяйстве кредит приобретает всеобщую значимость. Таким образом подчеркивается не только социальный, но и исторический характер категории кредита. «Кредит есть социальное отношение товарного хозяйства» (с. 17). Автор не ограничивается установлением социально-исторического характера категории кредита, чем отличаются все категории политической экономии. Он подчеркивает специфически-диалектическую природу этой категории. «Рассмотрение кредита в статике, как впрочем и всех экономических явлений, возможно только при абстрагировании от динамических элементов, но такое абстрагирование для кредита обозначало бы абстрагирование от самого существенного, как раз именно от того, что обнаруживает природу кредита» (с. 21). В условиях простого товарного хозяйства об'ектом кредитной сделки является товар; на высшей степени развития товарного хозяйства всякая кредитная сделка принимает форму движения денег. В эпоху промышленного капитализма в связи с господствующим значением капитала трансформируется и сама кредитная сделка. «Все остальные отношения, вырастающие на почве сделок ссуды, подчиняются закономерностям социальных отношений, вытекающих из кредитных сделок, об'ектом которых является капитал» (с. 27). Таким же образом в эпоху финансового капитализма всякая кредитная сделка рассматривается, как движение ссудного капитала. Отсюда следующая характеристика кредита: «Кредит, как экономическая категория современного хозяйства, есть

общественное отношение, вырастающее и развивающееся на основе движения ссудного капитала» (с. 28).

Во второй главе автор подробно останавливается на анализе понятия ссудного капитала, выявляя с особенной отчетливостью отличие его от торгового и промышленного капитала, с одной стороны, и от функциональной денежной формы промышленного капитала, с другой. Ссудный капитал—это прежде всего денежный капитал. Движение ссудного капитала не знает метаморфоз товара и денег. «Именно то, что ссудный капитал не знает метаморфоз товара и денег, составляет характерное и отличительное свойство его движения» (с. 35). Способ отчуждения ссудного капитала также обнаруживает его отличие от промышленного и торгового капитала. «При отчуждении промышленного капитала происходит отчуждение товара, как капитала; при отчуждении ссудного капитала происходит отчуждение денежного капитала, как товара» (с. 40). Далее, автор сопоставляет движение промышленного и торгового капитала с движением ссудного капитала и устанавливает отличие в формах их функционирования. В актах обращения ($D-T$ и T_1-D_1) промышленный капитал выступает непосредственно только как товар или деньги. Только в связи со всем процессом кругооборота деньги в первом акте обращения выступают как денежный капитал, а товар, отчуждаемый капиталистом в последнем акте обращения (T_1-D_1), как капитал в товарной форме. Ссудный же капитал выступает как капитал во всех актах своего обращения ($D-D_1$), несмотря на то, что он тоже выступает непосредственно как определенная сумма денег. «Ссудный капитал—заявляет автор в полном согласии с Марксом—это капитал денежный, т. е. определенная сумма денег, сумма покупательных и платежных средств, но эта сумма денег в своем обращении выступает не просто как покупательные и платежные средства, а как капитал» (с. 44).

Ссудный капитал в своем движении возрастает. Но движение ссудного капитала не включает в себя стадии производства. Капитал, приносящий проценты, является выражением высшего этапа фетишизации общественных отношений. «Производить стоимости, приносить процент, говорит Маркс,—становится таким же свойством денег, как свойство грушевого дерева приносить груши». Отсюда вытекает необходимость выяснить связь движения ссудного капитала с кругооборотом промышленного капитала. Подчеркивая, что единственным основанием движения и возрастания ссудного капитала является процесс производства, процесс эксплуатации рабочей силы, автор приходит к следующему выводу: «Движение совокупного ссудного капитала обусловливается движением действительного капитала, но отдельные массы ссудного капитала совершают свое движение без непосредственной связи с движением реального капитала» (с. 50).

В связи с анализом категории ссудного капитала автор дает четкое и правильное марксистское объяснение фиктивного капитала. Возможность существования фиктивного капитала определяется тремя условиями: 1) наличием процента, как формы дохода ссудного капитала; 2) наличием прав на регулярный доход и 3) свободной циркуляцией прав на доход. Из этих трех предпосылок важнейшей является первая. Только тогда, когда капитал, приносящий проценты, превращается в самостоятельную господствующую экономическую категорию, возможна капитализация дохода. Фиктивный капитал является лишь особой формой ссудного капитала. Автор четко выявляет и различие между ссудным и фиктивным капиталом. «Ссудный капитал, как капитал денежный, является непосредственно превращенной формой реального капитала; фиктивный капитал

потому и фиктивен, что он превращенной формой реального капитала не является. Ссудный капитал отображает капитал реальный, как его бытие, так и движение, фиктивный капитал рефлектирует только движение реального капитала. Ссудный капитал находит свою значимость в своей непосредственной связи с капиталом реальным. Фиктивный капитал определяет свое бытие только как отображение капиталистической прибыли» (с. 68).

Касаясь в главе III вопроса о формах кредита, автор выясняет социально-экономическую сущность коммерческого и банкирского кредита, устанавливая их различие. «Под банкирским кредитом... понимается кредит, посредством которого непосредственно осуществляется движение ссудного капитала; под коммерческим же кредитом понимается кредит, при котором путем сделок ссуды непосредственно осуществляется движение промышленного и торгового капитала» (с. 72). При коммерческом кредите основной целью кредитной сделки для кредитора является реализация товара, сопровождаемая сделкой ссуды. Сделка ссуды при коммерческом кредите не имеет самостоятельного значения. При банкирском же кредите сделка ссуды является основной, причем сущность этой кредитной сделки заключается в предоставлении кредитором заемщику дополнительного капитала, превращая капитал, высвобождающийся из процесса кругооборота промышленного капитала из бездеятельного в функционирующий. Автор совершенно прав, восстанавливая в правах гражданства термины Маркса, вместо терминов Гильфердинга: оборотный и капитальный кредит. Заменяя понятие коммерческого кредита оборотным, Гильфердинг игнорирует момент реализации товара.

Касаясь вопроса об усложнении коммерческого кредита банкирским, автор уточняет спорный вопрос о том, в каких случаях банкирский кредит является лишь ссудой денег, а не ссудой капитала. Ф. Энгельс в своих дополнениях в III томе «Капитала» в гл. 26 и 28 осветил этот вопрос следующим образом: «Если банк соглашается дать своему торговому клиенту заем просто под личный его кредит, без представления с его стороны обеспечения», клиент получает от банка «не только деньги, но и денежный капитал. Если же он получает ссуду под залог ценных бумаг и т. п., то это аванс в том смысле, что ему даются деньги под условием их обратной уплаты... Здесь, следовательно, перед нами ссуда денег, а не капитала. Если аванс выдается под учет векселей, тогда исчезает и форма аванса... В нормальной учетной сделке клиент банка, следовательно, не получает никакого аванса ни капиталом, ни деньгами, он получает деньги за проданный товар» (Капитал, т. III, ч. 1, 1922, с. 414). И. Трахтенберг совершенно правильно указывает, что рассуждения Энгельса верны, когда рассматриваются отношения, складывающиеся между банкиром и векселедателем. Но с точки зрения народно-хозяйственной и при учете векселей имеет место ссуда капитала, так как учет векселей устанавливает связь не только между банком и векселедержателем, но и между банком и векселедателем. Для векселедержателя—кредитора А—кредит, предоставленный ему банком при учете векселя, выданного Б, является действительно ссудой денег. Но для Б—векселедателя—в этой ссуде денег скрывается ссуда капитала. Автор дал ясную, четкую постановку вопроса, который до сих пор иногда трактовался схоластически.

С вопросом о природе ссудного капитала теснейшим образом связан вопрос о происхождении ссудного капитала, анализ которого автор дает в пятой главе.

Современный ссудный капитал является—по мнению автора—результатом слияния и взаимодействия трех форм капитала: торговли деньгами, ростовщического капитала и денежно-торгового капитала. Процесс превращения денежного капитала, как одной из функциональных форм промышленного капитала в самостоятельный вид капитала—в денежно-торговый, автор показывает на основе анализа всего кругооборота промышленного капитала в целом и отдельных его фаз. Такой метод является очень правильным, так как он способствует более глубокому пониманию природы ссудного капитала и его органической связи с процессом воспроизводства. «Денежно-торговый капитал—это обособившаяся часть промышленного (и торгового) капитала, функция которого заключается в выполнении операций с денежным капиталом для всего промышленного и торгового капитала» (с. 118). Но денежно-торговый капитал сам по себе еще не является ссудным капиталом; «необходимо качественное изменение его путем слияния его с ростовщическим капиталом и торговлей деньгами» (с. 121). Ссудный капитал становится господствующей и общезначимой экономической категорией только на той ступени развития капиталистического способа производства, когда привлечение чужих капиталов становится необходимой предпосылкой нормального течения процесса воспроизводства. Автору удалось дать такую четкую и правильную постановку вопроса о природе ссудного капитала и его генезиса только потому, что он изучает это явление диалектически в теснейшей связи с анализом процесса воспроизводства.

Нам кажется, что анализ понятия ссудного капитала является центральной и важнейшей частью рецензируемой книги. И это совершенно правильно.

Буржуазные экономисты обнаруживают удивительную неспособность понять природу ссудного капитала. Проф. Каценеленбаум, например, не понимает, что ссудный капитал отличается от реального капитала. «Каждая кредитная сделка—говорит он—является по существу передачей чужому предприятию... известной доли национального дохода» (учение о деньгах, ч. II, с. 39). Проф. Каценеленбаум—автор об 'емистого труда по кредиту—считает, что даже во время кризисов спрос, пред 'являемый на ссудный капитал, является спросом на вещный капитал. Следовательно, по мнению проф. Каценеленбаума, во время кризиса спрос на товары, на «вещный капитал» не только не сокращается, но даже усиливается. Такие нелепые выводы, являющиеся результатом непонимания сущности ссудного капитала, лишней раз обнаруживают бесплодность буржуазной экономической мысли.

Правильное определение понятия ссудного капитала обеспечивает автору плодотворное исследование важнейшего вопроса теории кредита—вопроса о рынке ссудных капиталов.

Рынок ссудных капиталов—это рынок, на котором сталкиваются спрос и предложение ссудного капитала, как особого вида капитала. Из анализа природы ссудного капитала вытекает, что рынок ссудных капиталов должен иметь свои закономерности, отличающие его от общего товарного рынка. Это, однако, не исключает связи рынка ссудных капиталов с товарным рынком.

«Нам представляется одинаково неправильным как полное отождествление рынка ссудных капиталов с рынком так называемых вещных капиталов, так и утверждение о полной самостоятельности и независимости движения ссудного капитала от движения действительного капитала. Именно одновременная связанность и самостоятельность движения ссудного капитала образуют своеобраз-

ный рынок ссудных капиталов со всеми присущими ему внутренне противоречивыми чертами» (с. 129). Автор совершенно правильно устанавливает единство рынка ссудных капиталов, не исключая возможности различения денежного рынка и рынка капиталов. И эта возможность вытекает из двойственной природы ссудного капитала: с одной стороны,—это капитал, а с другой—определенная сумма денег. В тех случаях, когда заемщик обращается к единому рынку ссудных капиталов за ссудой денег, а именно при ссуде под залог товаров, или под залог ценных бумаг, ссудный рынок выступает в роли денежного рынка. В тех случаях, когда заемщик получает на рынке ссудных капиталов не другую форму имеющегося у него капитала, а дополнительный капитал сверх капитала, функционирующего в его предприятии, рынок ссудных капиталов может быть назван рынком капиталов. Денежный рынок и рынок капиталов представляют собой две стороны одного целого—единого рынка, объектом которого является ссудный капитал. «Денежный рынок и рынок капиталов составляют один и тот же единый рынок ссудных капиталов» (с. 138). На обоих участках единого рынка осуществляется движение ссудного капитала. Но характер этого движения различен. На денежном рынке «движение ссудного капитала отображает существующее распределение реальных капиталов», а на рынке капиталов «движение ссудного капитала вызывает перераспределение реальных капиталов» (с. 140). Далее автор анализирует источники предложения ссудных капиталов и совершенно правильно указывает на то, что высвобождение праздных денежных капиталов в процессе кругооборота промышленного капитала «не имеет в настоящее время большого значения» с точки зрения накопления ссудных капиталов (с. 148).

Касаясь вопроса о динамике уровня процента, автор подчеркивает, что этот уровень устанавливается соотношением спроса и предложения ссудного капитала «за вычетом капитала фиктивного». Далее автор вскрывает ошибку Гильфердинга по вопросу о тенденции нормы процента к понижению. Гильфердинг, как известно, в «Финансовом капитале» подчеркивает свое несогласие по этому вопросу с Марксом, утверждая, что тенденции уровня процента к понижению не существует. Основная ошибка Гильфердинга заключается, во-первых, в том, что он «переоценивает значение процесса высвобождения денежных капиталов из процесса кругооборота промышленного капитала» (с. 178—79) и, во-вторых, в том, что он игнорирует значение кредитной системы и ее влияние на предложение ссудных капиталов, что связано с его ложной теорией «общественно-необходимой стоимости обращения». Тенденция уровня процента к понижению обусловливается тем, что предложение ссудного капитала растет быстрее, чем спрос на него. Разумеется, эта тенденция устанавливается в отношении всего промышленного цикла в целом. «Отдельные фазы народно-хозяйственного цикла характеризуются высоким или низким процентом» (с. 180).

Седьмая глава посвящена анализу природы банков и их функций. Автор совершенно прав, когда он решительно отвергает попытку причислить Маркса к той группе экономистов, которая считает, что сущность банка исчерпывается его посреднической ролью. Банк не только служит посредником между капиталистами, между работодателями и заемщиками, но и своей организующей функцией «создает» ссудный капитал» (с. 187). Таким образом, автор подчеркивает свое расхождение с обоими направлениями по этому вопросу, как с тем, которое вводит только посредническую деятельность банка, так и с другим (Маклеод—

ПО ИНОСТРАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИМ ЖУРНАЛАМ

(Очерк первый. О «Revue internationale de sociologie» 1927)

Ган и др.), считающим, что банк—это капиталотворческая организация. Характеристика банка находится в теснейшей связи с характеристикой ссудного капитала. «Банк—это особый вид капиталистического предприятия, организующего и осуществляющего движение ссудного капитала» (с. 186). Творческое значение банка проявляется отчасти в функции банка превращать доход в ссудный капитал, а главным образом в том, что банк создает покупательные и платежные средства (выпуск банкнот, депозиты). На самом деле, доходы капиталистов и других классов, без банков, без их концентрации в банке, сами по себе ни в какой мере не являются капиталом. «Только соединение этих индивидуальных доходов, аккумуляция их в большие массы делают возможным превращение их в ссудный капитал..., все эти аккумулярованные суммы приводятся в движение, как ссудный капитал, именно банками» (с. 207). Совершенно очевидно, что здесь роль банка больше, чем посредническая. Возможность банка «создавать» ссудный капитал находит свое яркое выражение в выпуске банкнот и депозитов. «Депозиты можно создать потому и в той мере, в какой эти обязательства банку не приходится выполнять с помощью наличных денег. Там, где существует взаимная компенсация долговых притязаний, там возможно делание депозитов» (с. 214). Но автор тут же подчеркивает, что функция создания платежных средств, хотя она и самостоятельна, опирается на посредническую деятельность банка, при чем способность создания этих платежных средств отнюдь не является безграничной, как думает А. Ган. Этот вопрос автор подробно освещает в главе «Граница банковского кредита». «Общее разрешение проблемы границ кредита, осуществляемого функцией банков по созданию покупательных и платежных средств и превращению их в ссудный капитал, может быть сформулировано следующим образом. Создание банками покупательных и платежных средств ограничивается закономерностями товарооборота. Превращение покупательных и платежных средств в ссудный капитал, движение которого имеет своим основанием движение капитала реального, определяется закономерностями движения этого последнего, процессом метаморфоз различных функциональных форм капитала, процессом воспроизводства с расширенным воспроизводством капитала» (с. 228). Мы привели эту длинную цитату потому, что она содержит выпуклую и четкую постановку вопроса о границах деятельности банка в области создания ссудного капитала. Свою точку зрения по этому вопросу автор подкрепляет несколькими цитатами из Маркса, из которых видно, что Маркс не ограничивал деятельность банка только посреднической ролью, что Маркс не исключает возможности создания банком кредита и капитала.

Не останавливаясь на целом ряде других весьма интересных вопросов, которые автор ставит в остальных главах, отметим, что рецензируемая книга представляет собой несомненно ценный вклад в марксистскую экономическую литературу по кредиту. Автор не только систематизировал разбросанное по всем экономическим сочинениям, в особенности в «Капитале», взгляды и замечания Маркса по кредиту. В рецензируемой книге впервые поднят и разрешен целый ряд сложных и весьма важных вопросов, получающих отчетливое марксистское освещение. Каждый экономист, интересующийся проблемой кредита, прочтет книгу И. А. Трахтенберга с большим интересом.

С. Розенберг

Количество журналов, издаваемых во Франции по общим вопросам социологии, не велико. По существу можно говорить лишь о трех серьезных изданиях, отражающих идеологическую работу трех социологических направлений. Это, во-первых, «Социологический ежегодник» («L'année sociologique») сторонников школы Е. Дюркгейма, во-вторых, «Позитивистское интернациональное обозрение» («Revue positiviste internationale») — журнал, ставящий своей целью, популяризацию и разработку в ортодоксальном духе идей Конта и Лаффта и, наконец, — «Интернациональное обозрение социологии» («Revue internationale de sociologie»). Помимо этих общих социологических журналов издается некоторое число специальных, посвященных отдельным вопросам теоретической и генетической социологии. К примеру: «Revue de l'Histoire des religions» и др.

В данном очерке мы пройдем мимо последних, как и мимо «Позитивистского интернационального обозрения». «Социологический ежегодник» мы осветили некоторое время тому назад на страницах «Под знаменем марксизма». Сейчас же остановим свое внимание на «Revue internationale de sociologie».

Этот журнал в 1928 году насчитывает 36 лет своего существования. Он был основан Рене Вормсом в 1892 году. Вся последующая жизнь журнала неразрывно связана с этим социологом, одним из самых ярких в плеяде буржуазных мыслителей конца XIX и начала XX века. После смерти основателя (Вормс умер в 1926 г.) журнал перешел в руки группы его учеников и последователей. Гастон Ришар — этот талантливый перебежчик из школы Дюркгейма — сделался главным редактором журнала. А Дюпра, Алибер, вместе с другими, попрежнему остались членами редакционной коллегии. По мысли основателя, журнал должен быть отражением коллективной, интернациональной социологической мысли. Таковым он в известной степени и был до войны. Имена всем известных Грефеа, Эспинаса, Леона Буржуа, Гумилловича, Ш. Жид, Эррио, Лориа, Массарика, А. Менгера, Шмоллера, Тениса, Ковалевского и многих других украшали список его сотрудников. В послевоенные годы большинство этих талантливых социологов сошло со сцены. С большим трудом заживают нанесенные войной шовинистические раны и восстанавливаются интернациональные связи, причем это восстановление не касается СССР, где куется доподлинная общественная наука.

Главными сотрудниками журнала являются французы и в очень небольшом числе швейцарцы, итальянцы и русские эмигранты. Журнал носит характер скорее французского, а не интернационального обозрения.

Какова научная физиономия журнала? Секретарь редакции, один из ближайших учеников Вормса, Ахилл Уй, в статье, посвященной вступлению в должность редактора Гастона Ришар, полагает, что традиция, установленная Вормсом, должна быть сохранена, т. е. что журнал не должен замыкаться в узкие рамки какой-либо школы. Достоинство Вормса, по его мнению, заключается между прочим и в том, что во всех его литературных предприятиях («Bibliothèque Sociologique Internationale», «Annales de l'Institut international de sociologie» и «Revue...») находили себе место представители самых различных идеологических направлений. Действительно таким «достоинством» журнал обладает. Он не носит печати единого мировоззрения, пронизывающего все помещаемые статьи и рецензии. В этом отношении он сильно отличается и, конечно, в невы-

годную для него сторону, от предприятия «Дюркгеймовской школы» — «Социологического ежегодника». «Revue» Вормса против односторонности социологических школ. Энергетики и психологи, позитивисты и органицисты мирно уживаются на его страницах. Но эта миролюбивость, однако, не мешает журналу вести борьбу с целым рядом социологических направлений, особенно с влиятельным дюркгейзмом. Нет-нет, помещаются статьи, которые полемизируют с учением Дюркгейма. Любопытно, что представители последнего даже официально не принимают участия в журнале. Нет нужды, нам думается, указывать на то, что и марксизм в нем не находит никакого отражения. Но было бы совсем верно отрицать наличие известной социологической платформы, которая об'единяет часть сотрудников «Обозрения». Такую общую почву представляет учение Вормса. В отношении последнего прежде всего необходимо отвести одно утверждение, по которому он принадлежит к органической школе. В зрелые годы своей научной деятельности Вормс отказался от категорического сближения общества и организма. Он стал на точку зрения существования самостоятельной общественной науки, отличной от космологии и биологии. Общество для Вормса — надорганизм. Психичность выделяет общество из среды биологических видов, но не *вырывает* его из цепи их. Именно — надорганизм. Соответственно этой концепции общества трактуется Вормсом и проблема метода общественных наук. Некоторая специфичность социальных явлений обязывает к определенному методу. Методы «априори» (к ним Вормс причисляет методы математики, физики, биологии, психологии, а представителями их считает Дюркгейма, Маркса и др.) — односторонни и не могут считаться действительными методами социальных наук. Таковым является лишь метод апостериори, включающий приемы анализа (наблюдение, статистику, монографию, анкету, историю и пр.) и приемы синтеза (отыскание причин, отношения сосуществования и последования, классификацию, индукцию, дедукцию, аналогию и гипотезу). Метод Вормса эклектичен, все факторы играют роль, не может быть речи о преобладании экономического. Поскольку общество состоит из организмов, постольку мы можем в известной степени говорить о применимости основных законов их развития к обществу. Теория Вормса представляет, как мы видим, продолжение позитивизма в сочетании с психологизмом и органицизмом. Она являет яркий образец эклектичности буржуазной социологической мысли. Социологическая концепция Вормса без хребта, она плод компромисса. Удивительно ли после этого, что и журнал без стержня, что существенной его чертой является его многоликость.

Какова политическая ориентация «Revue»? Аналогичная картина и в этом отношении. Политические симпатии сотрудников журнала колеблются от реформистского социализма до пуанкаризма. «Revue» — детище и вместе с тем лицо третьей республики. Вот Вивьяни, один из президентов парижского социологического общества, в котором Вормс был бессменным генеральным секретарем. Кому неизвестен этот деятель, прошедший путь от реформистского социализма, совместной работы с Жоресом, до поддержки Пуанкаре и национального блока. Вот Леон Буржуа — почти бессменный министр третьей республики, депутат, радикал. Ныне здравствующий Эррио, политическая физиономия которого не нуждается в комментариях. Близкий к нему нынешний редактор журнала — Гастон Ришар, по выражению его секретаря, ориентирующийся на либеральный социализм, пацифизм, феминизм, противоалкоголизм, антипорнографизм.

А вот, наконец, Вормс, а за ним Ахилл Уй, пытающийся представиться об'ективным, обходящие крайности коммунизма и консерватизма.

Можно ли при этих условиях говорить о политическом нейтралитете и беспартийности журнала? Ахилл Уй дает утвердительный ответ. Он подчеркивает, что журнал был и должен остаться об'ективным. Между тем, сам же, своими рецензиями, он разрушает легенду о своей политической беспристрастности. Как же иначе можно рассматривать его беглую, но достаточно ядовитую, заметку по поводу брошюры Сталина и Бухарица. Классовая ненависть к социализму, революционному марксизму проявилась в форме ненависти к СССР. Вот заключительные слова этой заметки: «Злоба и кровавое насилие украшают «фронтон» русской революции. СССР точит нож за спиной стремящейся к миру Европы». А вот рецензия члена редакции, профессора Дюпра, на книгу о советской России, изданную в Праге. Книга наполнена желчью и клеветой. Дюпра передает ее содержание, но не сопровождает никакими оговорками, которые могли бы заподозрить его в отрицательном отношении к ней. Где же об'ективность? Сказке о политической об'ективности нет веры. Ибо проза империалистической войны и союзнической интервенции окончательно развенчали ее.

Таков общий характер — и научный и политический — «Revue».

Теперь мы можем перейти к конкретному рассмотрению и разбору журнала главным образом за 1927 год.

В год выходит шесть книг — 11 номеров по 90—100 страниц в каждой книге. В каждом номере имеются следующие отделы: статьи, информация о работе Парижского и Женевского социологических обществ и, наконец, отдел библиографии книг и периодика. И так из номера в номер. Может быть, лишь с тем различием, что иногда отсутствует отдел информации. Скажем прежде всего о статьях. Содержание их разнообразно. Установить какой-либо план в разработке вопросов довольно трудно. Но все же обращает внимание наличие значительного числа статей, посвященных проблеме социального принуждения. Из шестнадцати статей за 1927 г. четыре трактуют о социальном принуждении: «Социальное принуждение и язык», «Социальное принуждение и биологическая наследственность» и т. д. В номерах за 1926 год печатались: «Социальное принуждение и война», «Социальное принуждение и политические партии» и др. Остроту вопросу о социальном принуждении придал Дюркгейм, именно, своим учением о существе социального факта. Он полагал, что наиболее характерным признаком всякого социального факта является его принудительность. Этот пункт вызвал, пожалуй, наибольший отклик и возражение со стороны других французских социологов. Вормс специфичность социального явления усматривал в *сопсуаге*. Дюпра, автор большинства указанных статей в журнале, — в солидарности. «Без солидарности индивидов — пишет он — не было бы социального принуждения». Конечно, ни один из только что названных социологов не разрешил правильно вопроса. Дюркгейм все же ближе подошел к истине. Его основной недостаток заключался в том, что он не поставил вопроса об источнике принудительности социальных фактов. Это главное. Дюпра же из'яв дюркгеймовского решения проблемы видит, во-первых, в том, что Дюркгейм постулировал наличие внешнего принуждения и упустил существование внутреннего, роль которого исторически возрастает; во-вторых, в том, что он не дал классификации видов принуждения и сравнительного значения каждого из них. Иначе говоря, по Дюпра, Дюркгейм не разработал обстоятельно теории принуждения. Эту за-

дачу взялся решить Дюпра. Он разработал таблицу видов принуждения. Социальные принуждения различаются: грубые (к примеру, война, инквизиция); «моральные» (обычай, язык, патриотизм и др.); органические (партии, кооперация, правительство и др.). В перспективе первые должны уступить место последним. Дюпра не против принуждения. Он ставит всякому принуждению условие, чтобы оно содействовало установлению солидарности на основе добровольных связей и возможно полной автономии личности. Такой вид принуждения он называет нормальным, в противовес патологическому. Брутальное принуждение не может не быть патологическим. Идеалом Дюпра является общество, проникнутое «демократическим духом». «Экономическая и политическая диктатура» господствующих классов, «сильная власть» приведут к расстройству нормальных функций принуждения. Фабрика Форда с ее принципами организации работы, тайлоризм, по Дюпра, представляют образец «органического принуждения», принуждения, осуществляемого через «ритм и последовательность операции». Что можно сказать о теории Дюпра? Во-первых, достойна внимания выработанная им классификация принуждений. Правильной назвать ее нельзя. Деление на три группы и затем на две (патологические и нормальные) в значительной степени искусственно и метафизично. Во-вторых—и что является особенно важным—Дюпра, как и другие социологи, не понял истинной природы социального принуждения. Наконец, требованием «демократического духа» он выявил свою социально-политическую природу швейцарского профессора-радикала.

Из других статей любопытна попытка толкования истории на основе законов энергии (№ 1—2). Автор статьи, А. Намиас, считает учения материалистов и идеалистов неверными. Он предлагает свою концепцию социальных явлений. Предварительно он предупреждает относительно двух предрассудков: первого, вырывающего человека из сферы законов природы, и другого, рассматривающего общество, как простую совокупность индивидов. Может ли война, к примеру, быть объяснена с точки зрения отдельного человеческого сознания? Война—по Намиас—коллективное явление, единичное сознание здесь бессильно. Чем же объяснить возникновение войны, таких явлений, как прусский милитаризм, русский большевизм и т. д.? Необходимо—говорит автор—вспомнить теории Лебона и Сигеле с их «взаимным внушением» и «умственным подражанием». Тем не менее, несмотря на правильность намеченного пути, данные теории правильного решения проблемы не представляют. И «взаимное внушение», и «умственное подражание» сами нуждаются в объяснении. Решение вопроса заключается в привлечении космологических законов энергии. Два закона управляют общественными явлениями, как и всей прочей природой. Это, во-первых,—психический резонанс и, во-вторых,—закон ритма. Войны, революции, знаменитый марш фашистов в Рим, убийство Маттеоти—все это явления резонанса. В смене революции и диктатуры, войны и мира, кризисов и периодов расцвета—мы видим проявление законов ритма. Оба закона являются ничем иным, как выражением одного закона—иррадиации.

Едва ли нужно доказывать после того, что писалось о русских механистах, что попытка Намиас есть худшее издание усилий энергетистов всех толков объяснить специфичность общественной жизни законами космоса. Теория Намиас отбрасывает социологию далеко назад даже от несовершенных учений Дюркгейма и Вормса, не говоря уже о материалистическом понимании истории. Она для

марксистской науки может служить лишь очередным образчиком нищеты и бесплодности буржуазного обществознания.

В самом деле, законы резонанса и ритма для объяснения происхождения войн, большевизма, фашизма и т. д. Такое объяснение может сойти в легкой беседе в каком-либо французском салоне по поводу мод. Но в устах Намиас (между прочим также утверждающего, что современная нескромность в модах есть результат проявления закона ритма, победы жизни над смертью после войны) оно является отражением глубокого кризиса буржуазной общественной науки.

Среди других статей необходимо отметить две, посвященные социологии Дюркгейма. Даниэль Эссертье в статье «Мысль безличная и мысль коллективная» подвергает критике один из оригинальнейших и вместе с тем важнейших пунктов учения Дюркгейма—его теорию коллективных представлений. По мнению автора, учение о коллективной мысли затрудняет проблему эволюции мысли.

Ахилл Уй в небольшой заметке разбирает недавно вышедшую книгу Лакомба о социологическом методе Дюркгейма.

Помимо указанных и других статей, носящих, так сказать, теоретический, проблемный характер, в журнале время от времени появляются очерки, отражающие ту или иную область текущей практической общественной жизни. Из таковых необходимо отметить информацию А. Уй и Энрико Ферри. Первый сообщает о работе кооперативных рабочих организаций в Юрском районе на основании, главным образом, свидетельств некоего Виале. Автор приходит к заключению, что эти организации являются ничем иным, как прелюдией к будущей социальной организации. Кооперативы в настоящем виде уже содействуют улучшению отношений между рабочими и хозяевами и ведут к реальному улучшению моральных и материальных условий рабочих.

Энрико Ферри в своей статье привлекает общественное внимание к пенитенциарным вопросам, при чем он считает необходимым отметить следующие события в этой области: представление итальянским министром юстиции закона, реформирующего уголовное законодательство, обсуждение палатой уложения об уголовном процессе, закона об общественной безопасности и пр. Оба эти события Ферри считает торжеством школы позитивистов, ибо принципы последней нашли отражение в этих законах. Эти принципы гласят: наивозможно сильнейшая защита от наиболее опасных преступников и наивозможно гуманная и слабая для громадного большинства случайных и менее опасных нарушителей общественной безопасности. Третьим событием, которому и посвящается, в сущности, вся статья, является пенитенциарный международный конгресс в Лондоне. Ферри отмечает интересную эволюцию, которая имела место в работе конгрессов от первого (1872 г.) до последнего, девятого. Эта эволюция заключалась в постепенном переходе от пенитенциарного техницизма к проблеме социальных взысканий. Личность преступника, формы защиты общества от преступников были основными вопросами конгресса (8 вопросов из 15 повестки дня конгресса и секций). По мнению Ферри, данный съезд был также шагом на пути к усвоению современной юриспруденцией идей позитивистов.

Несколько особое место в журнале занимает статья Питирима Сорокина «Социальное расслоение и ум». Его выводы следующие. Первый. За исключением периодов упадка высшие классы общества состоят из людей умственно более сильных, чем низшие классы. Второй. Между умственным уровнем и социальным расслоением позитивное соотношение. Соотношение меняется по странам, по эпо-

хам. Третий. В периоды подъема высшие классы обладают характером смелым, упорным, властолюбивым. В эпохи же декаданса они мягки, богобоязненны, чело- вечны, малодушны. Старая аристократия сменяется новой нормального типа аристократией. Кому знакомы социологические и общественные взгляды Пити- рима Сорокина, тот ни в малой степени не удивится его новой статье. Апология безусловной, высшей культуры господствующих классов, без всякого ана- лиза социально-экономической обстановки, сочетается с полным пренебрежением к исторической действительности. По Сорокину, умственный уровень социаль- ных пластов решает вопрос о господстве одного общественного класса над дру- гим. Сущность современного кризиса парламентаризма, либерализма, демокра- тизма, умеренного социализма Сорокин видит в том, что руководство становится с течением времени слишком мягким, человечным (467). Ни один из указанных выше выводов не может рассматриваться, как действительно научный. Факты подобраны без всякой взаимной связи друг с другом.

Последней статьёй, на которой бы нам хотелось остановиться, это заметка Гастона Ришар о Гельвеции, как предшественнике Маркса. Автор, во-первых, устанавливает, что между отдельными частями учения Гельвеция и автора «Ка- питала» существует аналогия и что они приходят иногда к одним и тем же выводам. Например. Бедные не имеют своего отечества. Презрение к представительному режиму и т. д. Далее. Метод Маркса, как и Гельвеция,—метод дедуктивный, идеологический. Данная заметка Ришара извращает истинное соотношение Гель- веция и Маркса. Верным, конечно, является положение, что Гельвеций пред- шественник Маркса. И не только один Гельвеций, но весь французский материализм. Но устанавливать аналогии именно по тем пунктам, которые приводит Ришар, значит—не знать сущности социальных взглядов материалистов. В во- просах истории в основном они, как известно, оставались на идеалистических позициях. Основная связь Маркса с Гельвецием и др. французскими философами XVIII века идет по линии материалистического понимания природы. Это не исключает того, что кое-какие социальные воззрения марксизма были подгото- влены французскими материалистами (роль воспитания, этика, построенная на интересе, начатки будущей научной психологии). Неверно представление Ри- шара о сущности метода Маркса. Конечно, он не дедуктивный и тем более иде- ологический. Маркс целый период своей жизни посвятил борьбе с идеологием. Метод Маркса диалектический, дедуктивно-индуктивный и т. д. Заметка Ришара показывает отсутствие серьезного знакомства с происхождением и сущностью марксизма.

На этом мы закончим рассмотрение отдела статей.

Вторым отделом, как мы уже упоминали, является информация о работе социологических обществ. Парижское социологическое общество возникло в 1895 г. Вормс, как генеральный секретарь, был его душой. В послевоенные годы, по инициативе Вормса, общество приступило к заслушиванию ряда докладов, посвященных отдельным национальностям. В 1923—24—25 годы Общество обсу- дило сообщение о Грузии, Азербайджане, Персии, Афганистане, Индокитае. Если принять во внимание политическую физиономию Общества и то, что доклад- чиками выступали по некоторым вопросам русские эмигранты, как Минорский (царский генеральный консул в Персии), Никитин (тоже консул), то станет очевидным, что серьезного, а тем более методологически правильного анализа советский читатель там не встретит. В последние годы (1926—1927) внимание

Общества сосредоточивалось на тех вопросах, которые выдвигала общественно- политическая жизнь страны. Выдвигается проект Эррио о реорганизации школы, Общество ставит ряд докладов о нижней, нормальной и высшей школе. В резуль- тате докладов выявляется, с одной стороны, неординарное (часто враждебное со стороны монархистов) отношение к проекту министерства, а с другой,— неприглядное положение школ. Особенно признается ненормальным положение высшего образования: низкая оплата преподавательского состава, заставляющая его уходить в промышленность, недостаточность и изношенность оборудования кабинетов, при значительно увеличившемся контингенте учащихся (в универ- ситетах до войны обучалось 40.000, в 1925 г.—53.000), дороговизна обучения и пр. Помимо этих вопросов обсуждались доклады на темы: «Свобода ассоциаций», «Социальное обеспечение», «Причины антагонизма между рабочими классами и буржуазией» и др. Докладчик на последнюю тему, аббат, причину антагонизма видит в неравенстве, которое существует между рабочим и буржуа, в «невоз- можности для рабочего обогатиться». Каковы меры для устранения этого нера- венства? Конечно, не ликвидация капитализма, как предлагают некоторые. Но такие меры, при помощи которых можно было бы «привить рабочей массе чув- ство индустриальной ответственности». Одной из них является участие рабочих в предприятии через акции. Для улучшения вообще жизни рабочих желательна организация семейных ассоциаций рабочих.

Политическая физиономия Общества, как и его научная ориентация, отли- чаются теми же чертами, что и журнал. Председателями Общества последова- тельно были: Леон Буржуа, Вивиани, Гюйо, Рабани, сенатор Морис Ординер.

Социологическое общество в Женеве значительно моложе Парижского. Пред- седателем его является Дюпра. Главными темами, подвергшимися обсуждению, были вопросы, связанные с проблемой принуждения: «Кастовый дух и социаль- ное принуждение», «Морфология социального принуждения» и пр. Часть этих докладов в обработанном виде печатались в «Revue».

Теперь обратимся к последнему отделу журнала—библиографии. Этот отдел довольно полон. Почти вся выходящая во Франции социологическая литература (в значительной степени меньше—иностранная) находит себе отражение в отделе. Рецензенты обычно ограничиваются кратким изложением той или иной книги, не давая обстоятельного критического разбора. Советская литература вне поля внимания журнала. За 1927 год только три книги (переведенные с русского язы- ка) прорецензированы: немецкий перевод работы Богданова «Всеобщая орга- низационная наука», т. I, и французский перевод двух речей Бухарина и Ста- лина. Рецензия на книгу Богданова ограничивается лишь ее изложением. О ре- цензии Ахилла Уй на две советские брошюры мы уже мимоходом говорили. Уй на этот раз меньше излагает, но более полемизирует. Он повторяет весьма распро- страненное плоское рассуждение буржуазной прессы: кто больше предупреждает о войне, тот сильнее всех готовится к ней. СССР в глазах Уй является нападаю- щей, сеющей тревогу стороной. И это потому, что советское правительство не чувствует прочной почвы под собой. Поэтому оно, «чтоб лучше защищаться, ата- кует», экспортирует коммунизм и т. д.

Мы оставим без ответа эти сентенции потому, что одиннадцать лет успеш- ного строительства СССР, при отчаянном противодействии и экономическом и политическом, и идеологическом со стороны буржуазии всех стран, одиннадцать

лет мирной политики советского государства,—сами по себе являются решающим доводом против Уй и тех, чьи мысли он пересказывает.

В заключение скажем: журнал Вормса представляет значительно меньший интерес, чем «Социологический ежегодник» дюркгеймовской школы. Он беднее его в теоретическом отношении. Тем не менее, знакомство с ним необходимо. Во-первых, мы получаем представление об идеологической мощности наших классовых противников. В данном случае мы должны констатировать немощь их теоретической мысли. И только слабое внимание к ней, недостаточная воля к борьбе с ней об'ясняют то влияние, которое она оказывает на широкие круги общества. Далее, не будучи в состоянии что-либо почерпнуть для положительной разработки проблем, мы можем и должны использовать буржуазную мысль иногда для постановки вопросов. К примеру, статьи Дюпра о принуждении. Нужно прямо сознаться, что мы пока еще вращаемся в кругу одних и тех же вопросов и мало ставим новые, которые бы расширяли и обогащали марксистскую социологию.

Ф. Тележников

ДВА ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ т. АЙХЕНВАЛЬДА

В № 29 (5) «Вестника Ком. академии» напечатана рецензия т. А. Айхенвальда на мой труд «Введение в изучение мирового хозяйства». Считаю необходимым сделать следующие два замечания:

Тов. Айхенвальд заявляет, что я «прямо скатился в оппортунистическое болото», так как я якобы согласился с определением империализма Каутского, которое критиковал Ленин. На самом деле, я говорю об «эксплоатации *одними* странами *других*» (с. 25) и избегаю сопоставления аграрных и промышленных стран. Самый термин «аграрные» страны я употребляю в смысле «аграрно-индустриализующиеся», т. е. говорю о странах, ввозящих к себе *основной капитал* и становящихся благодаря этому объектами эксплуатации более развитых стран (с. 28 и дальше). На странице 194 и дальше я прямо говорю, что и между промышленными странами могут иметь место отношения, основанные на экспорте капитала. Именно, ввоз капитала я считаю—правильно, или нет, вопрос иной,—наиболее характерной чертой мирохозяйственных отношений современной эпохи. Если я говорю, что колонии являются крайне важным источником накопления для промышленных стран, то в том же смысле, как об этом гласит постановление II Конгресса Коминтерна, установившего, что «европейский капитализм черпает главным образом свои силы не столько в европейских промышленных странах, сколько в своих *колониальных владениях*». Что же, и II Конгресс стал на позицию Каутского?

Далее, т. Айхенвальд утверждает, что Ленин «опроверг» мои «исправления теории Каутского». Не потрудится ли т. Айхенвальд указать, где это сделал Ленин.

Тов. Айхенвальд имеет, очевидно, в виду одно место в книге «Империализм как новейший этап капитализма». И что же Ленин там пишет:

«Если исправить это рассуждение (Каутского) и сказать, как говорит Спектатор: торговля английских колоний с Англией развивается теперь медленнее, чем с другими странами,—это тоже не спасает Каутского, ибо Англию побивает

тоже монополия, тоже империализм, только другой страны (Америки, Германии)»¹.

Всякий грамотный читатель скажет, что Ленин не только не опровергает моих положений, но, наоборот, с ними соглашается и бьет, пользуясь моими данными, Каутского.

На самом деле, Ленин имел в виду мое исследование, напечатанное в «Neue Zeit» от 7 и 14 апреля 1916 г. Там, как и в моем «Введении», я доказываю, что *доля Англии или Франции в торговле их колоний падает*, т. е., что Англию бьет Германия, Япония, Америка. Заканчиваю я свою статью следующим выводом: «Der politische Besitz einer Kolonie garantiert weder ihren Markt der Industrie des Mutterlandes, noch die Zufuhr von Rohstoffen aus ihr». (Политическое обладание еще не гарантирует для промышленности метрополии ни рынка сбыта, ни сырья колоний). Против этого положения выступает Зомбарт, но его, очевидно, разделил Ленин, который только дал более глубокое об'яснение этому факту (Англию побивает *монополия* других стран)².

Тов. Айхенвальд не потрудился даже узнать, о чем говорит Ленин и получил невероятный конфуз: Айхенвальд об'являет меня сторонником «теории» «деколонизации», как раз за те же мысли, с которыми соглашался Ленин. Выходит, что и Ленин был «деколонизатором»...

На самом деле, не может быть, конечно, речи о том, что *установление факта развития Канады или Индии*, несмотря на то, что английская власть *препятствует* развитию производительных сил в колониях, имеет что-нибудь общее с «теорией декolonизации». Склонность т. Айхенвальда к «фельетонам» и желание уязвить автора «Введения» сыграла с ним плохую шутку: он не только не вчитался в произведения Ленина, не только не понял моей работы, но и запутался в вопросе о «деколонизации»...

К этому надо прибавить, что т. Айхенвальд просто неверно изложил положение о значении колоний, в чем всякому легко будет убедиться, раскрыв соответственное место в моей работе.

М. Спектатор

¹ Том XIII, изд. 1924 г., с. 325.

² См. также мою работу «Imperialismus und Handelskriege», Берн, с. 59—88. Как известно, Ленин в данном месте, о котором идет речь, резко высказывается против той мысли Каутского, что за эпохой империализма может последовать «демократия» и «свободная торговля». Что я не разделял этого взгляда Каутского, можно установить хотя бы из моей статьи в Bremer-Bürger Zeitung от 21 июня 1910 г., где я писал в передовице, озаглавленной «Политика финансового капитала»: «Das Ideal der Wiederherstellung der freien Konkurrenz... ist utopisch... weil nur die Arbeiterschaft imstande ist die Macht der Kartelle zu brechen. Nur der Sozialismus kann die Stelle der Kartelle einnehmen. In dem gewaltigen Zusammenprall der feindlichen Interessen kann die Diktatur der Kapitalmagnaten nur in die Diktatur des Proletariats umschlagen». (Идеал восстановления свободной конкуренции... утопия... так как только рабочий класс в состоянии сломать власть картелей. Только социализм может прийти на смену картелям. В этом грандиозном столкновении враждебных интересов диктатура магнатов капитала может превратиться исключительно в диктатуру пролетариата). Читатель видит, что Ленин в данном вопросе не имел основания меня «опровергать».

ПО ПОВОДУ «ДВУХ ЗАМЕЧАНИЙ» т. СПЕКТАТОРА

Тов. Спектатор в своих замечаниях, обходя существо всех сделанных ему возражений, оперирует Лениным и пытается даже доказать, что по вопросу о взаимоотношениях колоний и метрополий Ленин развивал «как раз те же мысли», которые мы критиковали у т. Спектатора. Поскольку же центром рассуждений т. Спектатора является утверждение о наличии «общих имманентных (!) законов развития международных отношений, которые ведут к освобождению колониальных народов из под власти империалистических государств» («Введение», 246—247), т. е. утверждение, ничего общего с Лениным не имеющее, постольку мы считаем необходимым сказать по поводу замечаний т. Спектатора несколько слов.

Во-первых, фактически неверным и легко опровержимым является утверждение т. Спектатора о том, что у него сказано вообще об эксплуатации одних стран другими, и что он избегает сопоставления аграрных и промышленных стран, говоря только о том бесспорном факте, что колонии являются «крайне важным источником накопления». Ошибка т. Спектатора, о которой он просто умалчивает, состоит в том, что он объявляет эксплуатацию крестьянского населения колониальных стран конститутивным признаком монополистического капитализма. «К основному источнику прибавочной стоимости—эксплоатации труда рабочего—прибавляется еще один—эксплоатация крестьянского населения, в особенности в колониальных странах. Этим и отличается новая ступень развития, характеризующаяся как период монополистического капитализма (первый курсив наш, второй—автора, с. 24).

Конечно, ничего общего с подобным определением существа империализма приводимое т. Спектатором постановление II Конгресса о первостепенной роли колоний для европейского послевоенного капитализма не имеет и иметь не может.

В чем т. Спектатор прав, это в том, что у него все аграрные страны в результате соприкосновения с мировым хозяйством индустриализируются и—добавим мы—«высвобождаются». По т. Спектатору, само «понятие «мировое хозяйство» связано с процессом индустриализации аграрных стран, совершающимся посредством импорта капитала» (29). Благодеяниями этого последнего «бедные капиталом» колонии даже получают «возможность конкурировать со старыми капиталистическими странами» (233). Как мы уже указывали в рецензии, у т. Спектатора вообще эксплуатация колоний понимается очень своеобразно: колониальная сверхприбыль объясняется, по т. Спектатору, не низким органическим составом капитала и нищенским уровнем жизни рабочих, а «обычно (!?) более высокой производительностью труда в аграрных и колониальных странах», объясняемой «более благоприятными естественными условиями» (225).

Благодаря этой благодушной трактовке эксплуатации аграрных стран, как их поголовной индустриализации, у т. Спектатора и получается явно деколонизаторская теория. Но разве это обстоятельство уменьшает ошибочность и каутскианский оттенок построений т. Спектатора? Как раз наоборот, в несколько путанном виде, но все это именно и усиливает и развивает каутскианские нотки «Введения».

Во-вторых, совершенно неверным и извращающим мысль Ленина является попытка т. Спектатора превратить Ленина в сторонника его деколонизаторских сорий. Как может т. Спектатор трактовать приводимые им слова о том, что по-

строениям Спектатора не удастся «исправить» и «спасти» Каутского, как присоединение к своим мыслям? Каутский выставил явно оппортунистическую теорию, Спектатор попытался эту теорию «исправить», обосновывая данными о торговле приближение конца колониальной зависимости; Ленин заявил, что теория Каутского насковзь оппортунистична и что Спектатору не удастся «спасти» Каутского, так как данные Спектатора вовсе не говорят о конце колониальной зависимости. А т. Спектатор через 12 лет повторяет свои старые ошибки и с веселым видом заявляет, что Ленин «согласился» с ним.

Особенно ясно видно, как Ленин относился к попыткам доказать, что падение доли Англии или Франции в торговле колоний говорит об «высвобождении колоний», в месте, идущем прямо за приведенной т. Спектатором цитатой.

«Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия,—это доказывает лишь, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает «перевеса» свободной торговли, ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, а колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого. Делать отсюда «довод» за свободную торговлю и «мирную демократию» есть забвение основных черт и свойств империализма...» (XIII, 326, курсив мой). Правда, т. Спектатор не делал и не «делает отсюда «довода» в пользу свободной торговли», но он «делает отсюда «довод» в пользу высвобождения колоний, то-есть конца «колониальной зависимости». А разве это менее ошибочно и опасно?

Заявление т. Спектатора о том, что Ленин «согласился» с его утверждениями о «высвобождении колоний», опирался на него, и даже бил, пользуясь его работой, Каутского, является тем более смехотворным, что Ленин тогда же прямо называл т. Спектатора «российским каутскианцем» т. (XIII, с. 470—471). Но, на наш взгляд, не в том главная беда, что т. Спектатор в 1916 г. делал каутскианские ошибки, а в том, что он невнимательно отнесся к критике этих ошибок Лениным и теперь, через 12 лет, повторяет их.

Тов. Спектатор, в третьих, хочет создать впечатление, что все его выводы по вопросу о взаимоотношениях колоний и метрополий сводятся, во-первых, к скромному утверждению, что обладание колониями «не гарантирует для промышленности метрополии ни рынка сбыта, ни сырья» и во-вторых, к «установлению факта развития Канады и Индии». К сожалению, т. Спектатор не ограничивается этими, самими по себе верными, положениями, но «развивает» их опять-таки до каутскианских пределов: с одной стороны, он доходит до отрицания неизбежности колониальной политики и до утверждений, что колонии вообще вредят капиталистическому хозяйству, с другой—он приходит к выводам об общей тенденции к деколонизации. В самом деле, по т. Спектатору, «роль колоний в смысле снабжения сырьем падала» (251), «нормально колонии, как сфера приложения капитала, платят как раз меньше процентов, чем другие страны при заключении займов» (254), «сам по себе процесс товарооборота мало или совсем не зависит от тех отношений, которые называются колониальными» (246) и в итоге «при нормальных отношениях колонии не представляют особенных выгод» (255) и даже «хозяйственные взаимоотношения с самостоятельными странами развиваются более успешно, чем с зависимыми» (238). Тов. Спектатор, на основе всего этого, доходит до заявлений о том, что, с точки зрения «перспектив общего развития» (капитализма?), колонии «оказывают отрицательное влияние на общее развитие хозяй-

ства» (империалистического хозяйства?). Но капиталисты, по своей скверной природе, «не думают» об этом, так как их «интересует *личная* нажива, которая, конечно, легче и крупнее в колониях» (257). Нужно ли говорить, что т. Спектатор, увлекшись «развитием» своей любимой мысли о негарантированности рынка сырья и сбыта, дошел до типичного социал-демократического противопоставления «общих интересов» капиталистического хозяйства личным интересам капиталистов, т. е., собственно говоря, до защиты капитализма от жадных и близоруких буржуа. Тов. Спектатор так прямо и недвусмысленно и ставит вопрос: «выдержит ли капитализм, когда ход развития освободит (!) европейское хозяйство от тех последствий, которые вытекают из колониальных владений?» Уже одна эта формулировка такого вопроса, мягко говоря, странна. Но ответ еще лучше. Оказывается, что еще «покажет будущее», «сможет ли он (капитализм) возместить себе отпадение этих монополизированных рынков созданием, например, международных картелей, доставляющих ему картельную ренту вместо теперешней земельной или горной в колониальных странах...» (257).

Другими словами, т. Спектатор хочет еще подождать будущего, чтобы ответить на вопрос, может ли существовать бесколониальный империализм, т. е., по его же определению, империализм без империализма. Но, по сути дела, он и не дожидаясь, отвечает на этот вопрос положительно тем, что он намечает «новое перераспределение сил на мировых рынках» (233): переход бывших метрополий на производство высококачественных продуктов и бывших колоний на массовое производство полуфабрикатов, предметов потребления и т. д.

И после всего этого т. Спектатор заявляет, что у него развиты как раз те же мысли, с которыми соглашался Ленин.

Конечно, мы далеки от утверждения, что книжка т. Спектатора сплошь состоит из подобных оппортунистических философствований. Но основным фактом является все же то, что эта книга содержит в себе «все необходимое и достаточное» для построения... вполне оппортунистической схемы империалистического развития.

После всего вышесказанного не трудно решить, к кому должны относиться сердитые эпитеты т. Спектатора («невероятный конфуз», «плохая шутка», «непонимание», «путаница» и т. д.), которые заменяют для него аргументы по существу вопроса.

А. Айхенвальд

О ПОЕЗДКЕ В ОСЛО

(Доклад М. Н. Покровского на заседании Президиума Комм. академии 15/XII—1928 г.)

Я хотел сделать доклад относительно всех наших заграничных экспедиций сразу, но оказывается, что Е. Б. Пашуканис о Берлинской неделе уже делал здесь доклад, поэтому нет никакой необходимости к этому возвращаться, и этим значительно сокращается мой доклад. Как и относительно Берлина—это единственное укоризненное слово, которое я позволю себе сказать—мы относительно Осло были совершенно неподготовлены к тому, что мы там найдем. Но мой печальный опыт относительно Берлина, где ниоткуда никакой информации мы не могли получить, кроме как на месте, заставил меня известным образом резинироваться и ждать, что я приеду туда и А. М. Коллонтай расскажет мне, что там есть. Я не знал, какое отношение мы там встретим, даже не знал, что в местном масштабе представляет собою этот проф. Кут, который пригласил нас туда, какое его окружение, какова обстановка и т. д. Я не знал этого совершенно, но после берлинского опыта я поехал туда, приготовившись к тому, что до приезда на место не буду этого знать, потому что все попытки получить в Москве даже чисто формальные справки насчет того, что ожидает нас за границей, не привели ни к чему.

Неосведомленность наша по отношению к Конгрессу, как таковому, еще более или менее обоснована, и если бы я заранее стал спрашивать А. М. Коллонтай, что это за Конгресс там затеяли,—она законно ничего не могла бы сказать. В первый раз в Осло собирается всемирный Конгресс. И сами норвежцы не могли бы сказать, что из этого дела выйдет.

Положение нашего полпредства в Осло тем труднее, что там, кроме самой А. М. Коллонтай и ее единственного политического помощника С. М. Мирного, в полпредстве никого нет. Дальше идет технический персонал—курьеры, швейцары, машинистки и т. д. Более заботливого отношения, чем какое мы встретили со стороны т. А. М. Коллонтай, трудно представить, и это особенно ценить приходится потому, что на этот совершенно микроскопический состав свалился в то время «Красин», который представлял громадную сенсацию для всей Европы. В Норвегии же эта сенсация была в кубе, в связи с гибелью Амундсена, в связи с тем, что норвежцы вообще страшно интересуются северными морями. Норвегия жила «Красин», который как раз в то время пришел в Берген. Полпредство осаждалось интервьюерами, репортерами, друзьями Амундсена и других участников экспедиции. Это было нечто невероятное. И среди этого хаоса А. М. Коллонтай все-таки ухитрялась окружать нас заботами и делать для нас

так много, как не делал никто за границей. Вплоть до индивидуальных забот о моем здоровье, потому что я приехал туда больным, а она там нашла санаторий и поместила меня туда. Заботы и отношение ее к нам были исключительно теплые и товарищеские.

Неорганизованность сопровождала нас и тут. Мы условились, что представительницей правительства СССР на Конгрессе будет именно А. М. Коллонтай. Она—человек вполне квалифицированный, вполне заслуживает название историка. Вы знаете ее работы. Но когда мы приехали в Осло, то оказалось, что никаких распоряжений в этом отношении не сделано, никаких формальностей не выполнено, и А. М. Коллонтай резонно сказала: «Простите, пожалуйста, но я не хочу в качестве самозванца являться представительницей правительства на этом Конгрессе, представитель правительства—вы». И в довершение всего: я приехал туда, не имея заместителя,—то была огромнейшая наша организационная ошибка, не предвидели возможности, что председатель делегации может заболеть. А, оказывается, что не только нет заместителя председателя, но и представителем правительства являюсь я. Это меня окончательно убило.

Сказалась тут со всей силой и наша полная непривычка к всемирным конгрессам, непонимание того, что это есть, прежде всего, всемирный парад. На 5 дней конгресса приходилось 3 банкета, до полднюины приемов, начиная от приема у короля, 3 парадных завтрака. Вы догадываетесь, сколько времени оставалось для работы. Но никто, собственно, не думал о работе. На секциях, которые являлись рабочими органами Конгресса, бывало по 15—20 человек, а всего членов Конгресса было 1100. Так что масса народу не участвовала в работе. Это отношение к Конгрессу, как к параду и к приятному препровождению времени, встретило нас уже в вагоне. Когда мы ехали в вагоне, бегал какой-то итальянчик лет 7-ми. Оказывается, это член семейства одного из итальянских делегатов, который взял с собой жену, взрослую дочь и этого семилетнего сына, потому что он пользуется тем, что со скидкой можно и в гостинице пожить, со скидкой можно и по железной дороге проехать, и по трамваю в Осло. Он пользуется случаем сделать поездку в Норвегию, а для итальянцев Норвегия—интересная страна.

Мы к этому совершенно были неподготовлены, и, прежде всего, по составу нашей делегации. Мы привезли туда только докладчиков. За исключением только т. т. Лукина и Пичеты, все остальные были докладчики, тогда как поляки привезли 50 человек, в числе которых были и недокладчики. Французы привезли 100 человек—тоже не все докладчики, и т. д. Прежде всего, мы были крайне миниатюрны по своему внешнему выявлению. Отчасти это было хорошо, потому что можно было на пленумах Конгресса, до некоторой степени, мерить отношение к нам отношением зала. Что касается 100 французов, то они могли устроить овацию любому докладчику, потому что если 100 человек дружно будут хлопать, то картина получится выразительная. Наша же дюжина, что бы ни проделывала, она не произведет впечатления. Так что если прием был теплый, то, очевидно, это прием известной части зала, а не то что это было клякой со стороны нашей делегации. В этом отношении это было хорошо, но в общем это было нехорошо.

Несколько хуже обстояло дело с качеством наших выступлений.

Нас приглашал туда проф. Кут, который был председателем организационного комитета и одновременно являлся президентом Норвежской Академии Наук и считает себя марксистом. Марксист он или нет по коммунистической оценке—другой вопрос. Но это, безусловно, остаток вымирающего уже типа честного

буржуазного радикала, искреннего демократа—немножко крестьянского типа. Он чрезвычайно сочувствует нам. Я должен сказать, что после А. М. Коллонтай самое приятельское, самое дружеское отношение встретили мы со стороны проф. Кута. Он, между прочим, едет сюда, я получил это известие через тов. Мирного, и его нужно хорошо встретить. Что касается его марксизма, то марксизм его, по нашему масштабу, «не вполне выдержанный». Но человек называет себя марксистом, выступает с докладами о классовой борьбе и в то же время состоит президентом Норвежской Академии Наук, является крупным историком—председателем организационного комитета Конгресса, человек таких организационных талантов, что без него не может обойтись даже та кампания по устройству Конгресса, которую я характеризовал достаточно в своей статье,—все ее читали и позвольте не возвращаться к тому, что представлял собою Конгресс. Проф. Кут ожидал, что мы подкрепим левое крыло, будем выступать более или менее энергично и проявим свое лицо. Но уже то, что нас было мало, наш актив был—11 человек на 13 секций, так что приходилась дробь СССРовских делегатов на каждую секцию—это уже было крайне неудачно, но еще более неудачно было то, что эта дробь упорно молчала. Эта картина действительно очень сильно шибанула в нос Куту и другим: приехали из страны, которая первая установила диктатуру пролетариата, пришли, сидят и молчат. Это огромная наша ошибка—огромнейшая. Нужно, конечно, совершенно твердо сговариваться о том, везет ли доклад товарищ, или не везет, но во всяком случае выступать он должен, должен выступать по своей специальности, по двум-трем докладам, и к этим выступлениям приготовиться. Я выступал раза два, но должен сказать, не остро выступал, а другие совсем молчали. Мало того, мы и доклады ухитрились читать так, что они пропадали. Например, был один очень интересный доклад—не буду называть, потому что если назову, то вскрыется и докладчик,—который привлек некоторое количество норвежских студентов, пришла норвежская молодежь (не в таком количестве, как приходила в Берлине к Е. Б. Пашуканису, потому что немногие знают в Норвегии немецкий язык), но все-таки пришло до дюжины молодых людей. Сидят и слушают. Но доклад был так прочитан, докладчик пробормотал его себе под нос так, что даже мы, русские,—а как известно, когда русский говорит по-немецки, то его понимают лучше русские, чем немцы,—даже мы плохо поняли, о чем идет речь. Молодежь понеминому разошлась и доклад закончился без всяких прений в присутствии нас, председателя секции и еще двух-трех иностранцев.

Об инциденте с Ростовцевым товарищи более или менее знают. Проф. Ростовцев, который был членом американской делегации, выступал и схватывался с некоторыми нашими делегатами. Я должен сказать, что то, что я только что говорил, относится, главным образом, к коммунистам. Что касается беспартийных профессоров, то они все-таки разговаривали, и вот была одна такая схватка Ростовцева с ленинградским профессором Богаевским, который оказался живым человеком, но Ростовцев не ограничился этими схватками и, когда я был выбран в президиум Конгресса, то он поместил в тамошней вечерке на первой странице заметку—«Профессор Ростовцев об избрании в президиум Конгресса профессора Покровского». Ростовцев говорит в этой заметке, что я никакой ученый, а разрушитель веры христианской, уничтожитель высшего образования и высшей школы в России, и что никаких ученых марксистов не может быть, ибо марксизм есть догма, противоречащая свободе исследования, и никаких ученых не может быть в России, и т. д. Это напечатали и этим академик Ростовцев оказал нам

большую услугу. При нашем поголовном почти молчании нас никто не замечал, но после этого интервью о нас заговорили. Во-первых, Кут ответил на это интервью очень хорошей статьей. Он был президентом Конгресса, так что президиум Конгресса отмежевался от Ростовцева и заявил, что это личный взгляд Ростовцева, а что Конгресс и президиум Конгресса ничего общего с этими взглядами не имеет. Затем наши беспартийные профессора поместили свое интервью, очень четко заявивши, что это чепуха, будто бы в России нет свободного исследования, свободное исследование есть и они сами, беспартийные профессора—ведь не все марксисты: Пичета не марксист,—тем не менее, никакому преследованию не подвергаются. А Ростовцев написал, что 26 профессор-историков высланы из России за то, что не согласны с Покровским—так буквально написано.

Все это—и статья Кута, и выступление беспартийных профессоров—привело на норвежскую вечерку такое впечатление, что оттуда пришел репортер и из души вытащил у меня интервью против Ростовцева, которое с портретом на первой странице было напечатано. После этого мы получили некоторую популярность. Даже устроили нечто вроде митинга, на котором мы выступали, завеса, которая нас окружала, несколько раздвинулась, и мы появились перед Норвегией. Ростовцев до такой степени чувствовал себя провалившимся, что, выступая на парадном банкете, ни одним словом не упомянул о нас. Я ожидал, что он будет говорить о нас. Говорил он на очень своеобразном языке. Когда он начал говорить, то за столом, где я сидел, никто не мог понять, на каком языке он говорит, и только одно, нечаянно произнесенное правильно английское слово дало понять, что он говорит по-английски. Но он говорил о голубом норвежском небе, об очаровательных норвежских девицах. Оставляя в стороне вопрос о девицах, что касается голубого неба, то это была явная лесть, потому что никакого голубого норвежского неба мы не видели. Во всяком случае политических тем он избегал в своем выступлении.

Теперь позвольте перейти к оргвыводам из всего этого. Еще гораздо раньше этого Конгресса СССР в лице Академии Наук вступил в Международный исторический комитет, главной задачей которого является организация этих конгрессов и осуществление резолюций, которые на них приняты. Академик Ольденбург, на основании этого, вступил в этот Комитет, и на основании своего вступления в Комитет, академик Ольденбург рассматривал себя, как представителя организационного Комитета от СССР, на этом основании рассылались приглашения, и мы получили приглашение. Когда я спросил проф. Кута, действительно ли он рассматривает формально академика Ольденбурга представителем СССР, он ответил, что ничего подобного, что Ольденбург вступил в Комитет потому, что у них официального представителя от СССР не было. Исходя из того, что СССР уже вступил в этот Комитет, что этот Комитет дает нам возможность, как вы сейчас увидите, принимать участие в обсуждении целого ряда вопросов, которые касаются исторической науки и выявлять свое лицо при обсуждении этих вопросов более интенсивно, нежели мы это сделали на Конгрессе, я решил, что нам нужно официально и окончательно вступить в Комитет и подал там заявление мое, между прочим, упомянул об Коммунистической академии. Так что мы являемся теперь членами Международного исторического комитета. Председателем его состоит Кут, характеристику которого я уже давал выше. Генеральным секретарем Комитета состоит проф. Леритье—французский профессор, также проявлявший к нам самое дружественное отношение. Участие в этом Комитете реши-

тельно ни к чему и ни в каком отношении не обязывает, потому что никакой политической линии у Комитета нет. Это учреждение чисто научное. Задача этого Комитета чисто организационная: готовить всякого рода международные выступления историков и выполнять решения Конгресса. Вот по выполнению решений Конгресса есть одна задача, с которой мы оказались связанными,—это участие в комиссии по преподаванию истории. Я считаю, что тут мы должны принять участие. Об этом нас очень просят норвежские марксисты, я получил недавно письмо от проф. Эдварда Булля. Тут надо нам выступить. Они нам роздали материалы, из которых видно, что в западно-европейской школе, прежде всего, господствует совершенно дикое, я бы сказал, невежество по части нашей собственной истории. Так, в одном учебнике говорится, что большевизм является учением Достоевского, а главным адептом Достоевского является Ленин. Кроме того, тут мы имеем возможность выступить в защиту наших меньшинств. Это возмутительнейший факт, что белоруссов, находящихся в Польше, заставляют учить историю Белоруссии по польским учебникам. Как они написаны, в каком духе—нетрудно понять. Так что в этой Комиссии нам приходится принимать участие.

В других комиссиях мы не принимаем участия, потому что они мало интересны. Там есть, например, комиссия по хронологии, которая будет решать вопрос о точной хронологии Афинских герцогов в XIII веке. Как они будут расположены в хронологической схеме, перемещены назад или вперед—это нам безразлично.

Есть еще одна комиссия по изданию конституций различных стран. Между прочим, там должна выйти и конституция СССР. В числе других, мне казалось, что там называлось имя, похожее на Лукина, в составе этой комиссии, но оказывается это Лукинич, венгерский историк. Если бы я знал, то я бы предложил оставить Н. М. Лукина в эту комиссию. Но в списке я увидел фамилию не Лукин, а Лукинич.

Ближайшее заседание Комиссии по преподаванию будет в мае месяце. Нам нужно принять энергичное участие в этом деле и, наконец, выявить свое лицо более решительно, нежели мы сделали это на самом Конгрессе. Тут у нас будут, несомненно, союзники в лице норвежцев и, возможно, в лице левых французов, которые к этому относятся тоже весьма сочувственно, и нам удастся дискредитировать буржуазную учебную литературу, показать, что она никуда не годится. К этому делу нужно серьезно отнестись, и следовало бы Комкадемии в этой связи выделить небольшую комиссию, или же передоверить это дело Обществу историков-марксистов. Следует выбрать небольшую комиссию, которая разобралась бы в этом материале и подготовила бы доклад. Этот доклад придется еще в мае читать, но, как предусмотрительные люди, они требуют, чтобы мы начали уже готовиться.

Левин, М. А. как были представлены на Конгрессе историки-радикалы?

Покровский М. Н. Во-первых, кроме нас, норвежцев и отчасти французов, никаких радикалов не было. Италия прислала сплошных фашистов. Немецкая делегация была слабая, они прислали всего 30—40 делегатов—сравнительно со 100 французами и 50 поляками это очень небольшая цифра. Докладчиков было очень немного, и докладчики очень старомодные, по-моему. Но у немцев вообще марксистского крыла в профессуре не существует. Кунов—это, можно сказать, белая ворона.

Тов. Лозовый. В составе делегации были украинцы? Выступали они там или нет и как выступали?

Покровский М. Н. Они были живее, чем великороссы, они больше разговаривали и в этом отношении несколько скрашивали делегацию. Юринец выступил на этом квази-митинге, который был очень своеобразно организован. Он был в университете. Мы ожидали, что на митинге будут прения по поводу выступления Ростовцева, но Юринец прочитал свой доклад и после этого председатель митинга заявил, что, согласно условиям, на которых предоставлено университетом помещение прений не будет. И все разошлись. Но все-таки доклад Юринца был прослушан, говорят, с большим интересом, и в общем он произвел благоприятное впечатление. Юринец читал доклад по-немецки—он прекрасно владеет немецким языком.

Крупной ошибкой было то, что нас было слишком мало. Нам обязательно нужно было настоять на цифре хотя бы в 20 человек, и чтобы мы сговаривались заранее, кто будет выступать по какому докладу. Затем ошибкой было то, что не было заместителя председателя, в частности, я жалел о Е. Б. Пашуканисе, который мог бы меня заменить. Были моменты очень благоприятные. Не только хорошо относились к нам французы, немцы, американцы и проч., но к нам шли и братья-славяне. Из этих славян представитель болгарской Академии приходил к А. М. Коллонтай, они явно тянулись к нам, но я часть дня лежал, разговаривать я разговаривал, но никак не мог собрать этих братьев-славян и поговорить с ними, собрать молодых американцев, которые приходили. Здесь нужен был человек, который был бы абсолютно здоров и мог бы работать, примерно, 18 часов в сутки, так как всякие завтраки, всякие приемы отнимали много времени. Это было нечто невероятное по количеству физической работы, которое пало на каждого участника, и я с этим справляться не мог.

Завоеванием было наше выступление, нас увидели, не могу сказать, чтобы нас всех услышали, но некоторых услышали.

Вообще нельзя сказать, что наше выступление было совершенно зря, что мы зря туда проехали. Прежде всего, мы получили предметный урок, который показывает, как не нужно выступать на таких конгрессах, и мы теперь знаем, как нужно выступать. И еще один вывод, что безусловно необходимо, так или иначе, нам организовать научную информацию о загранице, независимо от Академии Наук. Теперь я уже на опыте убедился, что они пользуются информацией Академии Наук только потому, что мы этим не занимаемся, что наши полпредства этим не занимаются. Но представителями СССР по научному делу Академию Наук сами иностранцы не считают. Характерен вот какой факт. Не приехал Тарле на Конгресс, не приехал по болезни. Я думал, что это произведет большую сенсацию, что нет представителя Академии Наук. Но хотя бы один человек меня спросил: а почему нет Тарле? Никто, ни одна душа живая не поинтересовалась, почему представитель Всесоюзной Академии Наук не выступил на этом Конгрессе. Никто, очевидно, этим не заинтересовался. Между тем, это был бы великолепный случай метко нас уколоть. А у вас вот представителя Академии-то нет. Случай был немножко нас ущипнуть, и меня пробовали ущипнуть по этому поводу, по поводу Ростовцева.

Между прочим, наша крупная ошибка то, что в нашей делегации не было ни одной женщины. В составе польской делегации было 10—12 женщин, а мы, хотя и хвастаем, что женщина у нас стоит так высоко, но ее привезли ни одной. Так вот в общегитии (нас поместили в студенческое общежитие вместе с поляками) была одна дама-докладчица, которая меня спрашивает: «В вашей делегации как-то нет зна-

менитых имен, например, академика Ростовцева нет». Я говорю, что он эмигрант.—«Вот профессора Виноградова нет». Я говорю, что два года тому назад он уже умер. После этого она не пыталась больше колоть. Но, казалось бы, она могла уколоть еще и спросить: почему Тарле не приехал. Могла бы уколоть, но ничего никто не спросил. Так что представление, будто Академия Наук пользуется там каким-нибудь авторитетом, по крайней мере, поскольку дело идет о ее гуманитарной половине—неправильное, этого нет. Нам нужно всячески самим наладить сношения с заграницей.

Левин, М. Как ставились доклады: делался ли перевод в том случае когда говорили по-русски?

Покровский. Русский язык не принят на Конгрессе. Я должен сказать что хотя для нашего самолюбия национального это—ущерб, но практически это имеет мало значения. Речь шла бы притом не только о русском языке, но и об украинском. И совершенно правильно сказал Леритъе, что нет затруднений, чтобы говорили на русском языке, но вы будете тогда изолированы только кучкой славян. Действительно, и есть два доказательства этому. Одно доказательство положительное—это испанцы. Они имели право говорить на своем языке, а говорили по-французски. И другое доказательство—итальянцы, которые привезли исключительно фашистов, их было много, человек 70, и они говорили исключительно по-итальянски. Но во время их докладов они представляли собою остров, вокруг которого бушевало море, потому что никто их не понимал. Так что мы будем пользоваться этим предложением, делать доклады на русском языке, только в секционных заседаниях, где будут только славяне и немцы, которые понимают по-русски, а вообще говоря, на больших заседаниях Конгресса говорить на этом языке не стоит. Например, поляки, которые имели огромную делегацию, которые созывают следующий Конгресс в Варшаве,—это уже решенный вопрос, еще до этого был решен,—тем не менее не пользовались на Конгрессе польским языком, а говорили по-французски, и правильно поступали, потому что вести какую-нибудь агитацию или пропаганду можно только, пользуясь тем языком, на котором говорит большинство.

НЕДЕЛЯ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ В БЕРЛИНЕ

(Доклад Е. Б. Пашуканиса на заседании Бюро президиума Комм. академии 22/IX—28 года).

«Неделя русских историков в Берлине» явилась вторым опытом этого рода общения между учеными Германии и Советского Союза. В прошлом году, как известно, была проведена такая же «неделя русских ученых» по разряду естественных наук. Надо сказать, что второй опыт был, конечно, гораздо более трудным как для нас, так и для немцев, ибо естественные науки являются науками политически-нейтральными, а потому в связи с ними никаких щекотливых вопросов возникнуть не могло. Организация же «недели историков» означала встречу с представителями революционно-марксистской мысли, ибо ясно было, что советская историческая наука в первую очередь должна быть представлена именно марксистами¹. Между тем организатором этой «недели» с немецкой стороны явилось «Общество по изучению восточной Европы», во главе которого стоят люди, принадлежащие к различным буржуазным партиям от демократов до националистов, в роде проф. Геча. Таким образом налицо была определенная трудность и она давала себя знать в течение всей этой «недели», но, тем не менее, эту трудность удалось преодолеть.

Общее настроение в Германии в тот момент, когда мы туда явились, по отношению к Советскому Союзу было переломным. Только-что закончился шахтинский процесс, который, как известно, внес немало обострений в наши отношения с официальной Германией; однако его исход до некоторой степени уже успокоил германское буржуазное общественное мнение. С другой стороны, уже начали вырисовываться новые международные политические комбинации: возрождение англо-французской антанты, крах в локарской политике и разочарование в западной ориентации. Это создало благоприятную атмосферу для всякого рода дружественных демонстраций в сторону Советского Союза, и «неделя историков» была с этой целью использована.

Дня через два-три после нашего приезда «Общество по изучению Восточной Европы» устроило торжественный прием, на котором представитель правительства передавал от имени рейхсканцлера приветствие русским историкам, подчеркнув, что Германия в высшей степени заинтересована тем изданием документов

¹ Состав делегации был нижеследующий: председатель М. Н. Покровский, от Украины—Яворский и Юринец, от Белоруссии—Пичета, от РСФСР—академик Платонов, Любавский, Егоров, Адоратский, Дубровский, Пашуканис.

по истории мировой войны, которое у нас предполагается. Вообще заявление М. Н. Покровского о том, что мы собираемся издать эти документы, привлекло к себе наибольшее внимание.

«Неделя» открылась 7 июля. Параллельно с докладами была организована выставка советской исторической литературы и архивных материалов, для которой было предоставлено помещение в Прусской Библиотеке. Выставка эта, как и все вообще выставки в мире, к моменту открытия не была готова и, надо сказать, не во всех частях была одинаково удачной. Тут уже вина наших организаций, в частности наших издательств, которые не представили полностью нашу книжную продукцию по разделу общественных наук (на выставке были представлены не только исторические науки). Целый ряд наших (многотомных) изданий был представлен разрозненными томами.

Очень интересны были на выставке фототипии с документов нашего Центрархива. Документы были, разумеется, подобраны так, чтобы заинтересовать немцев. Там было подлинное отречение Наполеона, письма Бисмарка и т. п.

Порядок открытия «Недели» был следующий. В зале Прусской Академии состоялось торжественное заседание, на котором выступил с речью прусский министр народного просвещения Бекер и вице-председатель Общества по изучению Восточной Европы проф. Геч. С нашей стороны выступили полпред Крестинский и М. Н. Покровский. Речи немецких представителей явно отражали трудность положения, с которой им приходилось как-то считаться, и, надо сказать, они сделали это с прямою и полной открытостью. Так, Геч в своей речи, предупреждая, очевидно, нападки известной части прессы в том смысле, что Общество мол привезло за свой счет большевиков и позволяет им заниматься здесь пропагандой своих идей, так и заявил, что, с одной стороны, мы видим здесь в качестве представителей русской исторической науки старых, давно нам известных ученых—Платонова и москвича Любавского, мы их приветствуем, но мы не можем этим одним довольствоваться. Мы знаем, что в Советском Союзе осуществляется новый тип государства, что этот новый тип государства базируется на марксистской теории,—поэтому нам интересно видеть здесь представителей марксистской исторической науки и из их уст слышать, как они обосновывают новый тип государства и как объясняют под этим новым углом зрения исторический процесс. При этом он, если мне память не изменяет, даже заявил, что, мы мол, великолепно знаем, что наука у марксистов стоит в очень тесной связи с политикой, составляет с нею одно целое, но что и это обстоятельство не должно нас пугать. Закончил он свою речь в таком духе, что главное в истории—это об'ективные факты, и тот, кто будет эти об'ективные факты добросовестно изучать и излагать, всегда внесет ценный вклад в историческую науку.

Прусский министр народного просвещения Бекер (демократ) в своей приветственной речи несколько иначе подошел к тому же вопросу: об'ективная истина, по его мнению, вообще недостижима, но главное, чтобы человек честно относился к своим собственным убеждениям, каковы бы они ни были, а раз это условие налицо, то все обстоит благополучно.

В ответных речах наш полпред Н. Н. Крестинский и М. Н. Покровский останавливались, главным образом, на той научной связи, которая издавна существовала между Россией и Германией, оборвалась во время войны, а теперь, в советский период, еще больше окрепла. В частности, в своей речи М. Н. Покров-

ский отметил заслуги немецких историков, начиная с Эверса, в деле изучения русского исторического процесса.

Покровский указал также, что работа историков не-марксистского направления, но таких крупных историков, как, например, Соловьев, явилась основой и базой, на которой потом дальше могла развиваться наша марксистская научная мысль. Он опроверг утверждение, будто бы у нас научная работа разрешена только марксистам и не-марксисты заниматься ею не могут, и указал в качестве наглядного опровержения на участников «недели» Платонова, Любавского и Егорова.

После торжественного заседания вся публика отправилась на выставку, где секретарь Общества доктор Ионас в качестве гида давал краткие объяснения. Надо сказать, что эта выставка довольно усердно посещалась публикой. И вообще, что нас поразило, это широчайший интерес, с которым относится сейчас научный мир Германии, в частности историки и экономисты, к Советскому Союзу. Нас изучают не только в Берлине, где есть специальный семинар по истории Восточной Европы под руководством Штелина и Геча, но также в Гамбурге, где соответствующую кафедру занимает проф. Заломон, в Кенигсберге, наконец, в Лейпциге, где кафедре русской истории занимает бывший петербургский профессор Браун. Он, кажется, состоит теперь в германском подданстве, но лояльно настроен по отношению к СССР. Во всяком случае на одном из торжественных заседаний он выступил с речью, преисполненной советского патриотизма. Теперь он в Лейпциге является руководителем кафедры русской истории. Вокруг всех этих кафедр и семинаров имеется довольно большая кадр студентов, изучающих русскую историю и знающих русский язык. Так что, когда некоторые из наших докладов читались на русском языке, довольно большая часть аудитории их понимала.

Относительно порядков докладов мы условились с нашими немецкими хозяевами в первый же день по приезде. Было решено, что «неделя» откроется 9 июля докладом М. Н. Покровского на тему «Происхождение самодержавия». Этот первый доклад прошел при значительном участии ученого мира, а также государственных и политических деятелей. Присутствовали представители министерства иностранных дел, в том числе фон-Дирксен, нынешний германский посол в Москве, ряд депутатов рейхстага и весь цвет германской исторической науки: Эдуард Мейер, Ганс Дельбрюк, Зеринг, археолог Роденвильд, известный биограф Энгельса—Густав Майер, проф. Штелин, проф. Пальме и др. М. Н. развернул перед этой аудиторией картину различных, сменявших друг друга воззрений по вопросу о происхождении самодержавия, подверг их критике и изложил марксистскую точку зрения. Доклад он читал по готовому немецкому тексту и всякий, кто знает лекторскую манеру Михаила Николаевича, поймет, что немецкая публика очень многое потеряла. Мих. Ник., правда, пытался все-таки рассказывать с той живостью, как он это всегда делает, но напечатанный текст его связывал. Затем—голос у него довольно слабый, а зал большой—не все слышали. Наконец, и выговор тут отчасти мешал. Так что в задних рядах немцы понимали его, очевидно, плохо. Это видно из тех газетных отчетов, которые появились на следующий день. Так, отчет в «Берлинер Тагеблатт» показал, что хроникер совершенно не понял критической части доклада, а просто-напросто взял все теории, которые перечислял и критиковал в докладе Мих. Ник., и приписал их самому Михаилу Николаевичу. На ученую публику доклад произвел сильное впечатление.

Слышались отзывы, что как бы, мол, ни относиться к марксизму, но ясно, что при старой концепции русского исторического процесса теперь оставаться нельзя.

После доклада М. Н. Покровского последовали остальные доклады в определенном порядке—по два доклада в день: один доклад утром и другой вечером, с некоторыми изменениями программы, которые вызывались тем, что в течение этой недели мы должны были осмотреть целый ряд учреждений, через день, а то и каждый день, устраивался какой-нибудь банкет с торжественными речами и приветствиями. В том числе и наше полпредство устроило прием. Надо сказать, что при температуре в 30°, которая тогда была в Берлине, участники всех этих деловых и торжественных собраний, как правило, обливались потом.

За докладом Мих. Ник. последовал украинский доклад. Вообще доклады были расположены так, что РСФСР-ские доклады чередовались с докладами представителей других республик. Доклад Яворского был разбит на две части. В первой части он осветил состояние исторической науки на Украине. Это был чисто информационный доклад, в котором сообщались сведения о том, какие имеются кафедры на Украине, какие издавались труды и т. п. Второй доклад его был посвящен западно-европейским влияниям в революционном движении на Украине. В этом докладе Яворский пытался установить непосредственную связь известных идейных движений с аналогичными движениями на Западе. Между прочим, по поводу первых докладов появилась злобная заметка в «Руле», который вообще старался по мере сил досадить советским историкам. По поводу доклада Мих. Ник. «рулевой» хроникер, не найдя, что сказать, ограничился замечанием, что, мол, видно все-таки, что это быв. приват-доцент императорского университета. А потом, чтобы как-нибудь с'язвить, добавил, что все, что М. Н. Покровский излагал, не имеет ничего общего с марксизмом. А по поводу доклада Яворского было отпущено «язвительное» замечание, что молодой человек бойко говорит по-немецки и что он рассказывал немцам, как они повлияли на революционное движение на Украине, думая, что им это приятно, но немцы, мол, даже не пришли его слушать¹.

Во вторник с утра мы осматривали Прусский государственный архив, который расположен в новом великолепном здании, построенном почти за городом, в предместьях Берлина—Далем. По расположению своему этот архив скорее подходит для санатория, чем для архива. Из окон великолепный вид на поля и леса. Внутри ни одной пылинки. Тут же рядом ботанический сад. Раньше кругом были сплошные картофельные поля, так что Кер—директор архива,—когда его спрашивали, какое изречение поместить на фронтоне, сострил: напишите—«Глас, вопиющий в пустыне».

¹ Вообще, надо сказать, отзывы и отклики печати на «неделю историков», главным образом, касались не докладов, а всяких торжественных заседаний. В газетах печатались большие отчеты с перечислением всех высоких присутствующих лиц, с изложением их речей, а что касается докладов, то кроме довольно неудачного переложения доклада М. Н. Покровского, мне попадались лишь очень короткие заметки о других докладах.

Общий тон прессы был безусловно дружественный. Правда в «Дейтше Альгемейне Цейтунг» появилась статья, в которой ставился вопрос: «нужно ли на наши деньги способствовать большевистской пропаганде?» Было также несколько неблагоприятных заметок в правых газетах насчет выставки, что там, мол, выставлена агитационная литература. Но эти выпады составляли исключение.

Внутри здания 28 километров стеллажей, находящихся в образцовом порядке. Архив старый, давно разобран и все уложено на полки, описи в идеальном порядке. Поражает то, что там совершенно нет запаха пыли, который присущ всякому архиву, а, наоборот, замечательно чистый воздух. Масса света — хранилище освещается с двух сторон. Все очень удобно расположено. Директор Кер перед осмотром прочел нам небольшой доклад, причем особенно внимательно уделил различию двух систем собирания и хранения архивов. Одна система — французская, проникнутая рационализмом и «духом естественного права», которую он отвергает и которая состоит в том, что исторически сложившиеся фонды разбиваются и систематизируются по каким-нибудь логическим признакам, так что, например, то, что относится к рекам, лежит в одном месте, то, что относится к лесам, — в другом и т. д. Эту систему, заявил Кер, надо признать неправильной и антиисторической. Наоборот, архивы должны сохраняться в том виде, как они создавались по учреждениям. В качестве примера он приводил архивные фонды некоторых государств, которые образовались в эпоху Наполеона и прекратили существование после Венского конгресса. Эти фонды сохраняются в полной неприкосновенности и совершенно выделены из остального архивного материала.

Параллельно с осмотром архива нам показана была выставка. На выставке тоже были подобраны особо интересные для нас материалы. Там были документы, относящиеся к Марксу, Энгельсу, Лассалю и Бакунину. Интересна докладная записка, которую банкир Мендельсон подавал Вильгельму II по вопросу о состоянии русских финансов, причем Вильгельм II сделал пометку на полях против того места записки, где Мендельсон указывал, какая часть доходного бюджета покоится на винной монополии. Вильгельм написал: «Бедные ребята. Они голодают и поэтому так много пьют водки».

Вечером во вторник состоялся доклад Адоратского о нашем Центрархиве. Доклад этот заинтересовал, главным образом, архивистов. На этот доклад явились и представители Имперского архива и Прусского архива, которые задавали много вопросов и видимо заинтересовались постановкой у нас архивного дела.

В среду выступил с докладом академик Платонов. Кстати сказать, доклады происходили в помещении Прусской академии наук. Там имеется один большой зал «Фестзал», в котором происходило открытие «недели» и читал свой доклад М. Н. Покровский, а затем имеется маленький зал, вмещающий около 100—120 человек. Большинство докладов происходило в этом маленьком зале, и только когда выступал какой-нибудь докладчик, привлекающий особое внимание, то переходили в большой зал. На доклад С. Ф. Платонова немцы пришли в большом числе; немало было очевидно и представителей русской колонии. Поэтому доклад был также перенесен в «Фестзал».

Темой для своего сообщения С. Ф. Платонов избрал «Проблему русского Севера в новейшей историографии». Кроме мастерски сделанного описания красоты природы и богатств нашего Севера и, в частности, Мурманского края, доклад содержал сообщение о некоторых работах, которые дают более отчетливое представление об экономической структуре Севера и разрушают легенду о сплошной крестьянской общине, которую он якобы представлял. Наоборот, новейшие исследования выяснили крупную роль торгового капитала не только туземного, но и иностранного. Покровского этот доклад должен был особенно удовлетворить потому, что он послужил прямым подтверждением того тезиса, который М. Н.

защищал в своем основном докладе о «Происхождении самодержавия». На одном из торжественных обедов, на котором было произнесено много речей и с нашей и с немецкой стороны, Мих. Ник. указал, между прочим, что марксизм силен именно тем, что даже те ученые, которые вовсе не являются марксистами, а просто хорошими историками, добросовестно изучая факты, приходят к выводам, подтверждающим марксистскую теорию¹.

Перечислю вкратце дальнейшие доклады: т. Юринец сделал с внешней стороны блестящий и по содержанию интересный доклад на тему «Отражение социального процесса на Украине в украинской литературе». Он показал в нем всю свою разностороннюю образованность. В этом докладе нашли себе место и философия, и поэзия, и украинская история. Тов. Юринец великолепно говорит по-немецки, и немцам, надо думать, было особенно приятно его слушать после запинаящегося немецкого языка наших более маститых ученых (кстати С. Ф. Платонов просто по-русски читал свой доклад).

В. И. Пичета читал доклад об аграрных реформах XVI в. в Белоруссии. Я читал доклад о солдатских советах в Кромвелевской армии. Д. Н. Егоров прочел весьма специальный доклад о критике средневековой историографии, доклад, который имел затейливый подзаголовок «Zitatenwut und Factamehrung» (Цитатное бешенство и умножение фактов). Этот доклад восхитил немцев. Д. Е. Егоров показал хорошее знакомство со средневековыми хрониками и с критикой этих хроник, а также развил и некоторые свои соображения насчет источников недостоверности средневековой историографии; таковых оказалось более чем достаточно. Немецкая аудитория приняла доклад с большим вниманием; надо еще отметить, что он был сделан на великолепном немецком языке.

Мой доклад несколько интриговал своей темой: «Какие это еще большевики выдумали солдатские советы у Кромвеля?», вот вопрос, который как бы чувствовался в тех разговорах, которые приходилось вести до доклада. Читать мне пришлось в одной из университетских аудиторий, ибо в этот день, в четверг, происходят заседания Прусской академии наук, и этого помещения нам не могли дать. Нам предложили аудиторию в семинарском корпусе университета. Это простая комната, совершенно не похожая на великолепный зал Академии наук, — обыкновенный семинар со школьными скамьями, в общем довольно поместительный. На доклад пришло много студентов и кое-кто из нашей коммунистической молодежи. Жара и духота была отчаянная и читать было довольно трудно. Кроме того, окна на улицу были открыты и оттуда доносился оглушительный шум от проходящих трамваев, так что пришлось очень напрягать голос. Словом, усло-

¹ Для характеристики речей, которые произносились на банкетах, могу привести, например, очень интересное выступление Эдуарда Мейера.

Он сказал примерно следующее: «Я понимаю, что каждое учение стремится выработать свой определенный канон и этому канону подчинить все индивидуальные уклоны и всякую индивидуальную мысль. Это показывает силу течения, если оно может это сделать. Но в то же время, когда оно этой цели достигает, оно закостеневаает, убивает всякую творческую работу; потому что творчество невозможно без борьбы, без отстаивания своего мнения вопреки всяким другим мнениям». И он поднял тост за эту вечную борьбу, имея, конечно, в виду бросить камешек в огород «догматиков-марксистов». Именно на эту речь отвечал М. Н. Покровский, указав, что в марксистскую концепцию оказываются влеченными те достижения исторической науки, авторами которых являются вовсе не марксисты.

вия были весьма демократические, не то что в здании Академии, где высоченные потолки, абсолютная тишина и хорошая акустика. Я, признаться, ожидал, что по поводу моего доклада последует резкое выступление с.-д. прессы, потому что я критиковал и Бернштейна и нападал на его работу об английской революции. Таким образом, налицо был прямой повод для контратаки, но, к моему удивлению, «Форвертс» дал отчет, в котором все содержание доклада было изложено очень объективно и не прибавлено ни одного критического замечания. Прихожу выдержки из этой заметки: «Историческое прошлое не является каким-то на все время установленным фактом. Оно меняет свой вид сообразно установке и мировоззрению каждой данной эпохи. Теперь, после Ницше и Эрвина Родэ, мы иначе воспринимаем греческий мир, чем классики, и выше оцениваем готику, чем это делали люди Рококо. Каждое новое направление в науке, искусстве или политике ищет своих предков в прошлом, может быть для того, чтобы найти себе оправдание и представить себя при помощи исторических параллелей, как естественно-необходимое явление. Поэтому историк новой России отправляется на поиски у других народов и в другие времена тех учреждений, которые создала современная Россия. И таким образом проф. Московского университета Пашуканис в своем докладе «Солдатские советы Кромвеля», прочитанном в Берлинском университете во время «недели русских историков», приходит к выводу, что войско Кромвеля еще за 270 (вероятно 280) лет знало советы солдатских депутатов».

Изложив последовательно все основные тезисы доклада, заметка кончает следующим образом: «Все эти факты были известны прежним историкам. Их можно найти в Clark Papers—этом аутентичном источнике для эпохи Кромвеля. Но прежние историки не могли уяснить себе значения этих солдатских организаций, ибо у них—историков—отсутствовали параллели из современности. Только русская революция, полагает Пашуканис, создала возможность этого понимания» (Vorwärts, 14 июля 1928 г.).

Наоборот, в «Фоссише Цейтунг» появилась критическая заметка против моего доклада. Автор заметки брал под защиту Кромвеля, которого я, мол, изобразил каким-то отвратительным социал-предателем. Кроме того заявлялось, что ни о какой классовой борьбе между солдатами и офицерами в армии Кромвеля не могло быть речи по той простой причине, что вся армия была объединена одной и той же пуританской идеологией и представляла одну религиозную общину.

Как я уже сказал, в течение недели наша делегация осмотрела ряд учреждений. Эти осмотры были великолепно организованы; делегация повсюду встречала к себе самое внимательное отношение. Неизменным нашим путеводителем выступал любезный доктор Ионас—генеральный секретарь «Общества по изучению Восточной Европы». На его долю выпала вообще главная тяжесть всей организационной работы.

Кроме Прусского архива, о чем речь была уже выше, мы осматривали новый, созданный после войны Общеперский архив. Он помещается в Потсдаме, в здании бывшего кадетского корпуса. Этот архив гораздо более походит на наши архивы. Это новое учреждение, которое получило сразу большое количество материалов, они еще далеко не все разобраны. Помещение непригодно для архива. Там мы увидели приятную для глаза родную картину: на полу груды связок, актов, еще не устроенных и не разобранных. В противоположность Прусскому архиву, директор которого нам сразу же заявил, что это архив только государства и государственных учреждений, Общеперский архив строится на

более широких основах. Его руководители заявили нам, что они хотят, чтобы архив отражал не только чисто государственную историю, но и историю немецкого народа. Поэтому они включают такие фонды, как частная переписка,— например, у них находится переписка Лассалья. Они собирают архивы ряда общественных организаций, в том числе некоторых профессиональных союзов. В этом архиве хранятся материалы, касающиеся 1848 года, Франкфуртского парламента, в частности большое собрание документов, оставшихся после известного демократа Роберта Блюма. Но в Германии нет закона, обязывающего сдавать архивные материалы в Общеперский архив. Таким образом, из частных архивов они могут получать материалы только на началах добровольного соглашения. Основные их фонды составляют архивы военного ведомства. Отчасти Общеперский архив потому и был создан, что не знали, куда девать громадное количество документов, которые остались от германской армии. Мы видели огромные стеллажи, где хранятся эти военные архивы, расположенные по фронтам, корпусам, дивизиям и т. д. В архиве хранится до 200 000 писем участников войны. Имеется также богатейшее собрание плакатов и воззваний.

В особом зале была устроена выставка документов по следующим разделам:

1. Борьба за объединение Германии 1864—1871 гг.
2. Мировая война 1914—1918 гг.
3. Объединительное движение Германии 1848—1849 гг.
4. Оставшиеся после смерти Лассалья исторические документы.
5. Социальное законодательство.
6. Авиатика.
7. Воинские законопроекты и подготовка к войне с 1870 по 1914 г.

8. Германо-русские отношения 1812—1920 годов. Кстати, в качестве одного из документов этого последнего раздела, была выставлена докладная записка «Общества по изучению Восточной Европы» германскому правительству с просьбой о субсидии.

Наконец, мы осматривали Прусскую библиотеку. Осмотр был довольно беглый. Самое большое, что нас поразило, это общий каталог для всех прусских библиотек и великолепная организация, с помощью которой можно получать книги из любой германской библиотеки. Прусская библиотека насчитывает свыше 2 миллионов томов. За год выдается около 500 000. На приобретение книг библиотека имеет 552 000 марок (1927 г.). Хотя это составляет 170% довоенной сметы, однако директор жаловался, что это увеличение недостаточно, ибо книги вздорожали в общем не менее, чем на 70%, а, кроме того, появилась совершенно новая литературная продукция, которая связана, например, с появлением новых государств. Надо отметить, что, несмотря на увеличение сметы, библиотека за последнее время сократила свой штат. Он сейчас составляет 320 чел.

Затем я лично осматривал еще Прусскую академию наук и специально поинтересовался ею с административно-организационной точки зрения. Надо сказать, что Прусская академия наук не имеет ни одного научно-исследовательского учреждения, ни одной лаборатории, ни одного института; у них имеются только комиссии. Есть комиссия по изданию трудов Лейбница, есть комиссия по составлению каталога неподвижных звезд и т. п.

Поэтому и штаты Прусской академии, с нашей точки зрения, весьма мизерны. Кроме членов Академии, имеется 10 «научных чиновников» (wissenschaftliche Beamte). Затем имеются просто служащие, выполняющие административ-

ные функции, из них—13 с высшим образованием и 8—со средним образованием. Затем имеется ничтожное число технического персонала, 4 средних и низших служащих и 4 уборщицы. Кроме того имеется 12 человек вспомогательных научных сотрудников, которые оплачиваются из научных средств.

Действительных членов Академии 70 и они получают по 900 марок в год: это, конечно, не жалованье, а почетная субсидия. Вся смета Прусской академии составляет 400 тысяч марок в год, причем, примерно, 83 тысячи они получают на свои издания. Из этой суммы они выдают дотации издательствам.

В библиотеке Прусской академии наук работает всего одна сотрудница, потому что, во-первых, библиотека состоит только из трудов других академий, которые они получают и расставляют в алфавитном порядке городов, и из сочинений самих академиков, во-вторых, они никому не выдают книг из этой библиотеки, выдают только Прусской библиотеке, когда у той оказываются пробелы. Такую библиотеку, конечно, может обслуживать одна сотрудница.

Задно я выяснил из беседы с проф. Штамером, секретарем Академии, что они посылают свои труды целому ряду наших учреждений, вплоть до Свердловского университета, а Коммунистической академии не посылают. Я спросил—почему. И получил ответ: «Вы не попросили, если бы вы просили, мы и вам бы присылали».

Ознакомились мы также с семинаром профессоров Штелина и Геча по изучению Восточной Европы. Семинар начался еще в 1908 г., когда им руководил проф. Шман. За последний зимний семестр в семинаре занималось 90 человек. Семинар имеет довольно приличную библиотеку; много советской литературы; там мы видели ряд наших журналов, в том числе «Историк-марксист». Интересны темы семинарских работ: тут и Бакунин, и Чернышевский, и Котошихин, и русско-пруссские взаимоотношения. Один из слушателей работает над темой «Советское право».

Посещение нами Берлина имело и известные практические результаты. За это время мы подготовили два соглашения и окончательно заключили одно. Удалось нам договориться об обмене архивными материалами. Вопрос этот поставили сами немцы. Их интересуют, главным образом, имеющиеся у нас письма Гогенцоллернов и других высокопоставленных особ. Они поставили вопрос, нельзя ли пересылать архивные материалы по запросам ученых, которые хотят над ними работать, из Германии в СССР и из СССР в Германию. Мы на это принципиально сразу же согласились, потому что для нас тоже там имеется много интересных материалов, главным образом, по рабочему и по революционному движению. Само собой понятно, соглашение не распространяется на те материалы, которые являются секретными, напр., на материалы по иностранной политике.

Другие два соглашения касались обмена книгами между библиотеками и перевода на немецкий язык документов мировой войны, которые мы собираемся опубликовать. По этим вопросам велись только предварительные переговоры.

В заключение должен сказать, что «неделя» в общем прошла удачно и оставила самое благоприятное впечатление. И она показала, в частности, что наша советская марксистская наука уже начала завоевывать себе признание на Западе в гораздо большей мере, чем мы это сами представляем. И если еще до сих пор представители белой эмиграции выступают кое-где в качестве монопольных знатоков «русского вопроса», то это по нашему собственному нерадению. Опыт берлинской «исторической недели» должен быть использован для дальнейшего закрепления наших международных научных связей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Президиум Коммунистической академии

3 ноября т. г. Президиум Комакадемии принял постановление о значительном расширении информационного отдела «Вестника Комм. Академии».

В связи с этим, издание внутреннего информационного Бюллетеня, выпускавшегося до сих пор секретариатом Президиума, будет прекращено и все печатавшиеся в нем материалы о внутренней жизни Академии, представляющие интерес для более широкого читателя, будут печататься в «Вестнике». Однако расширение информационного отдела должно будет заключаться отнюдь не только в более широком освещении организационной деятельности отдельных учреждений Академии, но и в сообщении наиболее интересных результатов их научной работы в виде стенограмм, рефератов, а также тезисов отдельных докладов.

Кроме того, в связи с той работой по объединению деятельности марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, которая начата была работами 1-й конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, перед «Вестником Комм. Академии» встает задача расширить на своих страницах освещение работы этих учреждений. В целях выполнения этой задачи, значительное место предполагается уделить как информации о деятельности марксистско-ленинских учреждений, так и печатанию результатов их отдельных работ.

Указанному расширению информационного отдела положено начало уже в настоящем номере, что выразилось в напечатании в нем стенограмм двух информационных докладов: доклада т. М. Н. Покровского о конгрессе историков в Осло и доклада т. Е. Б. Пашуканиса о неделе историков в Берлине, а также в помещении информации о работе Президиума и отдельных учреждений Коммунистической академии.

Основными моментами в деятельности Президиума и Бюро Президиума Комакадемии в течение последних месяцев прошлого академического года и первых месяцев 1928/29 г. являлась проработка плана работ Комакадемии на 1928/29 г., а также вопросов, связанных с организацией новых учреждений Комакадемии.

В целях более глубокой проработки и увязки плана работ Комакадемии, до его рассмотрения в Президиуме, он подвергся обсуждению в ряде совещаний ученых секретарей по группам научно-исследовательских учреждений.

В работе этих совещаний главное внимание было уделено выявлению основных генеральных линий плана, придающих работам научных учреждений Комакадемии актуальный характер борьбы за марксистскую идеологию в наиболее важных областях теоретической мысли.

Кроме того, значительное внимание было также уделено созданию внутренней увязки между планами отдельных учреждений и приданию им возможно большего единообразия в смысле их построения, необходимого для их сведения в общий и единый план всей Академии.

Нельзя сказать, чтобы эту задачу удалось разрешить полностью. Так как Академия лишь с прошлого года перешла к работе по единому плану, отдельные научные учреждения, особенно недавно организованные, еще не накопили до-

статочного опыта, необходимого для составления плана, действительно адекватно отображающего перспективы работы, выявляющего ее основные целевые установки и реального в смысле выполнения при наличии определенного кадра сотрудников. Отсутствовали также необходимые технические навыки для правильной разработки плана в отношении его формальных моментов. Все это привело к необходимости многократных переработок первоначальных планов институтов и секций, что позволило значительно улучшить формулировки содержания отдельных работ и общее построение плана Академии, однако все же еще не обеспечило создания такого плана, который в смысле конкретности содержания и реальности выполнения удовлетворял бы в достаточной степени тем требованиям, которые вытекают из существа самой работы и значения Комакадемии в целом. Задачей дальнейшей работы явится уточнение этого плана, а также создание, на основе учета его выполнения, необходимых предпосылок для лучшей постановки работы по составлению последующих планов.

Следует отметить, что работа по составлению плана значительно затруднялась быстрым ростом работы Комакадемии и созданием новых научных учреждений.

Таковыми новыми учреждениями Комакадемии являются Секция по изучению теории и практики международного женского движения, Комиссия по изучению религиозной идеологии, Кружок партийного строительства и Кабинет по истории естествознания при Секции естественных и точных наук.

В Экономической секции организован ряд групп: транспортная, экономической географии, финансовая, группа по изучению вопросов труда и подсекция техники.

Если обратиться к штатам Комакадемии как к показателю роста ее работы, то мы увидим, что общее число научных сотрудников по сравнению с прошлым годом увеличилось с 95 до 126, т. е. на 32,6%.

Из вопросов, относящихся к организационной структуре учреждений Комакадемии, которыми в последнее время занимался Президиум, следует отметить реорганизацию Аграрной секции и Комиссии по изучению аграрной революции в Аграрный институт и создание при Комакадемии Философского института, развернутого из Философской секции, с которой был слит Институт научной философии при РАНИОНе.

Одновременно с созданием Философского института Президиумом разрешен также вопрос об издании Философской энциклопедии.

Постановлением Президиума окончательно оформлена подсекция материалистической лингвистики в составе Секции литературы, искусства и языка. Членами подсекции утверждены: академик Марр Н. Я., Деборин А. М., Фриче В. М., Тальгеймер А., Мещанинов И. И., Франк-Каменецкий П. Г., Яковлев Н. Ф., Аптекарь В. В., Асмус В. и др. Председателем Подсекции утвержден академик Марр Н. Я.

В связи с разработкой плана работ Комакадемии на 1928/29 год был рассмотрен вопрос о созыве конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, а также конференции по отдельным научным проблемам. Кроме конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, разрешен вопрос о созыве конференции аграрников-марксистов и историков-марксистов, из которых последняя состоялась в конце декабря.

Из отчетных докладов учреждений Комакадемии на заседании Президиума был заслушан доклад Общества статистиков-марксистов. По этому докладу Президиум констатировал, что Обществом правильно намечены три направления в его исследовательской работе: 1) теоретическое обоснование марксистской методологии статистики, 2) критический анализ важнейших теоретических положений математической статистики и 3) проработка специальных статистических проблем в связи с задачами планирования хозяйства. Вместе с тем Президиум признал необходимым, чтобы одновременно с проведением этих исследовательских работ общество развертывало работу по методологии плановой статистики, уделяя внимание борьбе с псевдомарксистскими течениями в теории статистики и их проявлениями в статистической практике.

Кроме вопросов, связанных с Экономической, Философской и Литературной энциклопедиями, из наиболее крупных вопросов в области издательской дея-

тельности, которыми занималось Бюро Президиума, следует отметить вопрос об издании трудов Ю. Мархлевского, собрания сочинений М. Бакунина и сочинений И. И. Степанова-Скворцова.

Работу по всем этим изданиям решено начать в текущем 1928/29 г.

Значительное внимание в своей работе Президиум уделил участию в организации 100-летнего юбилея со дня рождения Н. Г. Чернышевского. Проведение этого юбилея было возложено правительством на особую комиссию под председательством М. Н. Покровского, однако основная работа по осуществлению соответствующих практических мероприятий была выполнена Президиумом Комакадемии. 26 ноября в Большом театре состоялось торжественное юбилейное заседание, на котором с докладами выступили М. Н. Покровский, Н. К. Крупская, Ф. Я. Кон и А. В. Луначарский.

Кроме того, ряд собраний с докладами о Н. Г. Чернышевском был организован в рабочих районах.

В качестве материалов для организации таких докладов М. Н. Покровским были написаны тезисы о Н. Г. Чернышевском, отпечатанные в издательстве Комакадемии и затем широко распространенные в провинции.

Ко дню юбилея в журналах Комакадемии были помещены статьи, посвященные Н. Г. Чернышевскому, а кроме того проведена была соответствующая кампания в газетах.

Большое место в работе Президиума и особенно Бюро Президиума занимали вопросы, связанные со строительными работами Комакадемии.

В связи с тем, что здания, занимаемые Комакадемией, были совершенно недостаточны для размещения ее секций и институтов, важнейшей задачей явилось увеличение полезной площади Академии. С другой стороны, разбросанность учреждений Комакадемии, затрудняя их обслуживание, непомерно увеличивала административно-хозяйственные расходы.

Учреждения Комакадемии, помещавшиеся в здании по Волхонке 14, не считая помещения Института высшей нервной деятельности, занимали фактически лишь 8 комнат, остальное же помещение было занято Курсами марксизма и издательством. При таких условиях работа секций не могла протекать в здании Комакадемии, и научные сотрудники были вынуждены, в большей своей части, работать вне стен Академии.

Увеличение помещения Комакадемии решено было произвести путем надстройки двух этажей над старым 2-этажным зданием.

Для размещения же Института ВНД правительством было предоставлено здание бывш. музея в Покровском-Стрешневе. Перевод Института в это здание, специально приспособленное для его нужд, путем перестройки осенью 1928 г., дает возможность освободить 1 этаж здания по Волхонке 14 и, с другой стороны, создает благоприятные условия для научной работы Института.

Спереездом Института ВНД и Курсов марксизма полезная площадь главного здания Комакадемии увеличивается на 145 кв. саженей, а производимая надстройка двух этажей увеличивает эту площадь на 470 кв. саженей. Следовательно, общая полезная площадь здания на Волхонке будет составлять 900 кв. саженей, что обеспечит в ближайшие годы возможность нормального роста секций и институтов. Необходимо также отметить улучшение состояния здания и условий работы в нем в связи с заменой печного отопления паровым отоплением. В настоящее время уже закончено оборудование новой аудитории на 600 человек, производится внутренняя отделка вновь возведенных 3-го и 4-го этажей здания на Волхонке и заканчиваются работы в Покровском-Стрешневе. Окончательно строительные и ремонтные работы будут закончены еще текущей зимой. Однако это увеличение полезной площади академических зданий не разрешает остроу недостатка помещений для Библиотеки Комакадемии и, в связи с этим, уже в 1928/30 г. предположено начать постройку нового здания для Библиотеки.

В связи со всеми этими строительными работами Бюро Президиума пришлось уделять значительное количество времени на рассмотрение планов строительных и ремонтных работ, а также на заслушивание докладов управления делами о ходе этих работ.

Одним из важнейших вопросов, относящихся к внутренней жизни Академии, которыми занимался Президиум, является вопрос о рационализации работы аппарата Академии.

Для проведения этой рационализаторской работы создана специальная комиссия, деятельность которой будет проводиться под руководством зам. председателя Президиума, т. Е. Б. Пашуканиса.

В состав этой комиссии вошли: ученый секретарь Президиума т. Г. Г. Торбек (председатель), управляющий делами т. Н. Л. Ника, от Библиотеки—т. Г. К. Дерман, от научных учреждений Комакадемии тт. Залманзон, Эстрин, Сулковский и Квитко, от Секции научных работников—т. Галкович, от экономкомиссии—т. Груецкая и секретарь комиссии—т. Находкин.

Согласно плану, утвержденному Бюро Президиума, главное внимание в работе комиссии по рационализации должно быть обращено на разработку форм и методов как учета личного состава научных работников, так и работы отдельных учреждений Комакадемии. Ввиду того, что Комакадемия приступила к плановой работе лишь с 1927/28 года, в работах отдельных секций и институтов еще в недостаточной степени укоренилась плановая дисциплина, в результате чего мы имеем значительный процент невыполнения планов в отдельных учреждениях Комакадемии. В связи с этим приобретает особое значение вопрос о методе составления плана и о его формах, гарантирующих возможно большую реальность его выполнения. Не меньшее значение приобретает и учет выполнения этого плана.

Серьезным вопросом является также обеспечение научной работы техническими обслуживающими работами, в связи с чем ставится вопрос о необходимости рационализации аппарата организационно-технического обслуживания как работы самого Президиума Комакадемии, так и отдельных учреждений и секций Академии.

Большое значение имеет также вопрос о рационализации порядка финансирования научных расходов по отдельным учреждениям, которые гарантировали бы наиболее правильное распределение этих средств в соответствии с удельным значением работ отдельных учреждений.

В качестве особой задачи перед комиссией поставлен вопрос о рациональной организации обслуживания докладов и заседаний как в отношении оборудования аудиторий, так и в отношении организации докладов.

Кроме того, в текущем году намечено произвести ориентировочное обследование одного из институтов и одной из секций Комакадемии.

Комиссией установлен порядок и метод проведения рационализаторской работы, согласно которым отдельные мероприятия и вопросы разрабатываются в подкомиссиях с последующим обсуждением результатов на заседании комиссии; разработанные предложения должны будут обсуждаться в экономкомиссии и в Секции научных работников, а в отношении отдельных вопросов—предварительно будет проводиться согласование их с Бюро партийной ячейки и с совещанием ученых секретарей отдельных институтов и секций; окончательно же принятые решения будут вноситься на утверждение Бюро Президиума Комакадемии.

22 декабря состоялся пленум Коммунистической академии, на котором был утвержден план работ Академии на 1928/29 г. В своем вступительном слове М. Н. Покровский отметил значение в деятельности Комакадемии ее двух недавно скончавшихся членов: т. М. А. Рейснера и т. И. И. Скворцова-Степанова. Затем был заслушан доклад т. Мещерякова, посвященный памяти тов. И. И. Скворцова-Степанова. Кроме того, пленум избрал в качестве членов Комакадемии тт. Е. Ярославского, М. Горького и П. Керженцева, а также установил новый порядок выборов в члены Академии. Согласно существовавшему ранее порядку, выборы членов Комакадемии протекали таким образом, что сперва кандидатуры объявлялись на пленуме, затем эти кандидатуры обсуждались в Президиуме Академии, который и ставил их на голосование следующего пленума. Согласно же новому порядку, принятому на последнем пленуме, все кандидатуры в члены Академии предварительно должны подвергнуться обсуждению в специальной комиссии, которая должна будет рассмотреть их как с точки зрения их соответствия уставу Комакадемии, так и с точки зрения их научной квалификации. Кандидатуры, рассмотренные таким образом предварительно в комиссии, будут затем по ее докладу Президиуму ставиться последним на обсуждение пленума. В состав этой комиссии выделены

тт. М. Г. Бронский, В. П. Волгин, А. М. Деборин, Л. Н. Крицман, Е. Б. Пашуканис и О. Ю. Шмидт. Срок для внесения в эту комиссию заявок на кандидатуры новых членов Комакадемии установлен до 15 января, после чего комиссия должна будет, рассмотрев эти заявки, сделать о них доклад Президиуму. По утверждению Президиумом кандидатур соответствующих товарищей, они будут предложены Президиумом в качестве кандидатов предстоящему пленуму Академии, который намечено созвать в конце февраля текущего года.

Экономическая секция

Экономическая секция Коммунистической академии ставит своей задачей разработку проблем теоретической экономики, экономики СССР и дореволюционной России и популяризацию марксистских идей в области экономики.

Работа секции осуществляется членами и научными сотрудниками секции. По отдельным проблемам теоретической и конкретной экономики работают специальные группы (по воспроизводству и кризисам в современном хозяйстве, по экономике транспорта, экономической географии и др.).

В центре внимания секции за последний период стояла подготовка к изданию ежемесячного марксистского журнала, посвященного проблемам теоретической и конкретной экономики и борьбе с буржуазной и ревизионистской идеологией во всех теоретических и практических проблемах экономики. Первый номер журнала предполагается выпустить в январе 1929 года.

Одновременно с этим ведется подготовка к изданию «Экономической энциклопедии», в задачи которой входит освещение с марксистской точки зрения всех вопросов экономики, а также критика буржуазных и мелкобуржуазных течений экономической мысли. В настоящее время разработан общий план Энциклопедии и уже распределены статьи для I и II томов. Летом 1929 г. должен выйти первый том.

Экономической секцией организована подсекция техники, ставящая своей целью разработку как общих проблем техники, так и вопросов, связанных с 5-летним и генеральным планами и капитальным строительством. Кроме того, в задачи подсекции входит критическое освещение техники в капиталистических странах в связи с социалистическим строительством СССР и пропаганда вопросов техники.

В состав подсекции включено свыше 30 товарищей, работающих в различных областях техники. Из докладов, намеченных по плану работ подсекции на 1928/29 г., поставлен общеакадемический доклад т. В. П. Милютина на тему: «О плане рационализации».

В начале 1928/29 академ. года при секции организована финансовая группа, которая ставит своей задачей как исследование теоретических финансовых проблем, так и разработку актуальных вопросов финансовой политики. В 1928/29 г. этой группой намечено проработать в порядке докладов ряд тем, в том числе—проблема единого финансового плана, проблема денежной эмиссии в СССР и т. д. В части научно-исследовательской группа намечает поставить работу по налоговой системе в СССР и по единому финансовому плану.

В группе по изучению проблем воспроизводства и кризисов в хозяйстве СССР в текущем академическом году предполагается закончить работу т. Блюмина по «Теории кризисов в советской экономике» и работу т. Раскина по вопросу о «Деньгах и кредите в процессе воспроизводства советского хозяйства».

Работающая при секции группа по экономической географии поставила 2 доклада: «О программе экспедиционного обследования микрорайона» и «Опыт экономико-географического описания волости».

Кроме того, в секции состоялась дискуссия по докладу т. Мендельсона: «Проблема конъюнктуры», которая была издана специальной сборником.

Наконец, в октябре, совместно с Обществом статистиков-марксистов, был поставлен доклад т. Петрова «Предпосылки и методы построения баланса народного хозяйства», который будет напечатан в журнале секции.

Аграрный институт

(25/IX—15/XII—28 г.)

Политическая актуальность аграрных проблем в советской действительности при засильи в этой области общественной науки буржуазных и мелкобуржуазных взглядов выдвинула перед Коммунистической академией необходимость создания всесоюзного центра аграрной марксистской научной мысли, который бы выполнил задачу как оформления марксистских взглядов на теоретические проблемы аграрного вопроса, так и разработки в духе марксизма стоящих перед партией задач социалистического переустройства деревни. Эту задачу, естественно, не могли выполнить другие советские научно-исследовательские учреждения, работавшие в той же области: ни Международный аграрный институт, в силу специфического характера задач, стоящих перед ним, ни Институт с.-х. экономики, как объединяющий в своем составе в значительной мере немарксистов.

В качестве основания для организации Аграрного института послужили две секции Коммунистической академии: Аграрная секция и Комиссия по изучению аграрной революции—секции, давшие уже значительную печатную продукцию, сплотившие вокруг себя значительный кадр научных работников-марксистов и издававшие в течение почти 4 лет ежемесячный теоретический орган «На аграрном фронте».

25 сентября т. г. вопрос об организации в Комакадемии Аграрного института был утвержден Президиумом ЦИК СССР, и вслед за этим был утвержден Президиумом Комакадемии руководящий орган Института в составе тт. Крицмана (директор), Милютин, Гайстера (зам. директора), Кубанина, Верменичева, Сулковского (ученый секретарь), Цилько и Лурье.

Основной задачей вновь созданного Института за первый период работы было его организационное оформление: привлечение штатных и нештатных научных сотрудников, организация секций, разработка плана и т. п. Однако полному развертыванию Института в постоянно работающее учреждение мешало отсутствие помещения вследствие надстройки и перестройки здания Комакадемии.

Научная же работа отдельных секций Института, состояла в следующем: Секцией классового расслоения советской деревни начата работа по анализу группировок крестьянских хозяйств как земских, так и современных (т. Муллин). Кроме того ведется работа по анализу социального состава советской деревни, которая будет подготовлена к печати в настоящем году (т. Гайстер).

Секция социалистической реконструкции сельского хозяйства за истекший период еще полностью не развернулась. Причиной этому были затруднения с приглашением научных сотрудников, преимущественно несущих практическую работу в госучреждениях. Тем не менее известная работа проделана и за этот период. Совместно с ЦСУ проводится подготовка к печати материалов по экспедиционному обследованию колхозов Кубани, проведенному в начале 1928 года. Близка к окончанию работа о взглядах буржуазных и мелкобуржуазных идеологов на процесс реконструкции сельского хозяйства в СССР (т. Верменичев). Как известная часть этой работы, в журнале «На аграрном фронте» № 10 опубликована статья с разбором взглядов проф. Чайнова на крестьянское хозяйство. Проводится подготовка к экспедиции в район совхоза им. Шевченко для изучения опыта тракторных колонн. Кроме того, в декабре в Институте состоялся публичный доклад т. Гайстера: «Достижения и трудности колхозного строительства».

В Секции истории аграрной революции и аграрных движений в течение июля, августа и сентября научным сотрудником Института, т. Аверьевым, и временным научным сотрудником, т. Кизриним, производилось изучение комбедов по архивным материалам в Тамбове, Пензе и Ив.-Вознесенске. Работа эта, заключающаяся в собирании материалов, относящихся к истории комитетов бедноты, в настоящее время уже закончена. Обследованы фонды Губисполкомов, Губпродкомов, Губревтрибуналов и др., и собранный материал находится уже в распоряжении Аграрного института и подвергнется научной разработке в течение ближайших месяцев.

В соответствии с намеченным на 1928/29 г. планом работ, статистический аппарат секции за истекший период продолжал разработку материалов по истории аграрной революции. За это время из разработки вышло 19 волостей—годов, из которых часть относится к динамическому гнезду, другие же к четырем волостям Саратовской губ. Работа по изучению результатов аграрной революции по новым 50 гнездам должна быть закончена в настоящем году.

В составе этой секции организована специальная Восточная подсекция, основная работа которой заключается в разработке вопросов, связанных с земельными реформами в национальных республиках и областях. Так, например, при Комакадемии организована специальная комиссия по земельной реформе в Дагестане, которую предполагается превратить в постоянно работающую Комиссию по зем. реформам в национальных республиках и областях. Для ознакомления с делом земреформ на местах командированы научные сотрудники: т. Зелькина в Дагестан и т. Муллин в Крым. К работе Восточной подсекции привлечены ряд работников из ИКП и отдела по работе в деревне ЦК.

Секция аграрной политики в качестве основной работы занята изучением проблемности крестьянских хозяйств и социальной роли землеустройства (т. Кубанин). Первая работа близка к окончанию и частично опубликована в журнале «На аграрном фронте». В отношении же второй Статбюро Аграрного института заканчивает разработку материалов землеустроительного обследования по Смоленской губ., в связи с работой о социальной роли землеустройства. Здесь включены в разработку подворки самого обследования по двум волостям и копии подворок динамического обследования ЦСУ по одному гнезду. Кроме того, сводятся и поселенные бланки по этим волостям.

Наряду с генеральными подсчетами и вычислениями, проводятся текстовые сводки и параллельные разработки по сокращенным программам.

Научный сотрудник, т. Выгодский, ведет работу о влиянии с.-х. кредита на сельское хозяйство на примере развития хлопководства в Средней Азии. Первая часть этой работы, относящаяся к дореволюционному периоду, уже закончена и в настоящее время собирается материал советского периода.

Секция теоретических проблем с.-х. экономики почти совсем еще не развернула своей работы. Можно лишь отметить работу по подготовке учебника по с.-х. экономике и доклады т.т. Сулковского и Ужанского о предмете и методе с.-х. экономики, подвергшиеся живой дискуссии, результатом которой были 3 статьи, напечатанные в журнале «На аграрном фронте». Кроме того, начата работа по сбору программ курсов с.-х. экономики, читавшихся в вузах СССР.

Из работ общего порядка, проводившихся Аграрным институтом, нужно отметить подготовительную работу к созыву всесоюзной конференции аграрников-марксистов, которая должна будет состояться в 1-й половине 1929 года. Намечен состав участников, порядок работ и состав организационного Комитета.

Сюда относится также проведение закрытого дискуссионного доклада т. Суханова: «Об условиях развития сельского хозяйства СССР».

Кооперативная секция

За последние месяцы внимание кооперативной секции было сосредоточено на вопросах колхозного строительства.

Значительная часть членов секции и ее научные работники приняли участие во Всесоюзном с'езде колхозов, а также и в местных республиканских, как Украинский, и другие. Научным работником коопсекции, т. Власовым, был зачитан на пленуме Всесоюзного с'езда один из основных докладов по строительству колхозов: об организации хозяйства и капиталов в колхозах. Доклад этот имеет важное теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития колхозного строительства, и его основные положения были приняты съездом. Два члена Бюро секции, В. П. Милютин и А. А. Биценко, избраны во Всесоюзный совет колхозов.

В жизни кооперации Кооперативная секция начинает играть все большую роль. Так, по заданию и при материальном участии Колхозцентра РСФСР, НКЗ и местных окрколхозсекций, коопсекцией Комакадемии произведено экспеди-

ционное бюджетное обследование 380 колхозов Сибири, Украины, Среднего и Нижнего Поволжья и Сев. Кавказа. Кроме того, при участии научных работников коопсекции проведено специальное обследование колхозов в районах распространения молочной и маслодельной кооперации Вологодской губ.

Местные руководящие центры колхозного движения (украинские и сибирские) приветствовали начинание кооперации по обследованию колхозов и сами приняли в нем участие. Работа здесь проводилась при участии и под руководством кафедры кооперации и коллективизации Укр. ин-та марксизма и ученого секретаря Коопсекции Комакадемии.

Вся основная подготовительная работа по разработке бланков краткого бюджетного обследования, разработка подворки для хозяйств членов колхозов, выработка инструкций для обследования и самое инструктирование вспомогательного персонала экспедиции проведено исключительно научными работниками Кооперативной секции (Назимов, Власов, Хлебников, Бровкин, Лозовой).

Кроме большой организационной работы, связанной с подготовкой и проведением экспедиции, они приняли непосредственное участие по руководству экспедиционным обследованием, для чего им всем пришлось выезжать на места в окружные колхозсекции и непосредственно в колхозы Сибири, Сред. Поволжья, Северного Кавказа, Ниж. Поволжья и Украины. Нужно заметить, что везде экспедиция Коопсекции встречала самое радужное отношение как со стороны местных руководителей колхозсекциями, так и со стороны рядовых членов колхозов. Следует заметить, что произведенное бюджетное обследование является самым полным обследованием из произведенных до сего времени обследований колхозов. Местные работники не только оказывали сердечный товарищеский прием нашим товарищам, но и материально помогли экспедиции. Рядовые члены колхозов, желая установить постоянную связь с научными работниками Коопсекции, высказывали пожелание о периодических выездах научных работников Коопсекции в колхозы, для постановки докладов. Коопсекции остается приветствовать такое пожелание членов коллективов, ибо изучение колхозного строительства и выявление всех сдвигов, происходящих в этом важном участке нашей работы в перестраивающейся на социалистический лад деревне, возможно только при непосредственном общении с колхозниками, при постоянном наблюдении жизни колхозов. Только на основе научного анализа нашей колхозной действительности можно правильно наметить политику в области колхозного строительства. Такие «лаборатории-коллективы» уже намечены Коопсекцией Комакадемии и по согласованию с МК ВКП (б) к этим коллективам прикрепляется ряд научных работников секции. Возникает вопрос о выборе лабораторий коллективов в других округах, например Одесском степной полосы Украины, где колхозники высказывали пожелание об установлении с ними постоянной связи научных коммунистических учреждений, как Комакадемия и Украинский институт марксизма. Такое же пожелание высказано колхозниками Кубани, и при участии научного работника Бровкина заложен опытно-показательный учет динамики хозяйственных достижений колхозов.

Оживилась также работа секции по освещению проблем колхозного строительства в печати. Так, научным работником т. Назимовым, помещена в «Экономической жизни» большая статья «Производительность труда в колхозах». Ученым секретарем секции Лозовым в журн. «Коммунист» — от 21 и 23 сентября помещены 2 статьи «О колхозах Украины».

Тов. Бровкиным при участии т. Власова под редакцией т. Лозового подготовлена и сдана в печать «Библиография колхозной литературы за 10 лет», являющаяся пособием для изучающих колхозы СССР. Из других областей работы Коопсекции следует отметить работу семинара по теории потребкооперации под руководством В. П. Милюткина и при участии тт. Кантора, Макаровой, Фишгендлера и Лозового.

Участниками этого семинара ведется подготовительная работа по составлению сборников под редакцией В. П. Милюткина: «Современные буржуазные течения кооперативной мысли на Западе» и «Современные проблемы колхозного строительства». Поставленный в этом семинаре доклад т. Чеснокова «Военное хозяйство и кооперация» вызвал самый живой интерес к этой теме как со стороны членов Коопсекции, так и со стороны практических работников коопцентров.

В результате дальнейшей проработки этой темы по постановлению Бюро Коопсекции решено подготовить к печати коллективную работу о военном хозяйстве и кооперации. Нужно заметить, что подобного рода работ совершенно нет на русском языке, тогда как в империалистических странах ведется систематическая работа по приспособлению всех хозорганов, в том числе и кооперации, на случай войны, и там, особенно в странах лимитрофных, уже имеется значительная литература в этой области.

В этом же семинаре разработан ряд тем, имеющих актуальное значение для использования кооперации в деле социалистического строительства. Сюда относится тема «Методология перспективного планирования в потребкооперации», «Рочдельские кооперативные принципы в свете современной действительности».

Не менее оживленно, чем предыдущий семинар, начал свою работу в ноябре с. г. семинар по с.-х. кооперации, включивший в свою программу проработку проблемы о путях и формах производственного кооперирования, организационных вопросов строительства с.-х. кооперации, проблемы прибыли и капиталонакопления в с.-х. кооперации, методологии планирования в системе с.-х. кооперации, взаимоотношения с.-х. кооперации с другими видами кооперации, современных формах с.-х. кооперации за границей.

В работах этого семинара принимают участие, главным образом, практические работники кооперативных центров, а также слушатели Курсов кооперации и коллективизации при ЦК ВКП (б) и Кооперативных курсов Союза союзев. На заседании семинара совместно с семинаром потребкооперации заслушан доклад т. Лозового на тему «Н. И. Зибер как марксист и кооператор» и вскоре будет поставлен следующий доклад — «О тракторных колоннах».

Таким образом, в Коопсекцию влился новый отряд работников с мест — инструкторов и членов правлений, которые по окончании Курсов кооперации при ЦК ВКП (б) непосредственно возвращаются через год на работу на места.

Находя, что семинары имеют колоссальное значение в пробуждении исследовательской мысли, особенно в тех случаях, когда теоретические вопросы еще не разработаны и только поставлены в порядок дня, признано необходимым организовать специальный исследовательский семинар по теоретическим вопросам колхозного строительства. В качестве тем для такой проработки намечаются: контрольные цифры колхозного строительства на 1928/29 г.; социальная природа коллективных хозяйств; проблема укрепления колхозов; критика мелкобуржуазных и буржуазных теорий о коллективизации.

Третья проблема — укрепление колхозов — в семинаре ставится для предварительной проработки, после чего она будет подтверждена официальной дискуссией, к которой должны быть привлечены практики колхозного строительства от низов до центральных учреждений.

Кроме того, при коопсекции организован кабинет коллективизации, в котором будет вестись разработка материалов по обследованию колхозов. Перед этим кабинетом выдвигается задача выработать единую программу и единый формуляр для разработки бюджетных данных и взять на себя идейное руководство в деле разработки всего материала и непосредственное руководство разработкой материала экспедиции Комакадемии и Научно-исследов. института с.-х. экономии.

Институт мирового хозяйства и мировой политики

В конце прошлого и в начале текущего академического года Институт мирового хозяйства и мировой политики продолжал исследовательскую работу в области изучения основных проблем мирового хозяйства и мировой политики, а также проблем текущей мировой экономики и политики.

В первом квартале текущего академического года в Ин-те были заслушаны следующие доклады:

1. Кривицкий М. — Теория заработной платы в освещении германской социал-демократии. 2. Фоминов А. — Американский нефтяной трест. 3. Герценштейн А. — Большие циклы конъюнктуры. 4. Виноградов Б. — Положение на Балканах. 5. Мадьяр Л. — Положение в Китае. 6. Гай Л. — Современное поло-

жение Германии. 7. Каплан В.—Президентские выборы в САСШ. 8. Галкович М.—Тихоокеанская проблема.

Издательством Коммунистической академии были выпущены след. работы Института:

Герценштейн А.—Существуют ли большие циклы конъюнктуры? Гольман М.—Всеобщий кризис капитализма. Кривицкий М.—Теория зарплат в освещении германской с.-д. Редбуэн Г.—Индия. (Колониальная серия), а также №№ 10, 11 и 12 журнала «Мировое хозяйство и мировая политика» и «Бюллетеня» Ин-та мирового хозяйства и мировой политики.

В журнале за указанный период был помещен ряд статей, дающих читателю правильную ориентировку по всем актуальным вопросам мирового хозяйства и мировой политики. В «Бюллетене» Ин-та даются конъюнктурные обзоры мирового хозяйства по товарным рынкам и по странам. За истекший год журнал сделал большие успехи в отношении актуальности помещаемого в нем материала, а также регулярности выхода.

В текущем году Институт предполагает обратить особое внимание на повышение качества своих исследовательских работ, на теоретическую разработку основных проблем мирового хозяйства и мировой политики, на включение в план работы тех проблем, которые до сих пор не изучались Институтом, в особенности противоречий между империалистическими государствами, положения колониальных и полуколониальных стран и взаимоотношения между мировым хозяйством и СССР.

На 1929 год намечены следующие работы научных сотрудников Института:

1. Вейц В. Пути развития энергетики и энергификации мирового хозяйства и народного хозяйства СССР. 2. Эвентов Л. Экономические основы американского империализма. 3. Герценштейн А. Теория капиталистического цикла: 4. Капелюш Ф. Технические сдвиги в мировом хозяйстве после войны. 5. Горфинкель Е. Проблема сырья в мировом хозяйстве. Файнгар С. Мировой экспорт капитала. 7. Герцбах М. Международные монополистические организации. 8. Гольдштейн Ю. Экономика и политика мировой торговли после войны. 9. Тимов С. Проблема аграризации европейских стран. 10. Каплан В. Классы и партии в САСШ. 10. Иванов Л. Англо-американское соперничество. 12. Галкович М. Тихоокеанская проблема. 13. Ерусалимский А.—Послевоенная политика Германии 14. Романский А. Послевоенная экономика Франции. 15. Левенсон М. Мировая тяжелая промышленность. 16. Фоминов А. Нефтяная проблема. 17. Виноградов Б. Ленин и Коминтерн.

Все эти работы, частью начатые еще в 1928 году, выполняются штатными и внештатными сотрудниками Института под руководством тов. В а р г и; работы должны быть закончены в 1929 г. В течение 1929 года авторами этих работ будут сделаны доклады на проработанные ими темы. Секционные доклады в Институте происходят еженедельно, публичные—один раз в 2—3 месяца. Лучшие доклады будут издаваться в серии «Доклады Института мирового хозяйства и мировой политики». Все перечисленные работы будут напечатаны в течение 1929 года и 1929/30 года.

Кроме того, Институт издает ряд монографий по колониальным вопросам под редакцией Н. И. Бухарина, Е. Варги, Е. Пашуканиса и Ф. Ротштейна. В состав колониальной серии входят следующие работы:

Рубинштейн М. Особенности развития капитализма в колониальных странах. Раскольников Ф. Остатки феодализма в колониальных странах. Гай Л. Роль колоний в мировом хозяйстве. Мадьяр Л. Китай. Канторович. Манчжурия. Астахов. Корея. Редбуэн Г. Индия. Сендшеб М. Персия. Ротштейн Ф. Египет. Ефимов А. Французские колонии в Африке. Дашевский Г. Южная Америка и др. Первая работа из этой серии Г. Редбуэна «Индия» уже вышла из печати.

В ближайшее время выходит также коллективная работа научных сотрудников Института тт. Е. Горфинкеля, Т. Лоуф-Бохена, Романского и Файнгара,—на тему «Репарационная проблема» с предисловием тов. Варги. Намечено также издание ряда переводных работ.

За конъюнктурой главных стран и главных товарных рынков установлено постоянное наблюдение. Составляются сводки, диаграммы и картограммы по

динамике основных процессов мирового хозяйства. Диаграммы составляются по определенному плану, охватывают все стороны и показатели развития мирового хозяйства.

При Институте имеется архив и бюро вырезок, в котором собирается и систематизируется богатейший иностранный газетный материал по различным вопросам мирового хозяйства и мировой политики, составляется указатель журнальных статей по этим же вопросам и собираются отчеты и публикации иностранных статистических учреждений банковских и промышленных предприятий.

Институт принимает меры для объединения вокруг него всех марксистов, изучающих проблемы мировой экономики и политики в Москве и других городах СССР. В частности в текущем году намечено создать совещание по вопросам методики изучения конъюнктуры мирового хозяйства.

Институт поддерживает тесную связь с Институтом мирового хозяйства в Киле, конъюнктурным Институтом в Берлине, Гарвардским Институтом в САСШ и другими зарубежными научными учреждениями.

На ближайший квартал намечены следующие доклады.
Левинсон В. Загрузка тяжелой промышленности в САСШ. Иванов Л. Англо-американское соперничество. Файнгар, Романский, Горфинкель, Лоуф-Бохен. Репарационный вопрос. Тимов С. Правительство Маниу. А. Романский. Колониальная политика Франции. Герцбах М. Международные монополии. Вейц В. Проблема энергетических ресурсов. Ерусалимский А. Внешняя политика Германии. Лоуф-Бохен Т. Трестификация в САСШ. Арутинян А. Госкапитализм в Японии. Файнгар И. Теория экспорта капитала. Дашевский Г. Экспансия Соединенных Штатов в Латинской Америке.

Институт советского строительства

Имея своей задачей научное обобщение опыта строительства советского государства на основе теории Маркса и Ленина, ИСС сосредоточивает свою работу, главным образом, на политико-организационных проблемах наиболее актуального характера, стоящих в данное время перед нашей партией и советской властью. В 1927/1928 году ИСС поставил своей задачей подвести некоторые итоги первым трем годам политики оживления советов. Результаты работы ИСС в этом направлении оформлялись именно в отчетном полугодии (июнь—ноябрь), и в настоящее время закончено составление двух сборников «Вопросы организационно-массовой работы в деревне» и «Вопросы организационно-массовой работы в городе», находящихся в печати. На ряду с этим, ИСС в истекшем полугодии закончил или значительно продвинул вперед и разработку некоторых актуальных проблем более детального характера: вопрос о взаимоотношениях сельсовета и земельного общества (уже вышедшая работа т. Резунова), вопросы районирования (на-днях выходящая работа т. Гордона, работа т. Лужина, находящаяся в печати и работа т. т. Соколова, Крынской, Юргиной и Шкловского на тему «Хозяйственное значение районирования» заканчиваемая к 1 января 1929 г.), вопрос о волостном бюджете (работа т. т. Байбулатова и Богачева, находится в печати), вопрос о взаимоотношениях Союза ССР и союзных республик (коллективная работа, которая, будучи выполнена пока примерно наполовину, подлежит завершению в текущем академическом году). Меньше всего продвинулась вперед разработка вопроса о советском строительстве в автономных республиках РСФСР, по причине, главным образом, затруднений в собирании материалов на местах. Перечисленными проблемами, в сущности, исчерпывался план научно-исследовательской работы ИСС в 1927/1928 году, если не считать работ исторического характера, и можно констатировать, что в настоящее время этот план выполнен не менее, чем на 75%. Что касается работ Исторической комиссии ИСС, то за отчетное полугодие вышел в свет под редакцией т. Антонова-Саратовского сборник материалов «Советы в эпоху военного коммунизма» и подготовлен материал для четырех дальнейших сборников. Два из них уже сданы в печать. В настоящее время, на основе собранных материалов, Историческая комиссия ИСС уже приступила к монографической разработке соответствующих тем.

В течение летних месяцев была закончена работа по пересмотру и обновлению личного состава членов ИСС. Президиумами ЦИК СССР и ВЦИК утверждены новый список постоянных членов ИСС в составе 72 товарищей; в принятый же президиумом Ком. академии список членов-корреспондентов ИСС вошло 70 товарищей. Из числа постоянных членов и членов-корреспондентов ИСС, значащихся в новом списке, 58 человек ранее членами ИСС не состояли; из прежнего же состава членов ИСС не вошли в новый список 51 человек, фактически не участвовавших в работах ИСС. Членский состав ИСС обновлен, таким образом, примерно на 40%.

Кроме членов ИСС, из которых 27% работает на местах, Институт в настоящее время располагает и выделенными с мест 20 сотрудниками-корреспондентами; число их должно в ближайшее время увеличиться, ибо пока еще не все запрошенные Институтом республики, области и губернии откликнулись на предложение Института.

В руководящих органах ИСС произошли следующие изменения: в связи с избранием т. С. В. Косиора генеральным секретарем ЦК КП(б)У, директором ИСС назначен т. Л. М. Каганович, а на т. Косиора возложено председательствование в Совете ИСС; заместителем директора ИСС вместо т. И. И. Пахомова назначен т. Е. О. Бумажный.

В настоящее время сделан дальнейший шаг в сторону рационализации работы ИСС, расширения институтского актива и развертывания при его помощи деятельности ИСС. В ноябре месяце Бюро ИСС признало необходимым реорганизовать работу ИСС на основе установления надлежащего соответствия между структурой ИСС и кругом изучаемых в Институте вопросов советского строительства, с тем, чтобы каждая основная проблема или комплекс проблем прорабатывался особой секцией ИСС. Вместо трех ранее существовавших секций (местного управления, союзной и финансово-экономической) теперь организованы шесть секций:

- 1) советской избирательной системы и практики,
- 2) работы советов и исполкомов, с подсекциями: а) горсоветов, и обл. губ. и окр. исполкомов и б) низового советского аппарата—сельсоветов, вигов и риков;
- 3) советского госаппарата, с подсекциями: а) структуры госаппарата и б) состава госаппарата;
- 4) связи общественных пролетарских и крестьянских организаций с работой госаппарата;
- 5) районирования и
- 6) строительства Союза ССР, союзных и автономных республик, с подсекциями: а) их взаимоотношений и взаимодействия и б) внутреннего строительства нацреспублик.

На правах седьмой секции продолжает функционировать историческая комиссия ИСС.

При проведении указанной реорганизации особое внимание было обращено на то, чтобы каждая секция (и подсекция) представляла собою работоспособный коллектив не только из товарищей, уже состоящих членами ИСС, но также и из товарищей, могущих и желающих принять активное участие в разработке соответствующих проблем. В состав секции работы советов и исполкомов вовлечено, например, около 20 инструкторов ЦК ВКП (б), ЦИК и ВЦИК.

Кроме того, принято решение об издании, начиная с 1929 года, 4 раза в год сборников ИСС «Строительство советского государства», при чем первый сборник должен выйти в свет не позже 1 апреля 1929 года. Несомненно, что наличие своего органа теснее свяжет ИСС с местами и обеспечит более широкое вовлечение советской общественности в работу ИСС.

За последнее полугодие в ИСС состоялось 10 докладов: Волкова—Основные моменты развития работы вигов; Лужина—Строительство и массовая работа вигов; Сорина—Организация и деятельность городских советов, с докладом тов. Иезуитова—Городские советы рабочих поселков и заштатных городов; Игнатова—Городские районные советы, как форма участия рабочих в управлении; Кагановича Л. М.—Пере выборы советов и оживление их работы; Драбкной—Национальные взаимоотношения в автономных республиках; Богачева—Волостной бюджет; Сабирова—Избирательная кампания в автономных

республиках и нац. районах; Крынской—Проблема бюджетного регулирования в районированных областях; Диманштейна—Практика национальной политики в области просвещения.

Большинство этих докладов было заслушано на заседаниях соответствующих секций ИСС. Общественными докладами являлись лишь доклады т. Л. М. Кагановича, т. Сабирова и т. Диманштейна (последний был заслушан на собрании членов ИСС совместно с членами Комиссии по национальному вопросу Ком. академии). Эти доклады, в особенности доклад т. Кагановича, сопровождались оживленными прениями и имеют большее значение для дальнейшей углубленной проработки затронутых в них вопросов.

Научно-вспомогательная часть ИСС продолжала свою текущую деятельность. К концу академического года фонд газетных вырезок ИСС составлял 430.500 единиц, число же обрабатываемых газет с 95 к началу года возросло до 128. Обрабатываемые газеты распределялись следующим образом: газет общесоюзного значения и центральных газет союзных республик—16, газет автономных республик и областей—20, краевых и губернских—41, окружных и уездных—51. Продолжалась также начатая весной работа по обработке газет на национальных языках; обработаны 3 газеты по Казакстану и по одной газете по Башкирии, Якутии, Чувашии и Немреспублике.

Библиографическое Бюро ИСС, помимо картотеки всей книжной литературы по советскому строительству за 1928 год, составило также картотеку соответствующих статей по 46 журналам за 1927/1928 год и свело в единую картотеку весь имевшийся в секциях ИСС материал по обработке периодики, начиная с 1922 года.

Считая, что одной из основных обязанностей ИСС является содействие товарищам, непосредственно работающим на местах в области советского строительства, ИСС за отчетный период выпустил два пособия: 1) Комментарий к Положению о сельсоветах (новое переработанное издание) и 2) Комментарий к Положению о секциях сельсоветов. ИСС принимал также ближайшее участие в разработке программ и учебных планов для организуемых при ВЦИК Центральных курсов советского строительства и в предпринятой Московском работе по организации в Москве Дома советского строительства, при котором предполагается сосредоточить сеть разного рода курсов для работников советского строительства.

Секция общей теории права и государства

В соответствии с общим ростом Комакадемии растет ежегодно и масштаб работы Секции права. Быть может, в области права этот рост чувствуется сравнительно даже больше, потому что нигде так остро раньше не ощущался недостаток в марксистах-теоретиках и в «молодых кадрах». Сравнительно большие достижения этого года по Секции права об'ясняются в значительной степени именно тем, что только с этого года полным ходом заработало правовое отделение Института красной профессуры и окончательно был завоеван марксизмом Институт советского права Раниона (подразумевая его аспирантскую часть). Если раньше открытые собрания Секции, как и других учреждений Коммунистической академии, носили скорее характер лекций Академии для коммунистической молодежи, то с этого года главная масса научно-исследовательской работы и по Секции права пришла на молодежь; члены Комакадемии и заведующие секциями, главным образом, направляют и контролируют эту работу. По Секции права большой приток молодых сил несколько «компенсировался», правда, с этого года чрезвычайной нагрузкой руководителей Секции работами вне Секции; однако и теперь еще их руководящая работа носит, в общем, активный и постоянный характер.

Рост молодых кадров и, в частности, некоторое (очень незначительное, правда) увеличение штатного состава Секции отразились на всех четырех отделах ее работы: научно-исследовательском, издательском, по обследованиям и по консультации законодательства.

В отделе научно-исследовательской работы этот год позволил несколько урегулировать продукцию Секции путем выделения пяти подсекций, руководимых

отдельными членами бюро: общей теории права, истории права и политических учений, государственного строя современных буржуазных государств, гражданского права и процесса и уголовного права и процесса.

Научно-исследовательская работа.

1927/28 академический год был закончен двумя докладами. 12-го июня состоялся секционный доклад т. Старосельского, Я. В., на тему «Великая французская революция в немецкой философии права».

19-го июня на открытом заседании Секции был заслушан совместный доклад т. Раус-Зеньковича и т. Вольфсона на тему «Арбитражные комиссии и система советского суда». В основу доклада были положены материалы обследования РКИ. Доклад вызвал крайне оживленные прения и ряд откликов в журналах и ежедневной прессе.

В текущем же академическом году состоялось четыре доклада:

4-го октября т. Пашуканис и т. Разумовский сделали совместный общеакадемический доклад на тему «Новейшие откровения Карла Каутского по поводу его работы «Материалистическое понимание истории». Доклад выходит отдельной брошюрой.

30-го октября и 9-го ноября т. Гершельман сделал доклад о «Правовом укладе народов Алтая». В основу доклада легли работы экспедиции КУТВ 'а и работа т. Гершельмана на Алтае в 1928 году.

13-го ноября в Секции сделал доклад т. Ширвиндт на тему «Итоги 1-го всеобщего совещания пенитенциарных деятелей и реформа УК». Доклад т. Ширвиндта выявил необходимость для Секции заняться вопросом о методах и постановке изучения преступности в СССР.

23-го ноября состоялся открытый доклад т. Крыленко—«Основные принципы пересмотра Уголовного Кодекса РСФСР», в обсуждении которого приняли участие практические работники суда и прокуратуры.

Издательская работа.

За отчетный период Секция выпустила три номера «Революции права».

Кроме журнала, Секцией выпущен перевод кн. Саньяка—«Гражданское законодательство французской революции» с предисловием т. Стучка, П. И., книга т. Стальгевича, А. К.—«Пути развития советской правовой мысли. Находятся в печати книга Е. Б. Пашуканиса и И. П. Разумовского—«Новейшие откровения Карла Каутского, вторая часть курса гражданского права П. И. Стучка и книга Даль-Пане—«Марксистская концепция права» Заканчивается редактирование перевода книги Ориу—«Основы публичного права» и переводится вторая часть книги Острогорского—«Демократия и политические партии».

Обследование правового быта.

Из отдельных работ следует отметить обследование правового быта. По обследованию уже получено 99 анкет, из них 49 московских, остальные же из провинциальных фабрик и заводов. В Секции состоялось три заседания группы по обследованиям, на которых был выработан план и методология разработки и персонально намечены товарищи по темам. Уже составлены сводные таблицы по общим данным, характеризующие обследование предприятия в целом.

По обследованию революционных изменений в правовом укладе национальностей разослано 400 анкет, и, кроме того, по заданию Секции участником экспедиции КУТВ 'а на Алтай, т. Гершельманом, проведено обследование революционных сдвигов в правовом укладе народностей Алтая.

Связь с учреждениями и организациями.

В деле установления тесной связи и размежевания деятельности со смежными учреждениями Секции удалось самым тесным образом связаться с Институтом советского строительства Комакадемии и значительно подвинуть вперед вопрос по увязке и разграничению деятельности с Институтом советского права Раншона.

Кроме всего этого, необходимо выделить две работы подсекции государственного строя современных государств: а) изучение революционного использования парламентаризма, б) изучение преследования рабочего и революционного движения. Конечно, обе эти работы рассчитаны не на один год и не только на силы Секции. В настоящем академическом году Секция приступает к собиранию материалов и их систематизации и вырабатывает конкретный план коллективных научно-исследовательских работ по этим темам. В дальнейшем, предполагается, что разработкой этих тем должны будут заняться специальные кабинеты.

Необходимо также отметить, что из научных сил, группировавшихся и работавших в Секции права и государства, ряд работников был выдвинут Секцией на педагогическую работу в I МГУ и другие вузы (ВЮК, Межевой институт, Менделеевский институт, Свердловский ун-т и др.). Таким образом, научная работа Секции в этом году была тесно увязана с педагогической деятельностью в наших вузах. Персонально эту работу ведут товарищи: Амфитеатров, Булатов, Дзенис, Климов, Кузьмин, Павлов, Резунов и Стальгевич.

Комиссия по изучению национального вопроса

Работа Комиссии по изучению национального вопроса в соответствии с общими задачами Комиссии разворачивается в течение последних месяцев по следующим главным линиям:

В области теории национального вопроса Комиссия проделала ряд работ по критике современного реформизма в национальном вопросе. Так, подготовлен доклад т. Новикова «Современная социал-демократия и национальный вопрос» и кроме того во внеплановом порядке собраны и подготовлены к печати материалы по антиленинским, главным образом социал-демократическим, течениям в национальном вопросе.

Основной национальной проблемой в СССР, нуждающейся в теоретическом освещении, является проблема ликвидации экономического неравенства народов СССР, на основе социалистического переустройства их хозяйства. В связи с этим Комиссией предусмотрено в ближайшее время поставить ряд докладов и работ по вопросу об индустриализации отсталых национальных окраин (т. т. Гринько, Таболов) и о социалистическом переустройстве восточной деревни и кочевьего хозяйства (т. т. Зелькина, Ваннэ).

По вопросам практики национального вопроса в СССР после осеннего возобновления работ Комиссией было поставлено два доклада, посвященных вопросам практики национального строительства в СССР: доклад т. Дракониной «Проблема национальных взаимоотношений в автономных республиках РСФСР» и доклад т. Диманштейна «Практика национальной политики в области просвещения».

Кроме того совместно с Секцией права проводится анкетное обследование социальных и правовых изменений среди восточных народов СССР в связи с революцией.

В области национального вопроса за советским рубежом ведется работа по изучению национального вопроса на Ближнем и Среднем Востоке (т. Левин).

По вопросам истории национального вопроса Комиссией собраны и подготовлены к печати материалы по национальному вопросу в России в период Временного правительства (1917 г.). Эти материалы освещают национальную политику большевиков, российских буржуазных и соглашательских партий, национальное движение среди западных и восточных народов России и охватывают собою Финляндию, Украину, Латвию, Литву, Латгалию, Эстонию, Белоруссию, Татарию, Народы Поволжья, Башкирию, Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию. Вводные статьи к сборнику этих материалов дают классовый анализ национального движения отдельных народов и освещают национальную политику Временного правительства и российских и национальных партий.

Для собирания этих материалов кроме основной работы, производившейся в архивах и книгохранилищах в Москве, были организованы соответствующие работы на местах, где собирались материалы по заданиям Комиссии. В частности работа велась в Казани, Бурятии, Владикавказе и Ленинграде.

В настоящее время Комиссия приступает к работе по охвату периода гражданской войны 1917—1921 гг. Параллельно собиранию материалов, научным сотрудником Комиссии т. Драбкиной производится разработка темы «Аграрная политика националистических правительств в эпоху гражданской войны».

Одновременно со всеми этими работами Комиссией предпринято издание *библиографии послевоенной литературы по национальному вопросу* на русском и важнейших иностранных и национальных языках, в связи с чем производится работа по выявлению, описанию и аннотированию этой литературы.

Наряду с библиографией Комиссией поставлен также ряд других работ, преследующих аналогичную цель: создание предпосылок для *оформления теории национального вопроса как научной дисциплины* и как предмета систематического изучения и преподавания. В связи с этим Комиссия готовит к печати методическое руководство по изучению национального вопроса, а также хрестоматию по национальному вопросу, имеющие в виду удовлетворение насущных потребностей вузов и комвузов, в особенности национальных.

Секция методологии истории

В текущем периоде основной работой Секции истории революционного движения, ныне слившейся с Методологической социологической секцией и реорганизованной в Секцию методологии истории, явилась подготовка юбилейного издания «Избранных сочинений» Н. Г. Чернышевского. Секция подготовила первый том сочинений Чернышевского, в который вошли его исторические работы, сконцентрированные на двух крупнейших вопросах, оказавших огромное влияние на революционное мировоззрение Чернышевского: крестьянский вопрос в России и революционная Франция 1-й пол. XIX века. Первый вопрос представлен в историческом томе работами: «Труден ли выкуп земли?», «Материалы для решения крестьянского вопроса», «Письмо без адреса», Воззвание «Барским крестьянам», «Studien Гакстгаузена». Вторая проблема освещена в работах: «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия» и «Кавеньяк». Объем тома настолько разросся, что пришлось отказаться от включения других, ранее намеченных работ—например, политических обзоров Н. Г. Чернышевского. Те же причины не позволили дать аппарат примечаний в полном, развернутом виде. Но все же том снабжен около 600 примечаний и обширным словарем—указателем имен. Секция стремилась принять при этом в качестве прототипа 2-е и 3-е издание сочинений Ленина. При подготовке издания Секция сотрудничала с Домом-музеем им. Чернышевского в Саратове, откуда получила точные копии корректур и рукописей Чернышевского, сверенные с подлинником внучкой Н. Г. Чернышевского Н. М. Чернышевской-Быстровой. В результате этой работы восстановлено около *четырёхсот* купюр и разночтений, ясно показавших, что до сих пор мы не знали подлинного Чернышевского, а имели лишь искаженный царской цензурой текст.

В частности на основании сверки с архивным подлинником, хранящимся в одном из московских архивов, удалось установить более точный текст известной прокламации «Барским крестьянам».

Над томом работали сотрудники секции М. В. Нечкина и А. Н. Штраух. Кроме того, под руководством секции и по тому же принципу велась работа над IV и V томами избранных сочинений, в которые войдут: критико-литературные и художественные работы. Оба тома подготовлены к печати тов. Щелкановым под ред. А. В. Луначарского и сданы в печать. Одна из крупнейших работ IV тома, «Очерки Гоголевского периода», подготовлена к печати проф. Саратовского университета т. Бушем.

Комиссия по истории религии

Комиссия по истории религии была образована под руководством покойного т. М. А. Рейснера в апреле 1928 г. В состав ее вошли т. т. Покровский, М. Н., Лукин, Н. М., Ярославский, Е. М., Степанов-Скворцов, И. И., Красиков, П. А., Преображенский, П. Ф., Никольский, В. К., Рожицын, В. С., Капелюш, Ф. Д.,

члены Научно-методического совета при Исполбюро Союза безбожников—т. т. Лукачевский, А. Т., Шейнман, М. М., Путинцев, Ф. М., Гурев, Г. А., Румянцев, Н. В., и Урсынович, С. Л. В дальнейшем в члены комиссии были избраны также т. т. Бонч-Бруевич, В. Д., Саратьянов, В. Н., Тальгеймер, А. И., Шмонин, С. М., и Ерусалимский, А. С. Руководство работами Комиссии было возложено на Бюро Комиссии в составе председателя т. М. А. Рейснера, членов—т. т. Лукачевского и Рожицына и секретаря Р. А. Авербух. Комиссия предполагала увязать свою работу с деятельностью Общества историков-марксистов, куда Комиссия и направила план своих работ.

Вырабатывая этот план, Комиссия ставила себе следующие задачи: 1) научную разработку вопросов религии в духе марксистской методологии, 2) содействие подготовке преподавательских сил для проведения в жизнь постановления XII съезда партии о преподавании истории религии во всех комвузах, 3) повышение квалификации антирелигиозных работников, 4) обследование религиозных верований и обычаев народов СССР.

Для достижения этих целей Комиссия считала необходимым: 1) установление связи с научными и общественными организациями, 2) обследование и учет библиотек упраздненных монастырей и церковных организаций, 3) создание библиографической картотеки по вопросам религии, 4) организацию семинария, курсов и лекций для антирелигиозных работников, 5) организацию экспедиций и командировок для обследования религиозной жизни, главным образом, украинских народностей, установление связи с краеведческими учреждениями для участия в экспедиции этих учреждений, а также обследование этнографического материала московских музеев, 6) издательскую деятельность.

В сентябре 1928 г. Комиссия понесла тяжелую потерю в лице основателя и руководителя Комиссии—т. М. А. Рейснера, и выработанный под его руководством план Комиссии пришлось проводить в жизнь уже без его авторитетного содействия.

Научно-исследовательская деятельность Комиссии в отчетном году предполагает охватить собой работы по социально-классовому освещению религиозных течений современности, а также разработку ряда тем по происхождению религии и, в частности, по происхождению христианства.

Первая из намеченных работ—коллективный доклад т. т. Саратьянова, Путинцева и Шейнмана—«Социальные корни религиозности в СССР»—состоялся 4/XII—28 г. и вызвал большой интерес среди антирелигиозных работников. В цикле «Религиозные течения современности» намечены доклад т. Путинцева—«Идеология современного сектанства», доклад т. Урсыновича—«Религия туземных народностей Сибири и Северо-Востока РСФСР», доклад т. Авербух—«Религиозные течения в белой эмиграции», доклад т. Шейнмана—«Социал-демократия и религия» и доклады т. Капелюша: 1) «Христианский социализм», 2) «Современные религиозные течения Америки». В цикле «Происхождение религии и происхождение христианства» намечены доклад т. Никольского—«Обзор западно-европейской литературы по вопросу о происхождении религии», доклад т. Лукачевского—«Религия и магия», доклад т. Рожицына—«Социально-политическая основа мифологии», совместный доклад т. Преображенского и Урсыновича—«Социально-экономические причины возникновения христианства», т. Румянцева: 1) «Античные предшественники христианства», 2) «Древнейшая антихристианская литература», т. Лукачевского—«Ранняя христианская литература», т. Урсыновича—«Возникновение церковности и теократии» и доклад т. Капелюша—«Религия и ранний капитализм».

Для научной подготовки антирелигиозных работников Комиссией был организован *семинарий по истории религии*. Слушатели семинария были командированы Московским советом союза безбожников из числа лекторов-пропагандистов районных советов безбожников, в большинстве своем прошедших уже районные или губернские семинарии и курсы. Общее число командированных—35 человек.

Первый 16-часовой курс—«Происхождение и развитие христианства»—был проведен под руководством т. Урсыновича в ноябре—декабре 1928 г. Курс состоял из 4 занятий и заключительной конференции, на которой коллективно были выработаны тезисы, резюмирующие следующие проработанные темы: 1. Миф о Христе, 2. Разбор марксистских теорий о причинах происхождения хри-

стианства. 3. Гностицизм, 4. Вхождение в христианство состоятельных классов и возникновение церковной организации, 4. Христианство и митраизм, 5. Союз церкви с государством. Христианство эпохи вселенских соборов.

В непосредственной связи с проведенным курсом на семинарии будут прочитаны 2 лекции: т. Румянцевым—«Античные предшественники христианства» и т. Ерусалимским—«Позднее иудейство и его отношение к христианству».

Во втором семестре 1928/29 г. в семинарии тов. Лукачевским будет проведен курс по «Общей теории религий» и т. Никольским—«Происхождение и развитие религий».

Опыт проведенного семинарского курса показал, что некоторые лица из среды слушателей семинария достаточно подготовлены для самостоятельной работы, вследствие чего Комиссия предложила им разработать тему по вопросам религии для доклада на закрытом заседании Комиссии.

Что касается других намеченных в плане работ Комиссии, то она предполагает издание сборника своих работ и распределила среди своих членов составленные библиографической картотеки по вопросам религии в количестве 8.000 карточек.

Институт философии

Для об'единения всей научно-исследовательской работы по философии в одном научном учреждении постановлениями президиума Коммунистической академии и президиума РАНИОН'а проведено слияние Института научной философии РАНИОН'а и Философской секции Коммунистической академии в единый научно-исследовательский Институт философии Коммунистической академии.

Институт философии Коммунистической академии будет центром научно-исследовательской работы в области философии, исторического материализма и диалектики естествознания. Институт об'единяет в рядах своих действительных членов, научных сотрудников и членов-корреспондентов, все основные научные марксистские силы, работающие в этих областях.

Для организации научно-исследовательской работы Институтом организуются следующие секции: 1) секция диалектического материализма, 2) секция истории философии, 3) секция современной философии, 4) секция исторического материализма, 5) секция диалектики естествознания.

Для руководства работой Института философии утверждено правление Института в следующем составе: т. т. Адоратский, В. В., Деборин, А. М., Гессен, Б. М., Карев, Н. А., Кривцов, С. С., Луппол, И. К., Подволоцкий, И. П., Стэн, Я. Э. Директором Института утвержден т. Деборин, А. М., ученым секретарем Института—т. Подволоцкий, И. П.

Для руководства работой секций утверждены бюро секций в следующем составе:

Секция диалектического материализма: Деборин, А. М., Карев, Н. А., Подволоцкий, И. П.

Секция истории философии: Деборин, А. М., Луппол, И. К., Рудаш, В. В., Секция современной философии: Асмус, В. Ф., Баммель, Г. К., Стэн, Я. Э.

Секция исторического материализма: Адоратский, В. В., Кривцов, С. С., Максимовский, В. Н., Разумовский, И. П.

Секция диалектики естествознания: Гессен, Б. М., Левин, М. Л., Максимов, А. А.

Секция литературы, искусства и языкознания

В Секции литературы и искусства до осени 1927 г. работа велась главным образом по освещению общих проблем марксистского искусства и литературоведения. Работа производилась в одном коллективе, который выдвигал и ставил на обсуждение перед широкой аудиторией те или другие актуальные проблемы в разных областях искусства. С осени 1927 г. производится дифференциация работы Секции путем организации рабочих коллективов по отдельным отраслям

литературы и искусства. С этого времени при Секции организованы следующие комиссии, которые теперь переименованы в подсекции: подсекция критиков-коммунистов, подсекция по изучению революционного и пролетарского искусства Запада, подсекция по изучению проблем современного искусства, подсекция по изучению литератур народов СССР, подсекция марксистского театроведения и подсекция материалистической лингвистики. Организуется также кабинет пролетарской литературы и кабинет материалистической лингвистики.

Работа в комиссиях в прошлом велась главным образом путем открытых докладов и диспутов. С осени 1928 г., когда подсекции окончательно оформились и сложились, когда во всех подсекциях составлены планы работ, опирающиеся на углубленную научно-исследовательскую работу рабочих коллективов, изменились также методы самой работы.

Теперь работа ведется главным образом в самих подсекциях, в них ставятся доклады в порядке исследовательской работы. И только результат работы подсекций и наиболее актуальные проблемы современного искусства и литературоведения выносятся на широкое обсуждение советской общественности. Таким образом достигается углубленная и всесторонняя проработка отдельных проблем в более узком кругу специалистов и связь с советской общественностью через широкие доклады на актуальные проблемы современности. Так же, как в прошлом году, Секция ставит своей задачей по мере возможности обслуживание своими докладчиками рабочего и партийного актива по районам Москвы и выезд ответственных работников Секции с докладами в провинцию.

С осени 1928 г. президиумом Комакадемии организационно закреплен актив работников Секции, утверждено Бюро секции в составе: Зав. Секцией В. М. Фриче, зам. зав. П. М. Керженцев, члены: В. Ф. Переверзев, П. И. Лебедев-Полянский, И. М. Нусинов, ученый секретарь А. Я. Запrowsкая. Утверждены также бюро подсекций, в следующем составе: 1) подсекция критиков-коммунистов—предс. Керженцев, зам. предс. Беспалов, уч. секр. Григоренко, 2) подсекция революционной и пролетарской литературы Запада—предс. Фриче, уч. секр. Динамов, 3) подсекция литературы народов СССР—предс. Смидович, уч. секр. Аршаруни, 4) подсекция ИЗО—предс. Маца, зам. предс. Курелла, уч. секр. Михайлов, 5) подсекция марксистского театроведения—предс. Новицкий, зам. предс. Плетнев, уч. секр. Семенова, 6) подсекция материалистической лингвистики—предс. Академии Марр, зам. предс. Фриче, уч. секр. Аптекарь.

В качестве совещательного органа президиумом Комакадемии утвержден Совет Секции, состоящий из бюро Секции и бюро всех подсекций. Совет Секции собирается для обсуждения плана работы всей Секции и для постановки на проработку в отдельных подсекциях общих для всей Секции проблем.

Исходя из теперешнего обострения классовой борьбы на идеологическом фронте, Секция в плане работ этого года наряду с научно-исследовательским изучением отдельных проблем литературы, искусства и языкознания выдвинула по всем подсекциям в качестве актуальной задачи разработку тех проблем искусства и литературы, которые являются сейчас животрепещущими вопросами партийной политики в области искусства и литературы.

Выполнение этого плана уже начато в этом полугодии. Был поставлен открытый доклад В. М. Фриче «О правых тенденциях в современной литературе и задачи критики», вызвавший живой обмен мнениями. Этот доклад является вводным докладом разрабатываемой подсекцией критиков-коммунистов проблемы «О правых тенденциях в современной литературе». Из докладов по этой проблеме был заслушан на закрытом заседании подсекции критиков-коммунистов доклад т. Малахова на тему «Возрождение мелкобуржуазной идеологии в современной поэзии». Из этого цикла в ближайшее время на заседаниях подсекции критиков-коммунистов предполагается заслушать следующие доклады: докл. Брейтбурга «Литература о Толстом», докл. Бескина «О правых крестьянских писателях», доклад Цейтлина «Пант. Романов как эпигон поместного стиля», доклад Ермилова «Ново-буржуазная кулацкая литература», доклад Гельфанда «Элементы буржуазного стиля в современной литературе». Кроме этих докладов, предварительная проработка которых предполагается на закрытых заседаниях подсекции коммунистов-критиков, в ближайшее время предполагаются следующие открытые доклады этой подсекции: докл. т. Керженцева «Основы литературной политики»,

доклад В. М. Фриче «Психология и рационализм в современной пролетарской литературе».

Доклады на современные актуальные темы проведены также по другим подсекциям. В подсекции по изучению проблем современного искусства заслушан доклад т. Михайлова «Правые тенденции в изобразительном искусстве и в изобразительной критике»; в подсекции марксистского театроведения заслушан доклад т. Новицкого «Социология юбилея Художественного театра». Последний доклад явился актуальным в том смысле, что в связи с юбилеем Художественного театра многие критики нашей печати забыли марксистски-критически отнестись к Худ. театру, находя в его деятельности только достижения, что привело к беспринципному восхвалению театра.

Под ещ и мар к того театроведения сорганизовалась при Секции только осенью с. г. Ею составлен план работы, согласно которому она ставит своей задачей углубленное и систематическое изучение вопросов театра с точки зрения диалектического материализма и намечает свою работу по следующим разделам: 1) Театральная критика, 2) Режиссура, 3) Драматургия, 4) Оформление спектакля, 5) Работа актера, 6) Театральная музыка, 7) Экономика и организация театра. По каждому разделу создается специальная комиссия. К работе приступили пока четыре первые комиссии.

В подсекции по изучению литератур народов СССР поставлена как актуальная проблема борьба с националистическими тенденциями в литературе народов СССР, а также продолжение начатой активной борьбы с антимарксистскими и псевдомарксистскими выступлениями в русской и национальной печати. За истекшее время подсекцией разработан детальный план этой работы и состоялось несколько заседаний национальных групп при подсекции.

В подсекции по изучению пролетарской и революционной литературы Запада поставлена разработка проблемы стиля пролетарской рабочей литературы Запада. В этом плане заслушан на подсекции доклад тов. Шиллера «Корни рабочей литературы Германии в XIX в». В ближайшем будущем к заслушиванию предполагаются следующие доклады: т. Динамова «Литература шахтеров в Англии», т. Запровской «Социал-демократическая рабочая литература в Германии», т. Бернацкого «Развитие польской пролетарской литературы». Подсекция предполагает в конце года издать сборник своих работ, где будет собран тот, нигде еще неразработанный материал по истории пролетарской литературы Запада, который проработан подсекцией в течение двухлетней работы.

Подсекция материалистической лингвистики. Подсекция для разработки проблем материалистической лингвистики сорганизовалась в сентябре 1928 г. Основными своими задачами подсекция материалистической лингвистики поставила следующую: 1) систематическая проверка различных лингвистических теорий с точки зрения марксизма и отбор всего ценного в исследованиях лингвистов не-марксистов; 2) последовательная научная критика систем и методологии различных не-марксистских лингвистических учений и решительная борьба со всеми анти-материалистическими направлениями в области лингвистики; 3) специальное исследование и разработка воззрений и отдельных высказываний основоположников и классиков марксизма по вопросам языкознания, а также систематическое изучение постановки лингвистических проблем в марксистской литературе; 4) систематическое изучение и углубление всех вопросов языкознания с точки зрения диалектического материализма в целях коллективной разработки марксистской лингвистики.

Таким образом, целью деятельности подсекции материалистической лингвистики является установление и изучение принципов материалистической диалектики в явлениях языка и борьба с идеализмом в лингвистике.

Нужно отметить, что эти задачи выдвигаются самой жизнью, самим процессом развития современной лингвистики, которая, в трудах акад. Н. Я. Марра и его школы, подошла вплотную к марксистской методологии. Уже в настоящее время созданная Н. Я. Марром яфетическая теория, как общее учение об языке, по своим принципам, методам и материалам оформляется как весьма близкое к марксизму лингвистическое направление.

Этот процесс развития марксистской научно-исследовательской мысли в языкознании пойдет, бесспорно, несравненно быстрее и успешней,

когда вместе с яфетидологами за дело возьмутся и марксисты-методологи и социологи.

За последний квартал 1928 г. были заслушаны следующие доклады: Яковлев Н. Ф.—«Проблема диалектики развития слов в связи с развитием значений».

Протасов И. Ф.—«Проблемы письма и письменности в марксистском языкознании».

Дмитриев-Кельда И. Д.—«Происхождение языка».

В дальнейшем центральной явится работа трех тематических групп для изучения следующих вопросов: 1) общественные формации и стадийность развития речи, 2) мышление и речь и 3) методология лингвистики.

Коллективная работа всех членов и сотрудников подсекции материалистической лингвистики будет направлена также на подготовку к составлению лингвистического словаря, аннотированной библиографии лингвистической литературы, а также на выборку и составление свода всего высказанного в сочинениях марксистов по вопросам языка и лингвистики. Здесь же предполагается приступить к систематическому описанию всех языков мира. Само собой разумеется, что работа подсекции в части всех этих крупнейших научных предприятий рассчитана не на один только 1928—29 г., а на ряд лет.

На ближайшее время намечен целый ряд докладов.

В начале работы этого года (с осени) предполагалось начать по всем подсекциям коллективную работу по изучению массового потребителя искусства. За отсутствием средств к этой работе приступила только подсекция по изучению проблем современного искусства. Она уже начала разработку анкетного материала и надеется провести несколько обследований крупнейших клубов, выставок и музеев. В этой подсекции поставлено также как вспомогательная проблема изучение художественного рынка в целях борьбы с халтурой и безвкусицей. Ряд материалов по этому вопросу уже собран подсекцией и будет продемонстрирован при соответствующем докладе.

В области связи Секции с провинцией и обмена опытом научной работы состоялась поездка В. Ф. Переверзева в Ленинград с докладом «Формализм на пути к социологизму». Предполагаются поездки В. М. Фриче в Харьков, П. М. Керженцева на Урал и Украину, П. И. Лебедева-Полянского в Смоленск, И. М. Беспалова в Киев.

Секция принимает с этого года активное участие в практической художественной жизни. Уже выделен ряд представителей в художественные советы московских театров и предполагается выделение таковых во все театры гор. Москвы. Секция имеет также своих представителей в ряде советов художественных музеев изящных искусств.

ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Философская Энциклопедия, готовящаяся Институтом философии Коммунистической академии, ставит своей задачей дать систематическое научное исследование основ марксистского мировоззрения: исследование проблем диалектического материализма, исторического материализма, диалектики естествознания, а также марксистское исследование истории философии и критику современной философии и социологии.

Такая работа является абсолютно необходимой. Она выдвигается всем ходом социалистического строительства и теми задачами, которые стоят перед марксизмом в культурной революции.

Одним из основных моментов культурной революции является преодоление буржуазного мировоззрения марксистским мировоззрением, революция в области методологических основ современного научного знания.

Современные науки находятся под влиянием буржуазной философии и буржуазной идеологии вообще. Буржуазное мировоззрение и прямой классовый интерес буржуазии более всего отражаются в буржуазных общественных науках. Но и естественные науки, поскольку ученые руководствуются принципами буржуазной философии, содержат в себе моменты идеализма и метафизики. Еще Энгельс обращал внимание на то обстоятельство, что в естественных науках имеется противоречие между положительным содержанием наук и их метафизическим методом, ибо естествоиспытатели подходят к синтезу диалектических по своему существу результатов, добытых естествознанием, с противоречащим им метафизическим методом. Отсюда кризис логических основ современного естествознания, кризис метафизической методологии, что, при невозможности для буржуазных ученых подняться прямо и сразу от метафизического к диалектическому материализму, привело к кризису современного естествознания, к различным идеалистическим течениям в нем. Выход естествознания из кризиса, преодоление идеализма в нем возможно лишь через преодоление диалектическим материализмом буржуазных философских основ современной науки.

Таким образом, марксистское мировоззрение, являющееся итогом всего исторического развития практики, конкретных научных знаний и философии, должно преодолеть буржуазное мировоззрение во всех его формах—преодолеть религию, буржуазную философию, буржуазную общественную науку, идеалистические и метафизические моменты в современных естественных науках и т. д. Классовая борьба с капитализмом будет иметь одним из своих фронтов—фронт идеологии.

Перед марксизмом стоит задача методологического обоснования наук, создание сознательно-диалектического

естествознания. «Мы должны понять,—писал Ленин,—что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мирозерцания».

Вместе с тем, необходимо дальнейшее развитие научных знаний на основе марксизма. В области общественных наук революция выдвигает совершенно новое поле для научного исследования: исследование общественных отношений переходного периода, проблем социалистического строительства, планирования и т. п. В области естествознания имеется целый ряд крупнейших проблем, противоречий, разрешимых только на основе диалектического материализма.

Марксисты, работающие в области конкретных наук, все более убеждаются в том, что без серьезного знания философии они не могут вести теоретическую работу в своей собственной области.

Задачи, стоящие перед марксизмом в области теории, выдвигают на первый план разработку марксистской философии—диалектического материализма.

Вместе с тем необходимость разработки марксистской философии и марксистской теории вообще выдвигается самим социалистическим строительством. Строительство новых общественных отношений в условиях сложнейших противоречий и напряженной борьбы, международная революционная борьба требуют от всех активных участников сознательного, научного, марксистского подхода ко всей практической работе. Марксизм является необходимым руководством в практической деятельности. Политика пролетариата, являющаяся научной политикой, должна быть неразрывно связана с философскими основами марксизма.

Поэтому изучение теории марксизма принимает в СССР невиданно широкий размах. В марксистских кружках, на фабриках и заводах, в совпартшколах, на рабфаках, в воскресных университетах, комвузах, вузах, по системе заочного обучения и в самостоятельных занятиях теория марксизма изучается широкими массами.

Таким образом, широкие слои партии и трудящихся масс, ведущие теоретическую работу или принимающие активное участие в строительстве социализма, чувствуют настоятельную необходимость в серьезной методологической подготовке для успешного проведения своей работы. Отсюда широкий интерес к проблемам философии, требование серьезного, систематического изложения марксистского метода.

Философская Энциклопедия ставит своей задачей дать систематическую научную разработку марксистской философии—диалектического материализма, марксистское исследование истории философии и критику современной философии, а также разработку исторического материализма и диалектики естествознания. Соответственно этому Энциклопедия делится на пять отделов.

1. Первый отдел Энциклопедии посвящен диалектическому материализму. Отдел содержит систематическое изложение теорий познания диалектического материализма, критику идеализма, критику формальной, математической и индуктивной логики, исследование развития логических форм мысли и систематическое изложение категорий материалистической диалектики.

2. Второй отдел посвящен истории философии. Исследование истории философии необходимо для понимания генезиса марксистской философии и процесса исторического развития мышления. Каждая философская система являлась наивысшим, для своего времени, синтезом конкретных научных знаний и общественной идеологии, вырастающей на базе данных общественных отношений. Поэтому история философии должна быть рассмотрена в связи с историей социальных отношений и историей развития конкретных научных знаний. До сих пор еще нет марксистского исследования истории философии. Философская Энциклопедия и ставит своей задачей дать первое марксистское исследование истории древней, средневековой и новой философии. Отдел, посвященный истории философии, дает исследование всех философских систем и направлений.

3. Третий отдел посвящен новейшей и современной философии. Марксизму предстоит борьба против буржуазного мировоззрения, буржуазной философии. Буржуазная философия влияет на современную науку. Ревизионизм руководствуется принципами буржуазной философии. Поэтому борьба против буржуазной философии необходима для преодоления идеализма и метафизики в науках, преодоления теоретических основ ревизионизма буржуазной идеологии вообще. Отдел, посвященный современной философии, содержит исследование и критику новейшей и современной буржуазной философии: неокантианства, неогегельянства, эмпириокритицизма, прагматизма, интуитивизма, гуссерльянства, позитивизма, реализма и т. д. В этом же разрезе дается критика философских основ идеологии современной социал-демократии. Кроме того, дается исследование по современной марксистской философии на Западе и истории русской философии.

4. Четвертый отдел посвящен историческому материализму.

Перед марксизмом стоит задача окончательного преодоления буржуазной социологии, буржуазных общественных наук вообще и вместе с тем — дальнейшего развития марксистских общественных наук. Для последних открылось теперь, как мы уже указали, новое поле исследования: исследование эпохи пролетарских революций и диктатуры пролетариата, исследование социалистического строительства, экономических и других общественных отношений переходного периода и т. п. В то же время необходимость научного, марксистского подхода ко всем практическим задачам обусловлена самим характером социалистического строительства. Все это выдвигает систематическое исследование диалектики общественного развития, — исследование проблем исторического материализма. В отделе исторического материализма дается систематическое исследование проблем исторического материализма и научного коммунизма, исследование исторического подготвления научного коммунизма и исторического материализма, а также критика ревизионизма и основных направлений буржуазной социологии.

5. Пятый отдел посвящен диалектике естествознания.

Естествознание переживает в настоящее время кризис, являющийся прежде всего кризисом его методологических основ. Выход из кризиса — в марксистском методологическом обосновании естествознания. Это выдвигает необходимость разработки методологических основ естествознания — диалектики естествознания. Разработка диалектики естествознания подтверждает вместе с тем правильность диалектического метода и диалектический характер результатов современ-

ного естествознания. Отдел, посвященный диалектике естествознания, содержит исследование диалектики математики, диалектики неорганических наук и диалектики биологии, с изложением принципов и основных понятий этих наук, взаимоотношения между основными дисциплинами в них, происхождения и развития основных взглядов наук в связи с развитием философии и обратного влияния этих взглядов на философию, современные направления в науках, значение и границы приложения принципов конкретных наук.

Каждый из пяти отделов Энциклопедии будет представлять из себя систематическое изложение своего предмета. Кроме того, по каждому отделу будет составлен предметный и именной указатель, что даст возможность пользоваться Энциклопедией, как справочником.

К участию в работе Энциклопедии привлекаются все действительные члены, научные сотрудники и члены-корреспонденты Института философии, все основные марксистские силы, ведущие научно-исследовательскую работу в области философии, исторического материализма и методологии естествознания, а также ряд крупных ученых специалистов по отдельным проблемам.

Работой философской энциклопедии руководит общая редакция энциклопедии в следующем составе: тт. Деборин А. М., Гессен В. М., Карев Н. А., Кривцов С. С., Левин М. Л., Лунцол И. К., Подволоцкий И. П., Рудащ В. В., Стэн Я. Э.

Размер энциклопедии намечается в 7—8 томов по 60—65 печ. листов каждый том. Издание рассчитано на 4 года.

ОТДЕЛ I

ПЛАН ТОМА ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ

I. ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ В МАРКСИЗМЕ (2 л.)

II. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ

1. Материализм и идеализм как основные направления в философии (1 л.)
2. Критика идеализма: а) феноменализма, б) критицизма, в) интуитивизма, г) объективного идеализма (2 л.)
3. Проблема материи.
4. Проблема времени и пространства (1 л.)
5. Психологическая проблема: а) критика рациональной и эмпирической психологии (1½ л.); б) рефлексология и психология (1 л.); в) фрейдизм (1½ л.)

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

1. Диалектика и формальная логика. Критика законов формальной логики. Критика формально-логического учения о понятии, суждении и умозаключении (2 л.)
2. Критика принципов математической логики (1 л.)
3. Индуктивная логика и рассмотрение ее принципов (1 л.)
4. Развитие логических форм мысли: а) мышление и речь (1½ л.); б) дологическое мышление (1½ л.)

5. Категории мышления и исторический процесс познания:
а) абсолютная, относительная и объективная истины; диалектика субъекта и объекта; практика; теория познания в диалектическом мировоззрении; б) основные этапы в истории логики (5 л.).
6. Законы материалистической диалектики. Основные законы: а) проблема движения и его противоречивости (2 л.); б) переход количества в качество и обратно; мера (2 л.); в) роль статистического метода в научном исследовании (1 л.); г) сущность и явление; соотносительные категории сущности; проблема закона (2 л.); д) отдельные категории: 1) проблема случайности (1 л.), 2) причинность и телеология (2 л.), 3) часть и целое (1 л.), 4) форма и содержание (1 л.); е) закон отрицания отрицания (1 л.); ж) учение о понятии, суждении и умозаключении в диалектической логике (3 л.); з) взаимоотношение основных форм движения в действительности (2 л.); и) аналитическое и синтетическое познание (1 л.).
7. Классификация наук. Историко-критический и систематический очерк (2 л.).
- Библиография. Предметный и именной указатель (6 л.).
- Итого 50 листов.

ОТДЕЛ II

ПЛАН ДВУХ ТОМОВ ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

ВВЕДЕНИЕ

История философии как наука (Содержание и метод). (1 л.).

А. ФИЛОСОФИЯ СТРАН ВОСТОКА

Основные течения философии в связи с общественно-экономическими укладами (5 л.).

Б. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

I. ФИЛОСОФИЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Общий историко-социологический очерк рабовладельческого общества (Греция, Рим) (3 л.).

1. Выдвижение торговых групп, борьба с рабовладельческой знатью:
а) ионийская натурфилософия, Гераклит (1½ л.); б) пифагорейство (1 л.); в) элейцы (1 л.); г) младшие физики (½ л.); д) атомистики (1 л.).
2. Эпоха расцвета торговых сношений: а) софисты (1 л.); б) Сократ (½ л.).
3. Эпоха социально-экономической реакции:
а) сократические школы (½ л.); б) Платон (3 л.); в) Аристотель (3 л.).
4. Эпоха экономической и политической экспансии Греции и Рима:
а) идеалистические течения: 1) академия, (1½ л.) 2) ликей (½ л.); б) развитие стоицизма (1 л.); в) материализм—Эпикур и его школа, Лукреций (1 л.); г) скептицизм (1 л.); д) эклектизм (½ л.).

5. Эпоха разложения рабовладельческого общества:
а) развитие мистических учений (новопифагорейзм); б) философская борьба в раннем христианстве (гностики, апологеты); в) неоплатонизм—Плотин, Ямвлих, Прокл; г) выработка христианской идеологии (3 л.)

II. ФИЛОСОФИЯ ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.

Общий историко-социологический очерк феодального общества (2 л.).

1. Возникновение схоластики и ее первые результаты (1 л.).
2. Реализм и номинализм; Абельяр (1 л.).
3. Использование Аристотеля христианской мыслью (большие системы) (1½ л.).
4. Еврейская философия (2 л.).
5. Арабская философия (2 л.).
6. Мистика (1 л.).
7. Элементы материализма и эмпиризма (¼ л.).

III. ЭПОХА ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Общий очерк эпохи возрождения и реформации (2 л.).

1. Философский гуманизм (возрождение Платона и других античных школ, перетолкование Аристотеля.)
2. Религиозное реформаторство и мистика.
3. Натурализм: а) расширение географического и космографического кругозора; б) борьба с аристотелевской натурфилософией; в) материалистические и атеистические тенденции (4 л.).
4. Скептицизм—Монтань (½ л.).

IV. РАЗВИТИЕ ТОРГОВОГО КАПИТАЛИЗМА.

Общий историко-социологический очерк (3 л.).

1. Традиция античного материализма (Гассенди) (1 л.).
2. Материализм на почве рационализма: а) Декарт, его сторонники и противники (2 л.); б) Спиноза (3 л.).
3. Развитие рационализма у Лейбница; Вольф (2 л.).
4. Материализм на почве эмпиризма и сенсуализма:
а) Бэкон (1 л.); б) Гоббс (1½ л.); в) Локк (1 л.).
5. Судьбы английской философии после Локка: а) материализм вольнодумцев: Толанд, Гартли, Пристли (2 л.); б) идеализм Беркли (1 л.); в) скептицизм Юма (1½ л.); г) философия здравого смысла (½ л.).
6. Эпоха французского материализма XVIII века: а) предшественники: 1) скептицизм Бейля, 2) ранний материализм и атеизм Мелье, 3) Кондильяк, 4) Вольтер и деизм; б) классики материализма: 1) Ламеттри, 2) Дидро и энциклопедия, 3) Гельвеций, 4) Гольбах, 5) Робинс и Деман, 6) Бонне (5 л.); в) развитие экономических и социально-политических идей: 1) Монтескье (½ л.), 2) Руссо, Мабли, Морелли (1 л.), 3) физиократы и экономисты (½ л.); г) противники

- материализма: 1) официальный католицизм, 2) мистика (Сен-Мартен) (1/2 л.); д) материалисты великой французской революции (1 л.).
7. Философия немецкого просвещения и Кант: а) идеалистическая школьная философия (1/2 л.); б) материалистические тенденции в философии просвещения (2 л.); в) Кант: 1) докритический период, 2) трансцендентальный идеализм, 3) элементы диалектики в натурфилософских и критических произведениях Канта (4 л.); г) сторонники и противники критической философии (1/2 л.).

V. ЭПОХА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА И НАЧАЛО КЛАССОВОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Общий историко-социологический очерк (3 л.).

1. Классический немецкий идеализм: а) Фихте (3 л.); б) Шеллинг: 1) натурфилософия и романтизм, 2) философия тождества, 3) философия откровения (2 л.); в) натурфилософская школа Шеллинга: Окен, Стеффенс, Эрстед и переход к Гегелю (1 л.); г) романтики—Шлегель, Новалис (1 л.); д) Гегель (5 л.).
2. Метафизические системы и противники Гегеля: а) Шлейермахер; б) Герbart; в) Шопенгауэр; г) Лотце (4 л.); д) Тренделенбург (1/2 л.).
3. Школа Гегеля и борьба внутри гегельянства: а) непосредственные сторонники Гегеля; б) правые гегельянцы (1 л.); в) гегельянская левая; 1) Штраус, 2) бр. Бауэры (1 1/2 л.); г) Шtirнер (1 л.); д) Лассаль (1/2 л.).
4. Общий историко-социологический очерк 40-х и 50-х годов: а) Германия (2 л.); б) Франция (2 л.); в) Англия (2 л.).
5. Фейербах: а) антропологический материализм; б) социальные доктрины на почве фейербахизма (2 л.).
6. Естественно-научный материализм (Бюхнер, Фохт и Молешотт) (2 л.).
7. Маркс и Энгельс: а) идеалистический период их развития; б) преодоление классического идеализма, гегельянства и Фейербаха; в) развитие диалектического материализма (5 л.).

Библиография. Предметный и именной указатели (12 л.).

Итого 132 1/2 листа.

ОТДЕЛ III

ПЛАН ДВУХ ТОМОВ ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПОСВЯЩЕННЫХ НОВЕЙШЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

I. ИДЕАЛИЗМ.

1. Неокантианство: а) Неокантианство в Германии: 1) Ланге, Либман (1/2 л.), 2) Марбургская школа (1 1/2 л.), 3) Баденская школа (1 л.), 4) соц.-демократическое неокантианство (1 л.); б) неокантианство в Англии (2 л.); в) неокантианство в Америке (1 1/2 л.); г) неокантианство в Италии (1 1/2 л.); д) неокантианство в Скандинавии (1/2 л.); е) неокантианство в Японии и Китае (1 л.).

2. Эмпириокритицизм (2 л.).
3. Прагматизм (в Англии, Америке, Франции, Италии, Германии, Японии) (3 л.).
4. Интуитивизм (2 л.).
5. Гуссерльянство (2 л.).
6. Неогегельянство: а) Гегельянская школа в Италии (2 л.); б) неогегельянское движение в Англии (2 л.); в) Гегельянская школа в Голландии (1/2 л.); г) гегельянское движение в Скандинавии (1/2 л.); д) поворот к Гегелю в Германии (2 л.); е) неогегельянство в Японии и Китае (1 л.); ж) неогегельянство в Америке (1 1/2 л.).

II. ПОЗИТИВИЗМ И РЕАЛИЗМ

1. Эволюционизм (2 л.).
2. Агностицизм (1 л.).
3. Критический реализм (2 л.).
4. Неореализм (2 л.).

III. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Естественно-научный монизм и монистическое движение (2 л.).

IV. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ЗАПАДЕ

1. В Германии, Франции, Англии (5 л.).
2. В Болгарии и балканских странах (1 л.).
3. В Италии (2 л.).

V. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Отголоски французского материализма в России (1 л.).
2. Влияние немецких классических идеалистов в России (3 л.).
3. Герцен (1 л.).
4. Чернышевский (1 л.).
5. Писарев (1 л.).
6. Естественно-научный материализм в России (Сеченов и др.) (2 л.).
7. Позитивизм и эволюционизм (Михайловский, Лавров и др.) (2 л.).
8. Религиозный онтологизм школы Соловьева (1 л.).
9. Толстой и толстовство (1/2 л.).
10. Лейбнизианство (Л. М. Лопатин) (1/2 л.).
11. Неокантианство (В. Введенский и И. Лапшин) (1/2 л.).
12. Эмпириокритицизм в России (Лесевич, Викторов и др.) (1/2 л.).
13. История философии на Украине (3 л.).

- 14. Эмпириомонизм (Богданов) (1 л.).
 - 15. Марксизм в России (общий очерк) (4 л.).
 - 16. Плеханов (2 л.).
 - 17. Ленин (3 л.).
 - 18. Марксизм на Украине (1 л.).
 - 19. Философия в СССР после Октября (2 л.).
- Библиография. Предметный и именной указатели (8 л.)
- Итого 84 листа.

ОТДЕЛ IV

ПЛАН ТОМА ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ КАК НАУКА (1 л.)

II. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОДГОТОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

- 1. Основные направления философии истории (2 л.).
- 2. Основные направления в философии права и государства (2 л.).
- 3. Основные направления в философии религии. (В связи с историей атеизма) (2 л.).

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

- 1. Проблема общества: определение, общество и природа, общество и государство, происхождение общественной формы (2 л.).
- 2. Диалектика общественного развития: а) производительные силы (1 л.); б) производственные отношения, смена общественно-экономических формаций (1 л.); в) базис и надстройка (1 л.); г) роль личности в истории (1 л.).
- 3. Классы и классовая борьба: а) определение, классы различных экономических формаций, происхождение классового общества, новые классы капиталистического общества (2 л.); б) классы переходного к социализму общества, проблема отмирания классов (1 л.).
- 4. Государство (2 л.).
- 5. Партия (2 л.).
- 6. Общественное сознание и идеология (1 л.).
- 7. Язык (1½ л.).
- 8. Право (1½ л.).
- 9. Нравственность (1 л.).
- 10. Религия (1½ л.).
- 11. Искусство (1½ л.).
- 12. Наука (1 л.).
- 13. Проблема культуры (1 л.).
- 14. Теория революции (3 л.).
- 15. Проблема национальности (2 л.).

IV. НАУЧНЫЙ КОММУНИЗМ

- 1. Типы социализма: а) реакционный социализм (1 л.); б) буржуазный социализм (здесь же соц.-реформизм) (1 л.); в) мелкобуржуазный

социализм (1 л.); г) утопический социализм (1½ л.); д) анархизм (1½ л.); е) ревизионизм (3 л.); ж) научный коммунизм: 1) эпоха Маркса и Энгельса (1½ л.), 2) эпоха Ленина (1½ л.).

V. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ СОЦИОЛОГИИ

- 1. Органическая школа (1 л.).
 - 2. Психологическая школа (1½ л.).
 - 3. Дюркгейм (1 л.).
 - 4. Современная социологическая школа в Германии (1½ л.).
 - 5. М. Вебер (2 л.).
 - 6. Библиография. Предметный и именной указатели (5 л.).
- Итого 60 листов.

ОТДЕЛ V

ПЛАН ТОМА ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ДИАЛЕКТИКЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Роль материалистической диалектики в естественно-научном исследовании (2 л.).

I. ДИАЛЕКТИКА МАТЕМАТИКИ

- 1. Принципы математического познания: а) математика и формальная логика; б) математика и действительность (диалектика математики); в) математика и опыт (2 л.).
- 2. Основные понятия математики в диалектическом понимании (число, измерение, пространство, величина, множество, порядок, группа, предел, конечное и бесконечное, положение, движение, направление, прерывность и непрерывность, рациональное и иррациональное, количество и качество, общезначимость, равенство и неравенство, функция, зависимость, противоречие, вероятность, случайность, теорема, отношение, многообразие, анализ и синтез, предсказание, доказательство, предпосылка, тождество и единство) (2 л.).
- 3. Основные аксиомы и постулаты математики (постулаты непрерывности, аксиомы сочетания, аксиомы порядка, аксиомы конгруэнтности, аксиомы параллельности, аксиомы Архимеда, неевклидовы аксиомы, мнимые аксиомы и т. д.) (1 л.).
- 4. Взаимоотношения между основными дисциплинами математики (арифметика, алгебра, геометрия, анализ, топология, теория множеств и т. д.) (1 л.).
- 5. Происхождение и развитие математики в связи с развитием философии и обратное влияние математики на философию (2 л.).
- 6. Современные направления в математике: а) идеалистические школы; б) материалистические школы (2½ л.).
- 7. Значение и границы приложимости принципов математики в: а) неорганических науках, б) биологии, в) социологии (1½ л.).

II. ДИАЛЕКТИКА НЕОРГАНИЧЕСКИХ НАУК

1. Основные принципы познания в неорганических науках:

а) общность и специфичность методов в связи со специфичностью объекта; б) реальность и объективность явлений и событий; в) детерминизм и индетерминизм; г) принципы причинности: 1) функциональная зависимость, 2) повод, причина, условие, 3) последовательная связь; д) наблюдение и эксперимент; е) необходимость и случайность; ж) динамическая и статистическая закономерность; з) прерывность и непрерывность; и) косвенные и прямые заключения; к) принцип, теория и гипотезы; л) принцип эволюции (эволюция звезд, эволюция земной коры, эволюция элементов); м) сравнение; н) первый и второй закон термодинамики; о) принцип Гамильтона; п) закон и правило; р) тождество и единство; с) анализ и синтез; т) индукция и дедукция; у) и описание и объяснение; ф) сводимость; х) предсказание (2¹/₂ л.)

2. Основные понятия неорганических наук:

а) в физике (материя, энергии, абсолютное и относительное, замкнутая система, пространство, время, протяженность, степени свобод, молекула, атом, кванта, электрон, поле, потенциал, обратимость и необратимость, работа, константа и т. д.); б) в химии (включая физическую химию, коллоидную химию, биохимию): сродство, валентность, периодическая система и т. д.; в) в геологии (включая метеорологию) (2 л.).

3. Взаимоотношения дисциплин неорганических наук между собой и подразделов внутри каждой дисциплины: а) в физике: 1) механика (статики и динамика, включая гидродинамику, аэродинамику, акустику), 2) электродинамика (включая оптику), 3) термодинамика, 4) физика излучения; б) в химии; в) в астрономии; г) в геологии. (2 л.)

4. Происхождение и развитие основных взглядов на неорганическую природу в связи с развитием философии и обратное влияние этих взглядов на философию (1¹/₂ л.).

5. Современные направления в неорганических науках: а) идеалистические школы; б) материалистические школы (2¹/₂ л.).

6. Значение и границы приложимости принципов неорганических наук в: а) биологии, б) социологии (2 л.).

III. ДИАЛЕКТИКА БИОЛОГИИ.

1. Основные принципы познания в биологии: а) общность и специфичность в связи со специфичностью объекта (зоология, ботаника, протистология); б) анализ и синтез; в) индукция и дедукция; г) тождество и единство; д) сводимость; е) целое и часть; з) обратимость и необратимость; и) прерывное и непрерывное; к) причинность; л) целесообразность (трансцендентальная, имманентная, регулятивная); м) зависимость и связь (в индивидууме, инд

видуумов между собой, индивидуумов с неорганической средой); н) качество и количество (в систематике, морфологии, физиологии, экологии, хорологии, хронологии, генетике); о) корреляция (в морфологии, физиологии, экологии, хорологии и генетике); п) принципы онтогенеза (онтогенеза индивидуума, онтогенеза сообществ); р) принципы филогенеза (отдельных таксономических единиц, фауны и флоры) (6 л.).

2. Основные понятия биологии: раздражимость, саморегуляция, регенерация, реституция, полярность, структура и форма, самодеятельность, индивидуум, смерть, цикл, гомология и аналогия, конвергенция и дивергенция, ассимиляция и диссимиляция, размножение, наследственность, клетка, признак, тропизмы и таксисы, рефлекс, ступенчатое многообразие, интеграция и дифференциация, приспособление, отбор, функция, орган, органеллы и т. д. (4 л.).

3. Взаимоотношения дисциплин биологии: а) систематики, б) морфологии, в) физиологии, г) экологии, д) хорологии, е) хронологии, ж) генетики (3 л.).

4. Происхождение и развитие основных взглядов на организм и его связь с окружающей природой в связи с философией и обратное влияние этих взглядов на философию (5 л.).

5. Современные направления в биологии: а) идеалистические школы; б) материалистические школы (4 л.), и т. д.

6. Значение и границы приложимости законов биологии в социальных науках (вопрос о происхождении человека, как пограничный вопрос зоологии и социологии) (2 л.).

Библиография (5 л.)

Итого по тому: 56¹/₂ л.

Для руководства отделами утверждены редакции отделов в следующем составе:

Отдел I. Диалектический материализм. Деборин, А. М., Карев, Н. А., Подволоцкий, И. П.

Отдел II. История философии. Деборин, А. М., Луппол, И. К., Рудаш, В. В.

Отдел III. Современная философия. Асмус, В. Ф., Баммель, Г. К., Стэн, Я. Э.

Отдел IV. Исторический материализм. Адоратский, В. В., Кривцов, С. С., Максимовский, В. Н., Разумовский, И. П.

Отдел V. Диалектика естествознания. Гессен, Б. М., Левин, М. Л., Максимов, А. А.

Редакционная коллегия: Бухарин, Н. И., Дволайцкий, Ш. М., Деборин, А. М., Крицман, Л. Н., Лукин, Н. М., Милютин, В. П., Пашуканис, Е. Б., Покровский, М. Н., Шмидт, О. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Статьи

Покровский М.—Иван Иванович Скворцов-Степанов	3
Кривцов Ст.—И. И. Скворцов-Степанов	7
Луначарский А.—Чернышевский как писатель	17
Кирпотин В.—Материализм Чернышевского	41
Лейкин Э.—Экономические взгляды Чернышевского	55
Грановский Е.—К теории конъюнктуры «советских» буржуазных экономистов	85
Рудаш Л.—К вопросу о происхождении греческой философии	127
Тележников Ф.—Дюркгейм о предмете и методе социологии	159

Стенограммы докладов, читаемых в Комакадемии и ее секциях

Новицкий П.—Социология юбилея Московского Художественного Театра .	189
--	-----

Критика и библиография

Леонтьев А.—Из современной германской литературы по рационализации хозяйства (библиографический обзор)	204
Розенберг С.—И. А. Трахтенберг. Современный кредит и его организация.	212
Тележников Ф.—По иностранным социологическим журналам	219
Спектатор М.—Два замечания по поводу рецензии т. Айхенвальда	226
Айхенвальд А.—По поводу «двух замечаний» т. Спектатора	228

Хроника

Покровский М.—Доклад о поездке в Осло	231
Пашуканис Е.—Неделя советских историков в Берлине	238
Деятельность Коммунистической академии	247
Философская энциклопедия	268